М.В.САБАШНИКОВ
ВОСПОМИНАНИЯ

работе для В.М.Л. надо было привлечь Петербургских филологов, в первую
...ов такую мировую знаменитость как Ф.Ф. Зелинский, затем ... Малеина. Жебелева
...ик. Для этого я ездил в Петербург. Наши предложения встречались ... с боль-
...им сочувствием, но и с некоторым недоумением. [illegible] больше трудности, даже прибыли. [illegible]
...довали величайшую осторожность. Советовали выпускать небольшими, дешевыми книжка-
...Сенсациями не прошли выпущенные издательством Просвещение томы Еврипида. Классицизм
...ды не пользовался у нас сочувствием публики, теперь особенно обострилась борьба с ним;
...ни станет покупать классических писателей! Мы опоздали на несколько лет — раз-
...дали Батюшков. Я возразил: „правда, мы идем как будто против течения. Но это
...лишь так кажется. В России кроме специалистов филологов никто классиков в ориги-
...нале не читал и не читает. Переводов нет в продаже. Классиков просто не знают. Потому
...ненавидят муштровать гимназистов грамматическими упражнениями по древним языкам
...[illegible] не к ним, а к [illegible] делу. Не будет к классикам предвзятого отвра-
...щения. Все это приходилось говорить с большой осторожностью, чтобы не задеть
...чье-либо самолюбие. Ведь филологи так или иначе связаны были с классической системой.
...Поэтому общих совещаний не было. Я говорил с каждым отдельно.

В разговоре с Зелинским сразу наметились и переводчики, и редакторы и даже готовые к изданию переводы: Эсхила — поручили Вячеславу Иванову, Софокла — Зелинскому, Еврипида. Перевод приобрели у наследников Иннокентия Анненского, Фукидида — поручили Жебелеву, Пиндара — В.Я. Брюсову, Энеиду — ему же, Светония — Малеину, Овидия Баллады — послания приобрели готовый перевод у Зелинского

Последнее время уже издавались Батюшковым но мы решили не останавливаться перед этим.
Одним словом обращение в П. дало отличные результаты.

Чтобы привлечь к работе для нашей „Памятников" Петербургских филологов я ездил в Петербург.

У меня были записаны три адреса: Зелинского, Малеина, Жебелёва. По совету М.О. Гершензона я

в первую очередь обратился к Ф.Ф. Зелинскому. И хорошо сделал. Ф.Ф. Зелинский отнесся к нашей ~~[illegible]~~

в высшей степени сочувственно. Мы с ним обстоятельно проговорили весь вечер. Как мне рассказал Ф.Ф.

три друга филолога-поэта — он сам, Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский дали когда-то друг другу слово

перевести трех греческих трагиков — Эсхила (В. Иванов), Софокла (Ф.Ф.З.) и Еврипида (Иннокентий Анненский) ~~[illegible]~~ и осуществили работу в этом направлении работа сделана

Нам теперь оставалось договориться с переводчиками и [illegible] об включении этих переводов в наше собрание „Па-

мятников". Софокл уже готов был, таким образом очень просто — за него брался Ф.Ф. Кроме того Ф.Ф. просил оставить за ним Аристофана, которого и надеялся дать в

сотрудничестве со своими учениками. Вячеслава Иванова я знал как [illegible], [illegible] и [illegible]

Условия и отношения предоставить ему такую большую работу как перевод всего Эсхила: возможно ли

вложит ли он [в] это дело! говорил я. Я бы предпочел отвести ему что-нибудь менее громоздкое. Но

Ф.Ф. уговорил меня остановиться на В.И. для Эсхила, как на единственном в своем роде кандидате, ~~[illegible]~~

обещая со своей стороны всячески побуждать В.И. не затягивать работу. Большие затруднения предвидел

в приобретении права на издание переводов Еврипида Ин. Ан. Сам И.А. незадолго до того умер. Предстояло

сговориться с его ~~[illegible]~~ наследником — сыном, человеком по-видимому тяжелым, с которым у самого Ф.Ф.

произошла какая-то размолвка. Между тем другого равного по силе переводчика Ф.Ф. назвать не мог.

Ведь ~~[illegible]~~ покойный И.А. был одаренный поэт и притом филолог, многие годы работавший над Еврипидом.

Некоторые вольности допущенные в переводе могут быть либо устранены редакцией, либо особо оговорены.

Остановились на том, что я лично вступлю в переговоры с наследником, постараюсь получить

переводы для просмотра в редакцию, хотя бы в копиях, затем передам их Ф.Ф. для окончательного заключения и

уже после обсуждения дела вновь с Ф.Ф. постараюсь договориться с наследником. Однако выполнить эту

программу оказалось не так-то просто. Не сразу решился наследник предоставить мне копии перево-

дов, прошло и не скоро пришлось мне вновь посетить Ф.Ф., чтобы принять ~~окончательное~~ решение. В про-

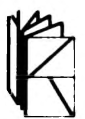
межуток времени мы с Ф.Ф. неоднократно уже встречались и обменивались письмами по поводу Овидия,

Софокла и других авторов. Когда я в назначенное время пришел к Ф.Ф. его прислуга передала мне его

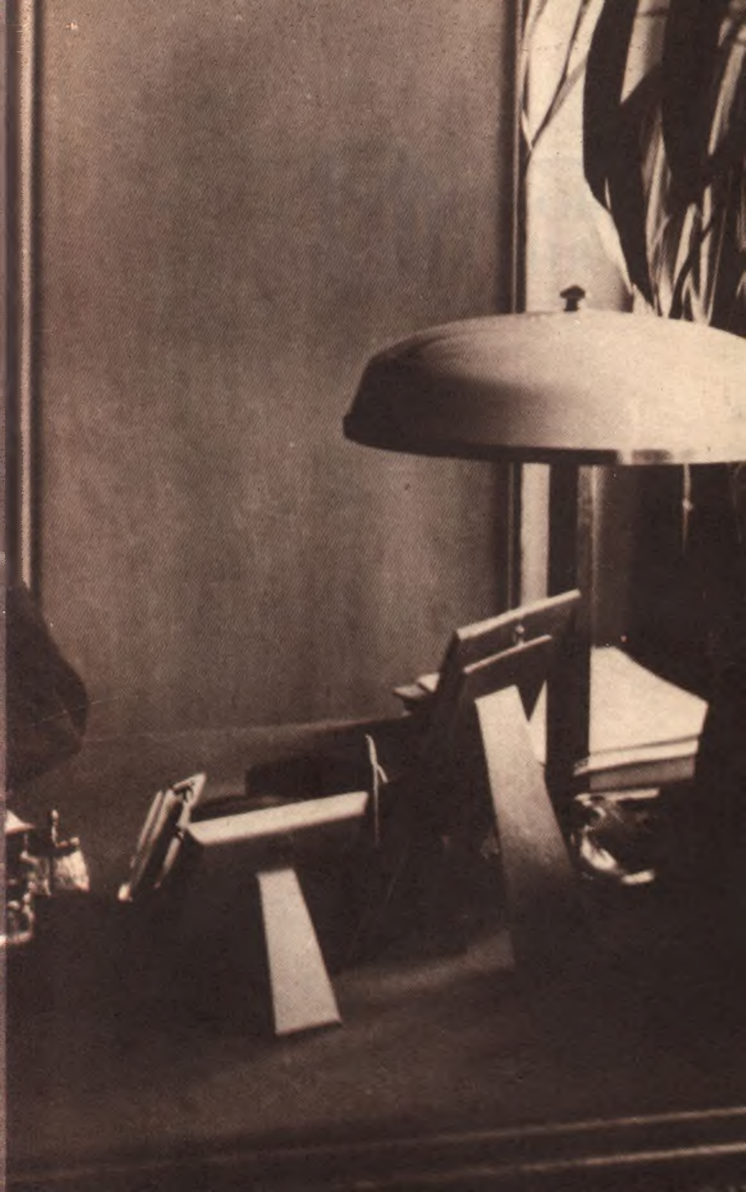
просьбу перейти в соседнюю квартиру, где Ф.Ф. проводит весь день по случаю семейного детского

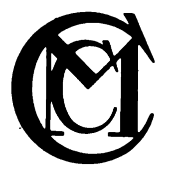
праздника. Там меня радушно приняли, угостили вкусным шоколадом. Но разговаривать о делах в

М.В.САБАШНИКОВ
ВОСПОМИНАНИЯ









М.В.САБАШНИКОВ
ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА ‹КНИГА› 1988

ББК 76.1
С 12

Издание 2-е, дополненное

Вступительная статья
Е. И. Осетрова

Примечания
и краткий комментированный
указатель имен
В. Г. Уткова

Рецензент —
доктор исторических наук
К. Ф. Шацилло

С $\frac{4700000000-033}{002(01)-88}$ 63-88

ISBN 5-212-00019-X

© Издательство «Книга», 1988

КНИЖНЫЙ МИР МИХАИЛА САБАШНИКОВА

...Открылся новый мир, существования которого никто раньше не подозревал.
Из каталога издательства Сабашниковых.

Поэтами рождаются.
Издателями делаются.

Михаил Сабашников, как мне представляется, явился на белый свет, чтобы умножить сокровища книжного мира. Его бессребренность носила столь щедрый характер, что казалась совершенно невероятной. Из уст в уста передавалась писательская фраза: «У него попросишь тысячу, а он дает пять». Впрочем, разве не такими были самые крупные из русских издателей-тружеников? Когда я думаю о Михаиле Сабашникове, в памяти возникают такие фигуры, как Николай Новиков, Василий Плавильщиков, Александр Смирдин, Флорентий Павленков, Иван Сытин,—дружина духовных богатырей, чьим победоносным оружием (действующим и сегодня!) была Книга. Книготворчество-просветительство ставит их в один ряд с выдающимися творцами культуры. Недаром в истории имя Новикова соседствует с именем Карамзина; «вольная типография» Плавильщикова наследовала книжное дело Ивана Крылова «со товарищи»; смирдинская книжная лавка вошла в биографию Пушкина; павленковская серия «Жизнь замечательных людей» предшествовала одноименной серии Максима Горького, снискавшей всемирную известность. Примеры хочется умножать.

...Старые книжные каталоги всегда необычайно интересны,—будь то, скажем, изысканная «Антикварная книжная торговля Н. В. Соловьева», или

нескончаемый том-список книг, собранных Алексеем Петровичем Бахрушиным и поступивших в библиотеку Исторического музея; или, к примеру, старая масановская Чеховиана, которой всю жизнь пользовалась Мария Павловна Чехова, как и другие «работники по Чехову»... Небольшое пожелтевшее издание, которое я теперь держу в руках, нельзя листать равнодушно. На титуле напечатано: «М. и С. Сабашниковы». Шрифтовой подзаголовок гласит: «Каталог 1917—1924». И еще одна типографская строка на обложке: «Издательство существует с 1890 г.». На обороте напечатан адрес издательства — Москва, Никитский бульвар, 8, т. е. речь идет о доме, соседствующем с теперешним Домом журналиста. Черточка, объединившая годы, вместила многое, в том числе события эпохальной значимости, изменившие облик страны, отозвавшиеся социальными катаклизмами на Западе и Востоке. И все эти бурные годы на Никитском бульваре в Москве, на издательском столе, непрерывно появлялись только что отпечатанные книги. Чего здесь только не было! «Лисистрата» и «Всадники» Аристофана, «Курс палеонтологии» А. Борисяка, два тома былин и русских исторических песен (с вводными статьями и примечаниями Михаила Нестеровича Сперанского), «Несколько слов о ремесле скульптора» Анны Голубкиной, драмы Еврипида, переведенные Иннокентием Анненским (извлеченные из его стола после смерти), «Античный мир» Ф. Ф. Зелинского, «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» Бенедетто Кроче, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в бунинском (превосходящем по красоте и мощи оригинал!) переводе, «История западных славян (прибалтийских, чехов, поляков)» М. К. Любавского, очередное издание «Флоры Средней России» П. Ф. Маевского, «Великое оледенение Европы. Век мамонта и пещерного человека» М. А. Мензбира, «Поэты пушкинской поры» со вступительной статьей Юрия Верховского, «Хлеба в России» Р. Регеля, роман «Русь» Пантелеймона Романова, «Носящий барсову

шкуру» Шота Руставели (так именовалась поэма в переводе Константина Бальмонта), факсимильный выпуск первого издания «Слова о полку Игореве», «Величие и падение Рима» Г. Ферреро, «Электрическая теория твердых тел», древнескандинавский эпос «Эдда»; «Экскурсии в Подмосковные, устраиваемые Обществом изучения русской усадьбы», «Очерк по геологии Донецкого бассейна, Крыма и Кавказа» Н. Н. Яковлева... Список этот — обозначение только некоторых вех на тернистом издательском пути.

Какие соображения вызывает чтение каталога Сабашниковых? Из огромного числа книг, в которых постоянно нуждались читатели, к изданию и переизданию отбирались в первую очередь те, ценность которых носила научный или художественный характер. Античность, русская классика, народные сказания соседствовали с произведениями, выдержавшими также значительное испытание временем. Читателю преподносился «латинской музы голос» в наилучшем переводе, со вступительной статьей, написанной истинным знатоком, с подробными комментариями. Стихи пушкинской плеяды, собранные под одной обложкой,— своего рода художественная энциклопедия. Не просто «ранний Пушкин», а полулегендарная «Лицейская тетрадь», в которой лицейский письменный фольклор помогает нам почувствовать воздух, которым дышал поэт, склоняясь над строфами «Бовы».

Все сабашниковские издания были традиционно отмечены высокой филологической культурой. Листая их, вспоминаешь о лучших на свете книгах, «пахнущих таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, с „Капитанской дочкой“», как говорил Михаил Булгаков. Рядом с зарубежной и русской словесностью — Руставели в поэтическом переложении Константина Бальмонта. Таков почерк. Нельзя не вспомнить строфу из Константина Случевского: «Ну, память! Ты в права вступай и из немых воспоминаний былого лета выдвигай черты живых произрастаний!» Вечно живые «произраста-

ния» выбирались и преподносились издательством читателю с большим вкусом и тактом.

Существовал и другой книжный поток, связанный с распространением знаний. Не просто наука, а классические научные труды; общедоступные издания, в которых расчет на множество читателей не заставлял поступаться высоким уровнем. Именно таково было направление сабашниковской «Ломоносовской библиотеки». Не чуждалось издательство и того, что почитается злобой дня. В двадцатых годах, как известно, большие надежды возлагали на хирургические опыты по омолаживанию организма. Казалось даже, что сбывается народная мечта о молодильных яблоках,— «не диво старому помолодети...» На эту тему — «О продлении жизни» С. Воронова. Характерна для издательства также серия «Богатства России» с доскональным описанием природных даров, поставленных на службу человеку. Не менее насущным делом был выпуск учебников для высшей школы.

Сабашниковский книжный каталог 1917—1924 годов — своего рода провидение будущего: достаточно присмотреться к тому, что печатали горьковская «Всемирная литература», «Academia», много позднее — «Библиотека всемирной литературы», поныне выходящие «Литературные памятники», «Литературное наследство», хотя круг интересов Сабашниковых остался в своем роде единственным.

Обратимся последовательно к делам, истории и книгам.

Эпиграфом могут быть слова из сборника Русского общества друзей книги, где сказано, что Сабашниковы осуществляли «программу того, что может быть названо русским гуманизмом». Известно, что большое видится на расстоянии. Недаром в наши дни Дмитрий Сергеевич Лихачев отметил, что братья Сабашниковы были издателями по призванию, талантливо и бескорыстно ведущими свое культурное дело, работа их оставила значительный след в истории русской книги и можно с уверенно-

стью сказать — издательство Сабашниковых внесло большой вклад также и в создание ныне существующего издательского дела.

Каковы родники могучих книжных рек, которые, как известно, напояют Вселенную?

Предки Сабашниковых-издателей в давние годы участвовали в освоении Сибири. Когда знакомишься с их делами, то перед глазами встают пейзажи из «Угрюм-реки» Вячеслава Шишкова, живописавшего неутомимо деятельных героев, наделенных ощущением полнокровности бытия. Сабашниковы поселились в старинной Кяхте, стоявшей на «шелковом пути», откуда прямая дорога вела в беспредельные монгольские степи, в сказочную Ургу, где бронзовые позолоченные Будды возвышались в дацане — монастыре Дарующем Благоденствие. В немыслимой забайкальской глуши Кяхта была долгое время не только средоточием торговли с Китаем и Внешней Монголией, но и культурным центром. Заметную роль в кяхтинском обществе и в семье будущих издателей играла их мать Серафима Савватьевна, человек большой доброты и незаурядной образованности. В кяхтинском доме Василия Никитича и Серафимы Савватьевны Сабашниковых — в середине минувшего столетия — бывали жившие здесь на поселении ссыльные декабристы, в том числе М. А. Бестужев (один из пяти братьев-декабристов, выведший на Сенатскую площадь Московский полк), слышалась французская речь, сюда поступали из Москвы, Питера, Западной Европы книги и журналы, доходил через Китай даже герценовский «Колокол». Мемуарные источники не исключают участия Сабашниковых в устройстве побега из ссылки Михаила Бакунина, «апостола разрушения», как называли его современники.

В шестидесятых годах прошлого века Сабашниковы перебрались в Москву. Михаил Васильевич родился в 1871, его брат Сергей — в 1873 году; им-то и суждено было стать создателями одного из наиболее культурных русских издательств. В конце 70-х

годов после смерти родителей дети остались на попечении старшей сестры Екатерины Васильевны. Мы, вспоминал М. В. Сабашников, росли, окруженные людьми, весьма ценившими образование, искренне преданными делу народного просвещения, хлопотавшими о нем и придававшими нашему воспитанию и обучению самое серьезное значение. Михаил Сабашников в автобиографии, напечатанной некогда в сборнике, посвященном газете «Русские ведомости», с гордостью перечислял домашних учителей, составлявших умственный цвет тогдашней Белокаменной. Среди них — Н. В. Сперанский, знаток народного образования и прекрасный воспитатель, А. Е. Грузинский, ученик Буслаева, председатель Общества любителей российской словесности, Н. С. Тихонравов, образцовый издатель древних письменных памятников, академик. Тихонравов издавал Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя и на своем примере учил братьев Сабашниковых научной редакции текстов — ведь даже основы текстологии еще только закладывались. После смерти Н. С. Тихонравова Сабашниковы купили его библиотеку и архив, а затем бесплатно передали их в Румянцевский музей. Среди педагогов были также В. Н. Щепкин, выдающийся палеограф, славист, хранитель Исторического музея; историк М. К. Любавский; крупный ботаник П. Ф. Маевский — позднее, с изданием его книги «Злаки Средней России» и началась книготворческая деятельность братьев. В «Русских ведомостях» сообщалось: «Еще до поступления в университет Михаил Васильевич совместно с младшим братом своим Сергеем Васильевичем стали издавать книги научного содержания, первоначально не выставляя своей фирмы на обложке». И далее говорится, что «Злаки Средней России» выпускалась от имени старшей сестры — Е. В. Барановской — «в знак благодарности за заботы ея по их воспитанию».

Первая сабашниковская книга. Родник, ставший потоком. Книговед С. В. Белов обратил внимание на поразительную молодость издателей: Миха-

илу Васильевичу было в ту пору девятнадцать лет, а Сергею — всего-навсего семнадцать: «Факт беспрецедентный в истории русского издательского дела, хотя и другие крупные представители русского книжного дела начинали издательскую деятельность в молодости: М. О. Вольфу был 31 год, А. Ф. Марксу — 31, И. Д. Сытину — 25, К. Л. Риккеру — 29, Ф. Ф. Павленкову — 26, П. П. Сойкину — 23».

Культурно-книжные традиции хранила едва ли не вся семья, увлеченная просветительством. Старший из братьев — Федор Васильевич — однажды приобрел небольшую тетрадь в пергаментной обложке, подлинную рукопись Леонардо да Винчи «О летании», и осуществил ее факсимильное издание в Париже в 1893 году. Знатоки отмечали высокий научный уровень издания. Бесценный оригинал леонардовского «Кодекса о полете птиц» Федор Васильевич передал в дар городу Винчи (около Флоренции), почетным гражданином которого он впоследствии был избран. Ныне сабашниковское парижское издание повторено итальянским издательством «Джунти» и показывалось в наши дни в Москве на Международной книжной ярмарке.

И — еще об одной фамильной черте. Постоянная помощь тем, кто стремится к знаниям, была в семье заведенным обычаем. На протяжении нескольких лет стипендию из средств Сабашниковых получали студенты, исключенные из университета за революционную деятельность, вынужденные учиться вне родной страны.

Владимир Ильич Ленин в письме к матери из Кракова в 1912 году так размышлял о делах М. И. Ульяновой: «Насчет переводной работы трудно устроить: надо к *издателям* найти связи в Москве или Питере. Надя предлагает, я думаю, хороший план — осведомиться у Сабашниковых» [1]. После семнадцатого года издательство Сабашнико-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 55. С. 330-331.

вых не было национализировано. Именно об издательстве Сабашниковых Владимир Ильич Ленин сказал, выслушав доклад Луначарского о частных издательствах: «Такому культурному издательству, как издательство Сабашниковых, мы должны оказать всяческое содействие».

Вспоминая тех, с кем ему в молодые годы приходилось общаться и действовать, Сабашников подчеркивал, что все это были люди недюжинные, с повышенными умственными запросами, впечатлительные и отзывчивые — для них свободолюбивые традиции являлись славным наследием ряда поколений. Весьма характерной фигурой в кругу Сабашниковых был Вячеслав Евгеньевич Якушкин: в его кабинете висел портрет Гарибальди, хранились письма декабристов. Память о шестидесятниках почиталась долгом.

Можно выделить этапы в жизни издательства. Первый — естественнонаучный, олицетворяемый тимирязевской «Жизнью растений» и учебником ботаники. Затем — гуманитарный, связанный с «Памятниками мировой литературы», «Пушкинской библиотекой», «Русскими Пропилеями». Потом наступило время научных серий — «Строение вещества», «Труды Психиатрической клиники МГУ». Самая последняя пора — «Записи прошлого», серия, которую мы все поныне любим и высоко ценим.

Емкий каталог издательства Сабашниковых и кооперативного издательства «Север», его непосредственного воспреемника, охватывает время с 1891 по 1934 год. За четыре с лишним десятилетия и возникла украшающая теперь наши полки библиотека Сабашниковых, основу которой составили серийные издания. Перечислю их: «Серия учебников по биологии» (1898—1919), «Первое знакомство с природой» (1909—1913), «История» (1912—1927), «Памятники мировой литературы» (1913—1925), «Страны, века и народы» (1913—1924), «Русские Пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы» (1915—1919), «Пушкинская библиотека» (1917—

1922), «Ломоносовская библиотека» (1919—1926), «Руководства по физике, издаваемые под общей редакцией Российской ассоциации физиков» (1919—1924), «Богатства России. Издание Комиссии по изучению естественных производительных сил России» (1920—1929), «Исторические портреты» (1921), «Итоги работ русских опытных учреждений» (1923—1927), «Homo Sapiens» (1925—1928), «Записи прошлого» (1925—1934).

Как значится по каталогу, свыше 230 названий появились на свет вне серий, составив также обширное и по-своему последовательное собрание. Тут и «Политика» Аристотеля, и статьи Белинского, и «Грибоедовская Москва» Гершензона...

Особенность издательского почерка Михаила Сабашникова историки усматривают в распространении научных изданий среди широких демократических слоев читателей. Обращает внимание, когда листаешь каталог, стремление «идти по вершинам» — выбирать наиболее ценное и своевременное в золотом фонде культуры и науки. Привлекаются к сотрудничеству — и в этом заслуга Михаила Васильевича — мужи науки, такие как Климент Аркадьевич Тимирязев, чья «Жизнь растения», выполняя свою естественнонаучную работу, стала классическим примером сочетания глубины с общедоступностью и увлекательностью. «Жизнь растения» издается и сегодня. Памятник Тимирязеву на Тверском бульваре стоит напротив дома, в котором долго проживали Сабашниковы,— живое иносказание, смысл которого в связи передовой науки с демократическим печатным словом.

Несколько биографических подробностей.

Жизнь невероятнее вымыслов. Тяжким ударом была трагическая гибель в 1909 году Сергея Сабашникова, младшего из братьев, составлявшего радость и гордость семьи, всегда считавшей, что именно Сергей Васильевич умел всех ярче и значительнее воплощать в деле фамильные представления о долге и обязанностях человека. В память о нем издатель-

ство до конца дней называлось издательством Михаила и Сергея Сабашниковых, имена которых на книжной марке обозначались буквами.

Во время октябрьских дней в Москве семнадцатого года дом Сабашниковых оказался в районе боев. Пламя охватило здание. Сгорели контора и издательство, склад, все имущество и личная библиотека, собиравшаяся с времен Кяхты. Удалось вынести из пожарища только издательские рукописи. Часть книг, находившихся в типографии, спасли,— распродав их, Михаил Васильевич мог продолжить издательское дело и рассчитаться с авторами и типографией. К житейским злоключениям Просветитель относился стоически. Близко знавшие Сабашникова отмечали поразительную особенность — вдохновение его состоит в том, что за каждой напечатанной книгой он видит сюиту еще не напечатанных.

Стиль складывался из сочетания противоположностей: не поступаясь академичностью, строгой научностью, быть доступным всем. Доктринерство исключалось. Это было основным, наложившим отпечаток на выпуск вечных книг, составивших «Памятники мировой литературы», пожалуй, самую известную сабашниковскую серию. Серия включала разделы: «Античные писатели», «Писатели Запада», «Творения Востока», «Народная словесность», «Русская устная словесность». «Памятники мировой литературы» дают возможность проследить черты преемственности, которыми отмечена вся деятельность Сабашникова. В конце восемнадцатого века Н. М. Карамзин первым перевел Калидаса и напечатал статью о великом древнеиндийском поэте. Сабашников издал Калидаса с предисловием Сергея Федоровича Ольденбурга, востоковеда, одного из основателей русской индологической школы, знатока буддизма и древнеиндийской литературы.

В последние предвоенные годы Сабашников был редактором кооперативного издательства «Се-



С. В. Сабашников

вер», а затем — «Сотрудника», артели по изготовлению наглядных пособий для школьников.

...В сорок первом году, пятого ноября, немецкая бомба попала в квартиру Сабашниковых в Лужниках. Михаил Васильевич был тяжело ранен и засыпан обломками рухнувшей стены; его откопали, и потом он долго болел. 12 февраля 1943 года Сабашников окончил дни свои.

Обратимся к книгам, оставленным нам Просветителем, и перелистаем несколько изданий.

Едва ли не все выпуски серии «Записи прошлого» при появлении в свет становились событием культурной жизни, а теперь, по истечении десятилетий, им нет цены. Серия начала издаваться в 1926 году под редакцией С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. Ставилась задача: «дать... изображение развития русской культуры и картину жизни и быта разных слоев русского народа в показаниях свидетелей и деятелей нашего прошлого».

Одна из самых артистичных книг, отчетливо выявляющих сабашниковский издательский почерк,— «Повесть о брате моем А. А. Шахматове» Е. А. Масальской. О ней хочется рассказать более подробно. Была выпущена, к сожалению, только первая часть, продолжение не успело увидеть свет и осталось в столе автора. Алексей Александрович Шахматов — выдающийся лингвист, филолог, историк, создатель трудов по фонетике, диалектологии, лексикографии, по истории русского языка и языку восточных славян. Неоценима заслуга Шахматова, первым создавшего целостную концепцию истории русского языка, проследившего текстологические источники летописных сводов, увидевшего, в частности, различные слои «Повести временных лет». В предисловии приводился отрывок из речи академика Н. К. Никольского, посвященной герою книги: «Если бы в наше время продолжались старинные погодные записи, которыми с таким увлечением занимался Алексей Александрович, то летописец без колебания и преувеличения был бы вправе отметить



М. В. Сабашников

его кончину словами: ,,Таковаго не бысть на Руси преже, и понем не вем, будет ли таков"». Е. А. Масальская написала повесть, изобилующую подробностями, красочно и живо рисующими будничный облик искателя слов, выглядящего на расстоянии лет почти легендарно. Будучи гимназистом, Шахматов все время проводил в университетских библиотеках. Его детской игрой было собирание санскритских, древнегерманских, персидских, иранских, финских, кельтских и других слов. На магистерской защите А. И. Соболевского с юным Шахматовым произошло следующее: «...из публики вдруг, к удивлению всех, поднялся маленький гимназист в синеньком мундирчике с серебряной каймой и стал возражать, да так дельно, так основательно, что Соболевскому пришлось отражать удары, как будто бы их наносила рука опытного бойца». Рядом — множество бытовых подробностей, показывающих будущего ученого как увлеченного человека: «Усевшись на длинную ольху, вывороченную еще осенней бурей, Леля начинал нам декламировать из Гомера, по-гречески, наизусть». Или: «В Козлове в вагон вошло несколько турок, и Леле доставило громадное удовольствие говорить с турецким офицером по-турецки и арабски».

Да, Сабашников-издатель умел находить людей знающих, увлеченных, вкладывавших в дело душу. Книга не просто воспроизводила фотографии юного Шахматова,— отпечаток снимка был наклеен вручную. И поныне эта книга сохраняет свое значение как источник сведений о начале пути Шахматова, чье имя неотъемлемо от развития науки о языке, как памятник культуры и быта прошлого. Не случайно рассказ об одной из обычных московских встреч Михаил Васильевич заканчивает небольшим сообщением: «Леонид Максимович Леонов бывал у нас и в качестве слушателя, когда, например, А. Ф. Иоффе делал сообщение о новейших воззрениях в физике, сказитель из Беломорья произносил былины, Шергин рассказывал свои архангельские сказки,

М. А. Волошин читал новые исторические стихотворения». Много значит перечень фамилий,— перед нами встреча эпох и культурных слоев.

Перечислю наиболее существенное, выпущенное в серии «Записи прошлого»: «Из моей жизни» и «Дневники» В. Я. Брюсова, «Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных», две книги воспоминаний Л. М. Жемчужникова, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Т. А. Кузминской, «Годы близости с Достоевским» А. П. Сусловой, дневники Софьи Андреевны Толстой, переписка Толстого и Тургенева, воспоминания Б. Н. Чичерина... По сути дела, каждая книга драгоценна.

На обложках изданий «Записи прошлого» Сабашников воспроизводил отзывы о книгах, напечатанные в периодике. Так, на одной из обложек мемуаров Кузминской — отклики на брюсовские «Из моей жизни» и «Дневники»: «Брюсов беспощаден к самому себе в изображении своего детства и юности. Записки являются ценным материалом к пониманию эпохи и самого Брюсова как человека» («Известия», 1927, 3 апреля); «Перед нами чрезвычайно интересное литературное произведение, задуманное в определенном стиле искренности. Эта искренность заострена Брюсовым в сторону некоторого сгущения общечеловеческих качеств» («Красная новь», 1929, № 4).

Татьяне Андреевне Кузминской не довелось закончить работу, рисующую довольно полно жизнь в Ясной Поляне. Вступительная заметка к третьей части мемуаров гласила: «Закончив третью часть воспоминаний, покойная Т. А. Кузминская приступила к писанию следующей части, которая должна была заключать в себе рассказ о событиях 1870-х годов. Но из этой части Татьяна Андреевна успела написать лишь четыре главы, которые и печатаются в настоящей книге в качестве приложения».

Среди самых памятных книг серии «Записи прошлого» следует отметить «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей» П. И. Бартенева,

издателя знаменитого «Русского архива», библиографа, историка, археографа, пушкиниста. «Рассказы о Пушкине...» завершили знаменитые бартеневские штудии, среди которых «Записки Г. Р. Державина», «Осьмнадцатый век», «Девятнадцатый век», «Архив кн. Воронцова» (в течение четверти века последний был издан в сорока выпусках), «Собрание писем царя Алексея Михайловича»... Как известно, Петр Иванович Бартенев умер в двенадцатом году, и выпуск его «Рассказов о Пушкине...» — заслуга Сабашникова и его ученого окружения. Недаром бытовало в двадцатых годах горделивое определение: «Сабашниковская академия».

Следует отметить, что Михаил Васильевич пристальное внимание уделял тщательности публикаций, и опыт серии «Записи прошлого» вошел в золотой фонд издательской культуры. Текстологический уровень, редактирование, пояснительные статьи, справочные отделы — все «высшего чекана», и на расстоянии лет это видится особенно хорошо. Если мы сегодня внимательно перечитаем «Алфавитный указатель имен и примечания» к выпускам Т. А. Кузминской, то особенно ясно увидим, какой бесценный энциклопедический материал они содержат. А ведь именно эти бесчисленные Агафьи Михайловны, Васьки, Веры Ивановны, Кирюшки составляли бытовое окружение толстовской семьи в Ясной Поляне.

Единство художественного оформления объединяет все книги серии «Записи прошлого». Здесь стоит напомнить слова, которыми в 1926 году Русское общество друзей книги охарактеризовало Сабашникова: «За отдельной вещью он никогда не теряет общего облика собрания. Его больше радует ясность сопоставления и последовательность развития, нежели любование тем ли, этим ли приглянувшимся экземпляром... В сабашниковской книге есть музейный вес. Когда они подбираются рядом и вытягиваются на полках, сказывается их музейная природа. Стоя перед ними, нам даже кажется, будто

в них есть какая-то капля драгоценной крови палеотипов». Последнее нам, если говорить положа руку на сердце, кажется некоторым преувеличением: причем тут палеотипы, то есть печатные издания первой половины шестнадцатого века? Причем здесь те, кто прославлен выпуском палеотипов, как, например, Альд Мануций или Франциск Скорина? Названные имена открывают возможность для сопоставлений. Дело не только в том, что Сабашников, как некогда Альд-старший Мануций, издавал античных авторов, в том числе Софокла и Еврипида. Сходство в другом — благородно скромные книги московского издателя, выходившие в бурные десятилетия, являются, так же как прославленные альдины, шедеврами книгопечатания, в них на свой лад — «все гармония, все диво».

Автором знаменитой издательской марки Сабашниковых был известный график Дмитрий Митрохин, член «Мира искусства», мастер гравюры на дереве. Лаконизм раннего Митрохина был в данном случае как нельзя более уместен.

Заметную роль в создании облика сабашниковской книги сыграл художник Алексей Кравченко, чье оформление «Деревянной королевы» Леонида Леонова стало блистательной страницей в отечественной книжной графике. Мастер штихеля, работавший часто в технике деревянной гравюры, Кравченко открыл себя в произведениях малых форм. Позднее над леоновскими текстами трудились многие, но Кравченко создал первую и едва ли не самую выразительную страницу леоновианы.

Издательство Сабашниковых существовало до 1930 года и выпустило свыше шестисот названий книг. Затем на его основе возникло кооперативное издательство «Север», в котором редакционно-издательской частью заведовал Михаил Васильевич. Под маркой «Севера» Сабашников напечатал несколько книг из «Записей прошлого», в том числе такие ценнейшие, как «Хроника рода Достоевского» и «Дневники» Софьи Андреевны Толстой. «Петер-

бургские очерки» П. В. Долгорукова печатались под редакцией Павла Щеголева, видного историка, интересовавшегося революционным движением, пушкиниста, автора книги «Дуэль и смерть Пушкина». Павел Елисеевич умер в 1931 году,— и долгоруковские «Петербургские очерки» и ставшая знаменитой книга о Пушкине стали достоянием читателей позднее.

Осенью 1934 года «Север» перестал существовать, став частью «Советского писателя». Последней сабашниковской книгой была «Весенняя флора» П. Ф. Маевского (одиннадцатое издание!) — в минувшем веке именно с нее началась издательская деятельность юных братьев. Недаром латинское изречение гласит, что книги, как и люди, имеют свою судьбу. Так закончилась одна из самых выразительных книжных эпопей двадцатого века.

Еще в двадцатых годах Михаил Васильевич взялся за написание воспоминаний. Неторопливо, страница за страницей, воссоздавал он своим бисерным почерком былое — множество лиц и судеб стояло перед его глазами. Ничего не хотелось упустить, и иногда подробности слишком выходили на первый план. Но, как оказалось, в них-то — вся соль. Сообщается о встречах в Лозанне со старым другом Герцена — Н. И. Жуковским, сохранившим благодарную память об издателе «Колокола». Через Жуковского к нам и доносит Сабашников отточенные герценовские максимы: «История движется по диагонали. Чтобы диагональ эта получила желательное нам направление, мы должны изо всех сил тянуть в свою сторону!» С кем только не приходилось за долгие годы общаться мемуаристу — Миклухо-Маклай, Шанявские, Танеев, Вернадский, С. В. Бахрушин, С. Н. Трубецкой, Бартрам, Брюсов, Шервинский, Голубкина, Остроухов, Леонов...

Мемуары полностью закончить не удалось. Личные и общественные подробности тех времен, записанные Михаилом Васильевичем, бесценны. Обращает на себя внимание язык воспоминаний —

естественно разговорный, деловито точный, но без навязчивой канцелярщины, привычной на рубеже столетий в бумагах «людей пера». Кратки и выразительны характеристики деятелей прошлого. Всего несколько штрихов — и перед нами портрет собирателя народных картинок Дмитрия Ровинского, чьи коллекции, став музейным достоянием, ценятся и сегодня. А как живописна старая Москва, нарисованная Сабашниковым!

Незабываемы страницы, посвященные встрече в Колонном зале Л. Н. Толстого и К. А. Тимирязева...

Рукопись этой книги бережно хранилась в семье Нины Михайловны Артюховой, дочери Сабашникова. Когда в семидесятых годах возник «Альманах библиофила», на его страницах и были напечатаны первые отрывки из мемуаров М. В. Сабашникова. В дальнейших хлопотах и в подготовке текста к печати приняли участие Нина Михайловна Артюхова и внучки Сабашникова — Татьяна Григорьевна Переслегина и Елена Сергеевна Сабашникова. Деятельную поддержку оказали Дмитрий Сергеевич Лихачев и Леонид Максимович Леонов. Первое издание воспоминаний было встречено с огромным интересом и сразу же стало библиографической редкостью. Во втором издании восстановлены некоторые сокращения, хотя полностью обойтись без них не удалось, что неизбежно в мемуарной литературе.

Какую бы из сабашниковских книг мы ни взяли, будь то «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», «Русские Пропилеи», сочинения Белинского, Аристофана, Огарева или Шелли, труды, посвященные декабристам, или «Русь» Пантелеймона Романова,— во всех мы чувствуем прикосновение заботливых рук.

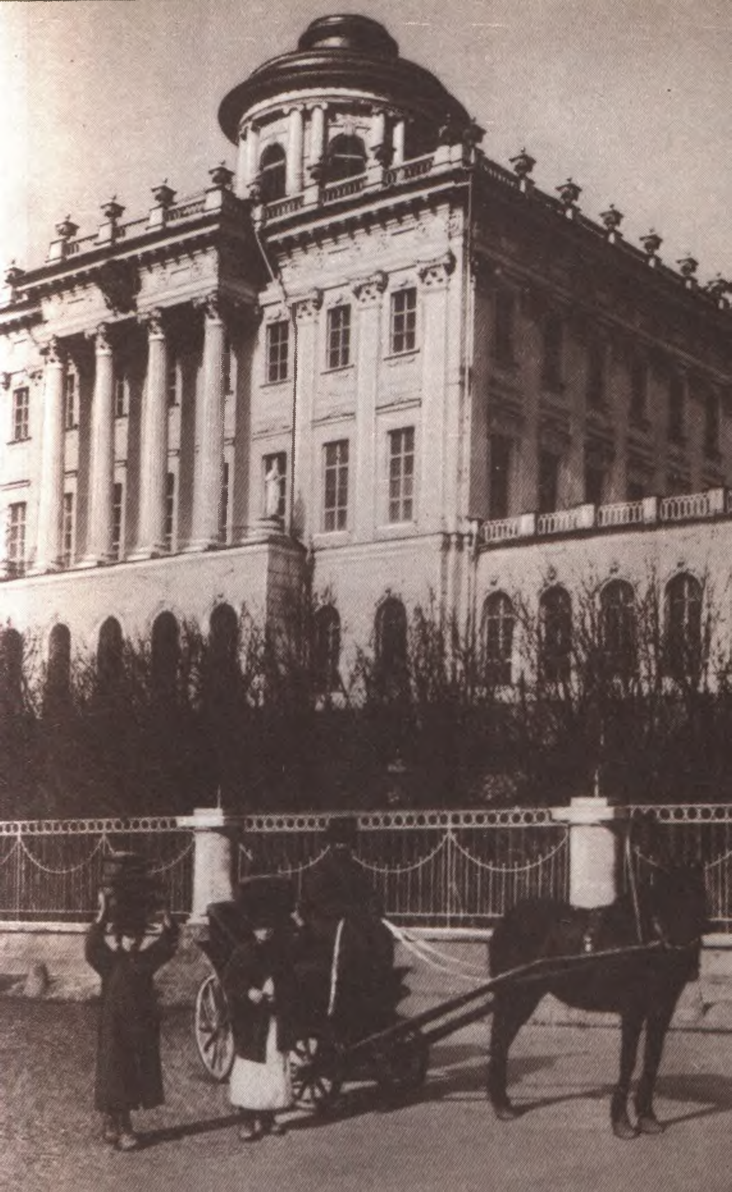
Многое в сабашниковских книгах сохраняет живую привлекательность для наших дней, но все-таки особенно «пленительную прелесть» являют мемуары, дневники, письма, публиковавшиеся в серии «Записи прошлого». Каждая из ее изданий, имеющих

«музейный вес», одновременно несет след, связанный со временем появления книги на свет. Я держу в руках «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891», и рассматриваю такую привычную книжную марку самой знаменитой сабашниковской серии. Читаю ее текст: «Записи прошлого. Воспоминания и письма под редакцией С. Бахрушина и М. Цявловского», перелистываю пожелтевшие страницы и не могу отвести глаза от кратких издательских сообщений о том, что в настоящее время печатаются очередные выпуски, в которые входят воспоминания А. Ф. Тютчевой и Б. Н. Чичерина, а также исследование «Любовь в жизни Льва Толстого»... Книга была издана в 1928 году, т. е. шестьдесят лет назад (срок немалый!), и сегодня манит к себе с неодолимой сладостной силой.

В 1975 году в Ленинской библиотеке состоялась выставка изданий Сабашниковых,—она была торжественно открыта, посещалась многочисленными читателями и пробудила интерес к тому, что удалось сделать Михаилу Васильевичу.

Фигура Сабашникова достойно венчает в двадцатом столетии галерею русских издателей-просветителей.

Евгений Осетров



ЕРВЫЕ МОСКОВСКIЕ СТРОИТЕЛЬНЫ

ВЫСШIЕ ЖЕНСКIЕ

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Е ЧАЙ 25%

ЧАЙ


РСЫ
ВАРІЙ



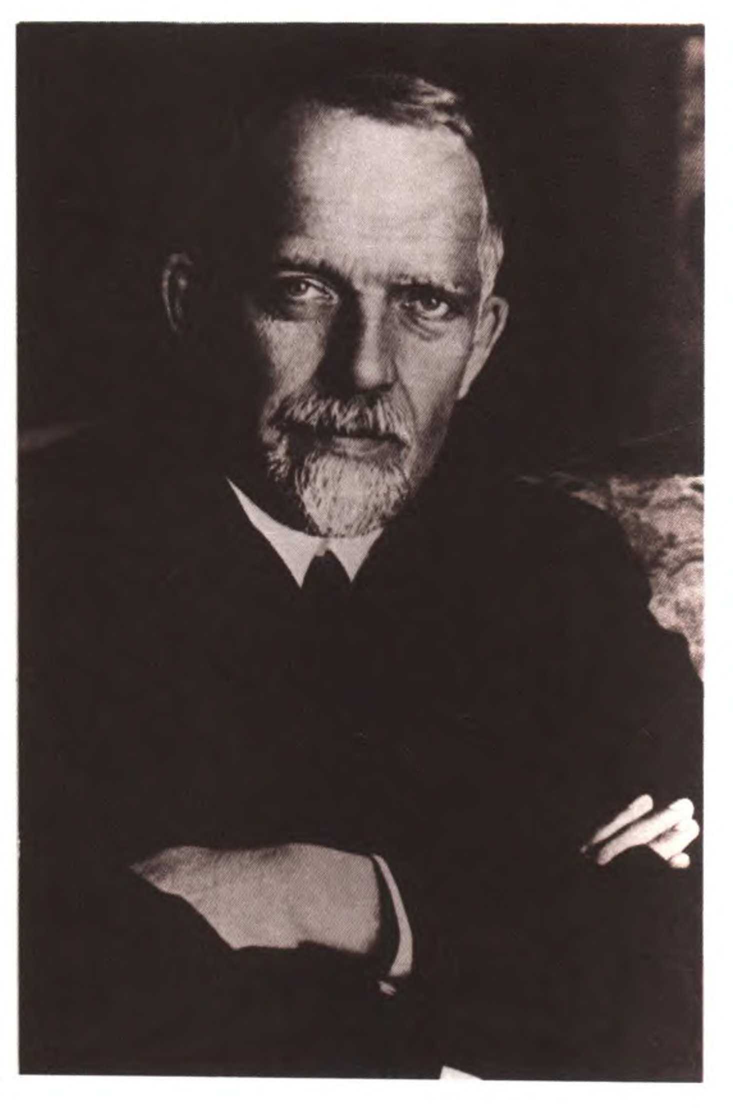

ПЕРЛОВ






А. РАЛЛЕ и К°

М.В.САБАШНИКОВ
ВОСПОМИНАНИЯ



М. В. Сабашников

НАШЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Род наш, по-видимому, происходит от выходцев из Кадниковского уезда Вологодской губернии. Мой двоюродный брат, Василий Михайлович Сабашников, рассказывал мне, что у него была серебряная дедовская табакерка с изображением герба и карты Вологодской губернии, преподнесенная деду по какому-то случаю. Так или иначе, но дед наш, Никита Филиппович, всю жизнь провел, насколько знаю, в Сибири, где и женился на бабушке, Аграфене Степановне. Дед служил доверенным Российско-Американской компании и за продолжительную безупречную службу получил звание потомственного почетного гражданина. При постоянных его служебных разъездах он обосновался в Кяхте, где обзавелся собственным домом и где у него родилось девять детей.

К сожалению, известные мне портреты деда и бабушки не сохранились. У деда было выразительное лицо, строгий, несколько острый профиль и нос с горбинкой. Бабушка была низкого роста, с округлым лицом и маленькими острыми глазками. Она была властного характера, пережила мужа на много лет и имела большое влияние на взрослых своих детей.

Наш отец, Василий Никитич, был женат на Серафиме Савватьевне, урожденной Скорняковой, по происхождению сибирячке. Образование она получила в Петербурге, в институте. О своем учебном заведении она сохранила самые печальные воспоминания и часто говорила, что детей своих ни в одно закрытое учебное заведение не отдаст. Она была очень живого и общительного характера, с ярко выраженными интеллектуальными интересами. Несмотря на юность (она была на 19 лет моложе отца), она играла заметную роль в кяхтинском обществе.

У родителей наших в Кяхте родились две дочери — Екатерина и Антонина (всегда ее звали Ниной) — и два сына — Александр и Василий, оба скончавшиеся в юном возрасте. В Москве родились Федор, я, Михаил и Сергей.

Между рождением Васи и Феди у отца с матерью чуть было не произошел разрыв. Мать даже уехала от отца с двумя девочками и около года путешествовала с ними за границей, тогда как отец оставался в Кяхте с Сашей и Васей. Для отца, до мозга костей семейственного, это, конечно, было жестоким испытанием, однако он проявил себя человеком, намного опередившим свое время. Нежно любя жену, постоянный в своих привязанностях, в высшей степени независимый в суждениях и поступках, он не растерялся в создавшемся положении, в котором большинство мужчин так часто не видит выхода. Со своей необычайной выдержкой он не дал случайным обстоятельствам верха над собой. После кратковременного разъезда родители наши вновь воссоединились и зажили дружной, крепкой семьей.

Отец имел обыкновение хранить получа-

емые им письма и копировать свои. У меня долго сохранялась очень оживленная переписка родителей между собой за те периоды, когда им приходилось быть в разлуке.

К сожалению, эта содержательная переписка сгорела во время пожара 1917 года, и я могу восстановить лишь несколько эпизодов из писем, сохранившихся в памяти.

Так, в одном письме Василий Никитич подробно описывает Серафиме Савватьевне, как он повез с приисков золото продавать в Иркутск. В мое время это делалось так. Золото обязательно сдавалось в золотосплавочную лабораторию в Иркутске, которая выдавала так называемые «ассигновки»; по ним уже можно было получить из Монетного двора в Петербурге золото в монетах или слитках. Продавалось таким образом не само золото, а ассигновки на золото по курсу дня, с учетом процентов за срок. Существовал ли в то время этот самый порядок или другой, в данном случае не существенно. Отец пишет матери, что для расчета рабочих надо было реализовать золото немедленно по прибытии в Иркутск. При въезде в город ему повстречался посредник, который, узнав, что отец едет прямо с прииска и везет продавать золото, тут же спросил цену и заявил, что оставляет золото по назначенной отцом цене за собой. Затем посредник сошел, чтобы принести деньги, а Василий Никитич, подъехав к гостинице, занял номер и заказал самовар. Из принесенной половым газеты отец сразу увидел, что за время пребывания его на приисках произошли какие-то крупные политические осложнения, запахло войной, курсы скачут, бумажный рубль пал, золото вздерну-

лось вверх. Пришедшие вслед приятели, узнав о состоявшейся в пути сделке, признали ее обманной, так как посредник воспользовался неосведомленностью Василия Никитича, бывшего некоторое время оторванным на приисках от всяких известий. Советовали золото не сдавать покупателю, а продать по высокой цене. «Но мне жалко стало данного мною слова»,— запомнился мне своеобразный оборот отца. И он сдал золото посреднику. Горячо и долго спорили потом купцы в Иркутске о том, как надо было поступить в данном случае. Одни осуждали Василия Никитича. Другие одобряли. А посреднику, воспользовавшемуся неосведомленностью Василия Никитича, пришлось искать работу в Томске, так как в Иркутске с ним никто больше не хотел «водиться». В другом письме к Серафиме Савватьевне Василий Никитич, говоря о бывшем в Кяхте пожаре, называет его наказанием, «ниспосланным свыше», и сообщает, что по случаю принятия им на себя в связи с городским бедствием общественных забот кяхтинцы выразили ему трогательную признательность. Это, добавляет отец, тем более приятно, что у него два сына, которые, как он надеется, тоже будут со временем общественными деятелями.

С живостью радикально настроенной молодой женщины Серафима Савватьевна возражает Василию Никитичу. Не «божье попустительство», а недопустимая халатность и небрежность самих кяхтинцев послужили причиной пожара. Она всегда говорила, что этим кончится, когда маленькие девочки-прислуги в сенях самовары раздувают. Кяхтинцы слишком практичные люди, добавляет она, чтобы не



С. С. Сабашникова — мать
М. В. и С. В. Сабашниковых

оценить всегдашней готовности Василия Никитича поработать на пользу общества. Что же касается детей своих, то она прочит им более широкую арену деятельности, нежели кяхтинское общество.

Отец был высокого мнения о значении торгово-промышленной деятельности. В начатом им, но не оконченном завещании он делает ряд денежных назначений на устройство школ в Сибири и на подготовку для них учительского персонала. Он высказывает пожелание, чтобы дети его, закончив образование, занялись полезной для народа и государства торговой или промышленной деятельностью. Здесь отец проявляет себя убежденным представителем своего сословия. В отличие от дворянских и тянувшихся за ними интеллигентских кругов, брезгливо смотревших на торгово-промышленную деятельность и предпочитавших государственную службу всякой другой карьере, Василий Никитич был невысокого мнения о «людях 20-го числа».

По рассказам старших, дом родителей наших в Кяхте одно время был средоточием кяхтинской и троицкосавской интеллигенции, среди которой были и политические ссыльные, в том числе декабристы. Мама получала из Москвы и Парижа книжные новости и охотно делилась ими со знакомыми. Она любила устраивать у себя чтение вслух наиболее занимавших общество статей и литературных произведений. К нам постоянно заходили просматривать получаемые родителями иностранные и столичные журналы. Вероятно, через китайскую границу отец получал «Колокол» Герцена, и читать его приходили не одни только политиче-



В. Н. Сабашников — отец
М. В. и С. В. Сабашниковых

ские ссыльные, купцы да интеллигенты. С большим интересом, но под покровом тайны за «Колоколом» следили и официальные лица.

БЕГСТВО БАКУНИНА

В 20-е годы в одной сибирской газете было напечатано следующее сообщение об обстоятельствах побега из Сибири сосланного туда Михаила Бакунина.

Доверенный иркутского купца Сабашникова

Как бежал Бакунин из Николаевска-на-Амуре

(От нашего владивостокского корреспондента)

Высланный в 1861 году под надзор полиции в Иркутск, Бакунин очень скоро завоевал симпатии либеральной иркутской интеллигенции и, частично, мещанства и купечества.

Пламенные речи, меткие удары по самодержавию — все это создало вокруг него атмосферу уважения. Это помогло ему осуществить план своего бегства.

Как раз в эти годы началась бурная погоня за пушными богатствами Камчатки и Командорских островов. Этим обстоятельством и воспользовался Бакунин, став доверенным лицом иркутского купца Сабашникова по закупке пушнины.

При содействии патрона ему удалось заполучить от тогдашнего исполняющего должность генерал-губернатора Сибири сопроводительное письмо. Прибыл Бакунин в Николаевск-на-Амуре 2 июля 1861 года на пароходе «Амур» и заявил николаевским властям, что он является поверенным в делах иркутского купца Сабашникова.

Как именно он представлял себе план своего дальнейшего побега — неизвестно, ибо по документам, которые сейчас найдены в архиве Владивостокского военного порта, этого установить нельзя. По-видимому, благодаря случайному стечению обстоятельств — в том числе и тупоумию

царских чиновников и, в частности, дальневосточного наместника — ему удалось осуществить свой дальнейший побег блестяще.

Дело в том, что письмо генерал-губернатора командиру Сибирской флотилии и портов Тихого океана было получено в Николаевске значительно позже. А в этом письме сообщалось, что Бакунин — политический преступник, находящийся под надзором полиции, и выезд ему за границу воспрещен.

Само бегство Бакунина на военном суденышке «Стрелок» весьма интересно.

Обстоятельства этого бегства изложены в рапорте капитан-лейтенанта клипера «Стрелок» Сухомлина генерал-губернатору Восточной Сибири.

«В навигацию минувшего года при отправлении вверенного мне клипера „Стрелок" из Николаевска в Де-Кастри (бухта недалеко от Николаевска),— пишет Сухомлин,— Бакунин был принят мною на клипер по предписанию штаба командира сибирской флотилии под названием путешественника, едущего с коммерческой целью.

При выходе вверенного мне клипера из Николаевска я имел на буксире американский барк „Викери", зафрахтованный для отвоза казенного провианта в гавань Ольгу. По выходе барка в Татарский пролив после мыса Лазарева сделался попутный ветер, и тогда командир барка изъявил желание идти под парусами прямо в гавань Ольгу, не заходя в Де-Кастри.

В это время Бакунин объявил мне, что он намерен отправиться на барке в гавань Ольгу для покупки соболей — главной цели его путешествия, как он мне объяснил, и, кроме того, для свидания с его превосходительством контр-адмиралом Казакевичем. Я, со своей стороны, не считал себя вправе стеснять Г. Бакунина, как человека свободного, разрешил ему пересесть на барк, который и ушел в гавань Ольгу. О дальнейшем путешествии Бакунина мне ничего не известно, но только передавал он мне словесно, что по окончании своих дел в гавани Ольга он намерен отправиться на р. Уссури и оттуда спуститься в Хабаровск. Подписал: капитан-лейтенант Сухомлин».

А дальнейшая судьба Бакунина? Воспользовался ли он до конца барком «Викери»?

Из гавани Ольга Бакунин на этом же барке отправился в японский порт Хакодате, куда прибыл 6 июля вечером. Оттуда он направляется в глубь Японии, на юг, где след его затерялся для русских властей, которые

тщательно искали «доверенного иркутского купца Сабашникова».

Что стало с Сабашниковым, косвенно способствовавшим побегу Бакунина, судить по найденным документам нельзя.

К. Ш.»

Вяч. Полонский в своей монографии, посвященной Бакунину, так пишет об этом:

«Оставшись без средств, Бакунин обратился к генералу Корсакову, исправлявшему должность генерал-губернатора Восточной Сибири (Муравьева в это время в Сибири не было), с просьбой о новой работе и однажды сообщил Корсакову, что кяхтинский купец Сабашников предлагает ему поездку на Амур с коммерческим поручением на очень выгодных условиях» (Полонский В. Михаил Александрович Бакунин. Т. 1. С. 343).

О причастности кого-либо из Сабашниковых, очевидно Василия Никитича, к побегу Бакунина я до сих пор ничего не слыхал, что, впрочем, неудивительно, так как у нас умели молчать, тем более о таком деле. Но когда я показал газетную заметку Александру Иннокентьевичу Сабашникову (который прожил в Кяхте до 1877 года и выехал оттуда четырнадцати лет), он вспомнил, что слышал в Кяхте разговоры об этом, но точно не мог припомнить, что говорилось.

Во всяком случае, думается мне, дело произошло не совсем так, как описывает автор газетной заметки. Ведь генерал-губернатором Восточной Сибири был тогда Муравьев-Амурский. Обличать его в глупости просто смешно. Окружал он себя тоже не разинями; достаточно указать на привлечение к работам

по описанию края Кропоткина, Шанявского и др. «Купец Сабашников», кто бы он ни был, конечно, тоже действовал с бóльшей сознательностью, особенно имея дело с политическим, к тому же родственником самого генерал-губернатора.

КЯХТИНСКИЕ ЧАЕТОРГОВЦЫ

Василий Никитич вел в Кяхте собственное чайное дело, в котором принимали участие и братья его. Это была оптовая импортная торговля: чаи шли из Китая, преимущественно из Ханькоу, караванами через Монголию в Маймачен (китайский город, смежный с Кяхтой).

Прорытие Суэцкого канала, открывшее в 1869 году дешевое морское сообщение, повело к тому, что доставлявшийся в Россию из Китая чай стал направляться морским путем на Одессу вместо прежнего сухопутного пути через Кяхту. Это повело к подрыву Кяхты. Вероятно, в предвидении такого оборота дел переселились из Кяхты в Москву в 1860-х годах сначала дядя наш, Михаил Никитич, а затем и отец.

Удержать чайный импорт в своих руках кяхтинцам не пришлось. Московские фирмы, господствовавшие на внутреннем рынке своей широкой, раскинутой по всей империи распространительной сетью, стали заводить конторы в Китае. Пришлось поэтому старым кяхтинцам избирать новые поприща для своей деятельности.

Что касается отца, то он еще раньше начал поиски золотых месторождений, и ему

удалось открыть в верховьях Онона россыпи. Василий Никитич предпринял разработку открытых им приисков, привлекши к этому и братьев.

В свою очередь, прослыв деятельным и умелым золотопромышленником, он был приглашен Аполлинарией Ивановной Родственной (матерью Лидии Алексеевны Шанявской) предпринять совместные поиски в верховьях реки Зеи, притока Амура. Поиски эти увенчались блестящим успехом и положили начало Зейской золотопромышленной компании и другим компаниям по добыче золота в обществе с Л. А. и А. Л. Шанявскими и П. В. Бергом.

В МОСКВЕ

Переехав в Москву, родители мои поселились в доме Чижова, в Большом Левшинском переулке, против церкви Покрова в Левшине. Этот хорошенький особнячок, одноэтажный, с мезонином и двумя флигелями по бокам, с обширным двором впереди фасада и недурным садом с противоположной стороны, сохранился до настоящего времени в полной неприкосновенности. Перед революцией дом этот принадлежал Загоскиным, и во флигеле, со стороны Денежного переулка, жил Н. В. Давыдов. Судя по рассказам сестер, нашим жилось в доме Чижова хорошо.

То была счастливая полоса в жизни наших родителей. У меня, впрочем, никаких воспоминаний, связанных с домом Чижова, не сохранилось, даром что я в нем родился и что в

нем со мной произошло первое жизненное приключение. Как мне впоследствии неоднократно рассказывали, оступившись у верхней площадки лестницы в мезонине, где находилась наша детская, я скатился вниз, «пересчитав ступеньки». Мама, беременная Сережей, не могла кинуться вниз, чтобы удержать меня. Федя, стоявший внизу, неистово кричал, чтобы я разжал руки и выпустил игрушки — молоток и медведя, ударявшие меня по голове на каждой ступеньке. Но я игрушек не выпустил.

Вскоре родители решили обзавестись собственным домом. Выбор местности пал на уже облюбованную часть города между Пречистенкой и Поварской. Эта здоровая местность издавна была заселена преимущественно дворянством. Затем здесь стала селиться и так называемая интеллигенция — врачи, чиновники, юристы, профессора, артисты, инженеры. Сюда же потянулись и купцы с фабрикантами, ранее державшиеся преимущественно Замоскворечья. Понятно, что вновь переселяющиеся из провинции в Москву люди со средствами охотно оседали тут же.

Отец остановил свой выбор на владении, расположенном с солнечной стороны посередине Арбата, между двумя переулками, Б. и М. Песковскими *, с проходным двором, по обширности своей оставлявшим в будущем возможность большой застройки.

Для постройки пригласили одного из лучших московских архитекторов того времени — Каминского, который и возвел в 1873 году особняк в стиле барокко. В ту пору испытан-

* Б. и М. Николопесковские пер.— *Ред.*

ный, разработанный рядом гениальных зодчих, хорошо приспособленный к современным потребностям, прижившийся у нас классический (античный) стиль считался устаревшим, «казенным». Строя себе особняки, новая буржуазия перепробовала все стили, с тем чтобы в начале века вернуться к уравновешенным формам классики.

Владение занято теперь, но совершенно до неузнаваемости перестроено театром имени Евг. Вахтангова. Великолепная мраморная лестница в два марша, белого мрамора с бронзовыми статуями. Уютная зала с лепниной, отличавшаяся редкостным резонансом, восхищавшим А. Г. Рубинштейна. Дубовая столовая. Черная гостиная с гобеленами и красная гостиная с кариатидами из белого мрамора. Сколько наслаждений получили мы еще совсем малышами, слушая музыку или глазея на танцы в нашем белом зале, рассматривая в черной гостиной гобелены на сюжеты из басен Лафонтена, прячась в кабинете у отца за гигантскую китайскую вазу.

В дни приема гостей нам разрешалось в черной гостиной перелистывать лежавшие там иллюстрированные издания. Из них особо поражал нас Данте, иллюстрированный Гюставом Доре. Были еще вывезенные отцом из Китая альбомы с подлинными китайскими цветными картинками, на рисовой ломкой бумаге, изображавшие насекомых, птиц, цветы, пейзажи, домашние и уличные сцены. Припоминаю я еще лежавший тут же альбом гоголевских типов Боклевского.

После дома в Москве родители обзавелись для летнего житья дачей на восьмой версте от

Москвы по Можайскому шоссе, в Жуковке, между Кунцевым и Сетунью. Там проводили лето, причем отец ежедневно ездил на пролетке в город по делам.

Жуковка еще не была так населена, как теперь. Все дачи имели более или менее значительные огороженные участки. Так, у нас был парк в восемь десятин. Несмотря на близость к городу, это была почти настоящая деревня. Достаточно сказать, что при отце в какую-то осень на наш участок забрел лось. При перескакивании через забор он напоролся насмерть на острый кол.

На дачу ездили на своих лошадях, что брало около часу времени. При проезде мимо Кутузовской избы, тогда еще не застроенной и одиноко стоявшей в открытом поле, нам часто рассказывали эпизоды Отечественной войны, связанные с этой местностью. Несмотря на то, что протекло тому уже более 60 лет и пережиты были страной еще две тяжелые войны, Отечественная еще жила в преданиях. В деревне Аминьево (около Жуковки) мне пришлось слышать даже рассказы крестьянки, очевидицы пожара 1812 года.

События моей жизни происходили преимущественно в Москве. В частности, в своих воспоминаниях я говорю о Можайском шоссе, Поклонной горе и об открывавшемся с нее виде на Москву. Вот как его воспроизводит С. М. Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен»:

«Среди этой обширной и пустынной страны, где, казалось, так недавно человек начал подчинять природу своей воле, где так редко встречались небольшие села и деревни и боль-

шие огороженные села, города, западный путешественник с нетерпением ждал, когда же покажется тот знаменитый город, который давал имя целой стране, в котором пребывал неограниченный владыка ее. И вот перед ним развертывалась Москва, и вдали производила сильное и выгодное впечатление: на неизмеримом пространстве черная громада домов, но над этой черной громадой поднималось бесчисленное множество церковных глав и колоколен и выше всех поднимался Кремль, жилище великого государя, с белой каменною стеной, наполненный белыми каменными церквами с позолоченными главами, и посредине высокий белый столб с золотою главою — Иван Великий, гигант благодаря скромной высоте других зданий. Эта белизна кремлевской стены и церквей, резко выдающаяся в противоположность массе черных деревянных домов, и большее количество каменных зданий сравнительно с другими городами дали происхождение известному эпитету, который до сих пор остается за Москвой,— *белокаменная*».

Эта великолепная черно-бело-золотая картина ждет своего живописца, чтобы быть изображенной на стене какого-нибудь общественного здания. В наше время мы любовались с Поклонной горы этим зрелищем в преображенном виде. Черная громада деревянных зданий, уступивших в значительной части место каменным или хотя и деревянным, но оштукатуренным и побеленным строениям, сменилась пестрым разнообразием белых и кирпично-красных стен, красных и зеленых крыш. По-прежнему блестели над этим морем домов церковные крыши и купола с крестами, но всех

ярче светился на солнце громадный купол храма Христа Спасителя...

РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я родился 22 сентября* 1871 года в Москве, в доме Чижова.

Самое раннее мое воспоминание, однако, связано с нашим арбатским домом. Оно относится, по-видимому, к 1875 году. Дом еще, очевидно, не вполне достроен и отделан. В узкой комнате, проходной в спальню сестер, обращенной единственным своим окном к Арбату, у стены стоит большое зеркало с подзеркальником, какие бывают обыкновенно в передних. Наш служитель Михайла надел новую синюю ливрею с блестящими пуговицами и, примеряя картуз, прихорашивается перед зеркалом. Мы, дети — Сережа и я,— совсем еще маленькие, во все глаза рассматриваем ливрею швейцара, ранее, вероятно, нами не виденную. Происходит что-то необычайное. Я воспринимаю это по волнению окружающих, по их приготовлениям и разговорам и ощущаю какое-то напряжение во всем теле... Отец поехал встречать маму, возвращающуюся из заграничного путешествия со старшими детьми — Катей, Ниной и Федей. Но, как это ни странно, самого прибытия их я совершенно не помню, а выступает со своими глупыми и ненужными подробностями уже последующая сцена. Мы с Сережей в оцепенении рассматриваем братца Федю, одетого «по-заграничному», в гетрах, со множеством круглых серых пуговиц.

* 5 октября по новому стилю.— *Ред.*

Но вот теплое весеннее утро на даче в Жуковке. Мы, дети, подобрали выпавших из гнезда мертвых птенчиков и по совету француженки мадемуазель Бессон, учительницы сестер, положив их в коробку из-под конфет, предаем погребению.

Маме, заставшей нас за этим, не нравится игра в могильщиков, и, упрекая мадемуазель Бессон в излишней сентиментальности, она вступает с ней в спор на французском языке, которому нас хотя и учат, но предполагают, что мы его не понимаем (частая непоследовательность взрослых). Спор закончился знаменательными для обеих словами, впоследствии часто всеми припоминавшимися: «Я смерти боюсь»,— сказала мама. «А я не смерти, я болезни боюсь»,— возразила мадемуазель Бессон. Смерть уже стерегла маму, а мадемуазель Бессон в глубокой старости пришлось более двух лет пролежать в параличе.

Ярко запечатлелись у меня некоторые моменты болезни брата Васи, длившейся более года и поведшей к его кончине. Как я впоследствии узнал, у него развилось вызванное ушибом гнойное воспаление легких.

Он учился в реальном училище и во время возни с товарищами получил удар в грудь. Сам он никому не рассказал, как это произошло. Много лет спустя артист Малого театра Арбенин, одно время участвовавший в литературно-музыкальных вечерах, устраивавшихся сестрами в нашем доме с благотворительными целями, рассказал мне подробности этого происшествия, ему хорошо известного, так как он был в одном классе с Васей.

Бедный мальчик стоически, кротко пере-

носил свою болезнь. Весной, когда надо было переезжать на дачу, его перенесли в Жуковку на носилках, чтобы меньше подвергать тряске. Отчетливо помню отправление носилок со двора арбатского дома в сопровождении состоявшего при больном фельдшера, к которому мы все очень привязались. Буфетчик Максим присоединился к фельдшеру пешком провожать больного. Затем мы, здоровые дети, в пролетке обгоняем носилки при подъеме на Поклонную гору.

По приезде на дачу мы быстро обежали дом и сад, и спрошенная мною кукушка прокуковала мне семь лет жить. Как мне казалось это много, и как смеялась этому наша няня! А затем мы вышли на шоссе встретить носилки у поворота на дачу. Мы их завидели издали, но приближение их казалось томительно долгим... А наверху в поднебесье заливался жаворонок, и я хоть и слепил глаза, но никак усмотреть его не мог...

Помню потом, как бедного Васю ежедневно катали в коляске по дорожкам.

Это было тяжелое для нашей семьи лето 1876 года. Роды у матери прошли неблагополучно. Ребенок явился на свет мертвым, а у матери сделалась родильная горячка. Ее крепкий организм долгое время боролся с недугом, но 22 июля ее не стало.

Был жаркий, солнечный день. Брат Вася лежал в тени берез у гигантских шагов, читая какую-то книгу. Я на корточках перед большим муравейником смотрел, как муравьи бегают по своим дорожкам. Сережа тут же копался в песке. Васин фельдшер предложил мне зачем-то отвезти Васину коляску в дом. Гордый

возложенным на меня ответственным поручением, я, ухватившись сзади за высокую ручку, толкал пустую коляску перед собой по дорожке мимо террасы.

Сестра Катя одна сидела на террасе с платком в руках. Когда я поравнялся с террасой, она сказала мне: «Ты, Миша, опять шумишь. Ну, да теперь все равно. Мамочка умерла». Как сейчас помню испуг на лице Кати, когда она произнесла сорвавшееся у нее слово «умерла». Оставив коляску катиться по дорожке, я опрометью взбежал на террасу. Через минуту мы с Катей, оба в слезах, обнявшись, стояли у кушетки, на которой лежала мамочка, вся в белом, бледная как мрамор.

Помню потом панихиду в зале на даче, отпевание и погребение в Сетуни. Утром в день похорон, выйдя на крыльцо, я испугался черного факельщика, разбрасывавшего ветки можжевельника. Когда гроб с пением понесли в Сетунь мимо соседних дач, семья священника В. Сперанского, смотря на траурную процессию, жалела крошечного сиротку Сережу, которого сестры вели за руки. Знаю это по рассказам Сперанских, так как впоследствии нам суждено было близко сойтись и всю жизнь провести в тесной дружбе.

С наступлением осени больного Васю отправили в Крым. Я хорошо помню прощание с ним всей семьи и всего дома у поданного к подъезду дачи ландо. Дальше в памяти моей сохранились лишь разрозненные осколки злополучного лета 1876 года. В саду и на даче стало пусто. От кого-то я слышал, что в Кунцеве нашли зарезанного человека. Я стал

бояться выходить в сад в сумерки. С опаской перебегал я по даче мимо растворенных окон, нагибаясь, чтобы меня нельзя было увидеть из сада. Темные вечера мы с Сережей проводили в детской. Няня затапливает печку. Мы на корточках смотрим в отворенную дверцу, как разгораются дрова. Горничные из девичьей подсаживаются тут же. Одна затягивает вполголоса чуть слышно: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...» Другая аккомпанирует ей на гребенке, обернутой в тонкую бумагу...

В течение всей жизни я не испытывал подобного чувства покинутости. Что бы ни случилось, я всегда ощущал себя окруженным сочувствием, деятельной помощью сестер и преданных друзей, которых у меня было так много.

Вероятно, няня или кто-нибудь другой говорил мне, что теперь мамочка «с херувимами и серафимами», и в иконе нерукотворного Спаса, несомого серафимами, в Сетуньском храме я стал видеть портрет мамочки, которую ведь звали Серафима. Только теперь, посетив Сетунь в 1931 году, я узнал, что местный образ, очаровавший меня в детстве, писан Симоном Ушаковым в 1676 г. по заказу Артамона Матвеева, как гласит надпись на ризе.

В Москве я заболел скарлатиной в тяжелой форме. Как впоследствии рассказывала Лидия Алексеевна Шанявская, отец боялся за мою жизнь, говоря, что новый дом приносит ему одни несчастья. Меня, разумеется, отделили от остальной семьи, и я на долгое время ото всех оторвался, ничего не знал и не слышал.

Как-то вечером, когда острый период болезни, очевидно, уже миновал, лежа в кро-

ватке в полутьме, я беспредметно мечтал и прислушивался к игре Нины на рояле, отчетливо доносившейся из залы через затворенные двери. Сидевшие в моей комнате мадемуазель Бессон и наша английская бонна мисс Маколей, перестав шептаться, тоже молча слушали игру Нины. Когда Нина кончила, мисс Маколей, утерев слезы, шепнула что-то мадемуазель Бессон. Я не расслышал ее слов. Но по возражениям мадемуазель Бессон понял, что мисс Маколей находила неуместным, что Нина сейчас продолжает заниматься музыкой. Мадемуазель Бессон горячо защищала Нинины занятия музыкой.

«Не успели отбыть траур, как новая смерть в семье,— настаивала мисс Маколей,— до музыки ли?» — «Но музыка — это серьезное занятие, а не увеселение»,— возражала мадемуазель Бессон. «А что думает об этом Василий Никитич?» — стояла на своем мисс Маколей.— «В нем нет предрассудков. Он, наверное, сейчас в своем кабинете плакал, слушая свою дочку, один, как мы с вами, и не осуждал ее».

Я был на стороне мадемуазель Бессон, но ничего не понимал. Какое новое горе? Мне не говорили. Я не решался спросить, притом я был так слаб. Я не хотел никакого нового огорчения и потому негодовал на мисс Маколей.

Прошло несколько дней. Я на ковре, разостланном на полу, в халатике, играл в кубики, когда старая горничная сестер Евгения, взяв меня на руки, поднесла к окну, выходящему в Большой Песковский переулок (ныне улица Вахтангова). Там, перед самым нашим окном, люди держали на плечах гроб.

Отец, Катя, Нина, Федя и Сережа со своей толстой няней стояли у гроба, тучный дьякон с длинными волосами взмахивал кадилом, высокий наш приходской священник возглашал молитвы. Шла лития по Васе, скончавшемся в Крыму и привезенном для погребения в Сетуни.

Трудно было отцу перенести это новое горе. В переписке его с Васей за последние месяцы, которую мне впоследствии привелось прочесть, вылилось со стороны отца столько нежности и ласки, а со стороны маленького сына столько внимания и любви. Бедный мальчик в каждом письме старался подать отцу новые основания для надежды, сообщить какой-нибудь, хотя бы призрачный, знак улучшения.

Фельдшер, состоявший при Васе и привезший в Москву его тело, рассказал отцу, как в Ялте в городском саду с Васей познакомились барышни Андреевы — Маргарита, Татьяна и Анна — и как они старались развлекать больного мальчика. Отец, из писем Васи знавший об удовольствии, какое ему доставляли эти приезжие москвички своими посещениями, после похорон посетил мать их, Наталью Михайловну, взяв с собой Катю и Нину. Этим началась тесная дружба наших семей. Вскоре затем мы породнились, так как Маргарита Алексеевна вышла за Василия Михайловича, моего двоюродного брата.

В голубоглазом, белокуром Васе было, по-видимому, что-то особенно привлекавшее к нему людей. Когда в 1896 году, попав в Ялту после перенесенного брюшного тифа, я обратился за врачебным советом к доктору Дмитри-

еву, ялтинскому старожилу, он, услышав мою фамилию, пришел в волнение и глубоко задумался. Оказалось, он пользовал Васю в Ялте и теперь, двадцать лет спустя, с умилением и горестью вспоминал своего маленького пациента. А ведь сколько больных должно было с тех пор пройти через руки такого популярного врача, как Дмитриев!

Старая Евгения, о которой я упоминал, была горничная моих сестер. От ревматизма у нее болели и были скрючены пальцы, и она лечилась настойкой на мухоморах, которых мы ей усердно набирали каждую осень в Жуковке. К нам, мальчикам, она прямого отношения не имела, но когда няня, большая чаевница, уложив нас спать, отправлялась чай пить, она обыкновенно просила Евгению посидеть в детской, пока мы не заснем. Я это время очень любил, потому что Евгения рассказывала нам сказки. Она знала наизусть «Гусара» Пушкина и очень выразительно его произносила. Многих мест я, конечно, не понимал, но научился от нее повторять все стихотворение на память.

Я уже упоминал нашего буфетчика Максима Филипповича. Он прослужил у нас лет пятнадцать, поступив при отце и оставив службу после Нининой свадьбы, года три спустя. Он был очень высокого мнения о нашем доме и о значении своей должности. Человек в высшей степени впечатлительный, с большим воображением и сильно увлекающийся, могущий развить, когда окажется в ударе, громадную энергию, он был незаменим в дни праздников и больших приемов.

Подстегиваемый самолюбием и сознанием важности своих функций, он на балах, званых

обедах или концертах, устраивавшихся у нас в доме, чувствовал себя как полководец во время сражения. В будни же он скучал, работа ему надоедала, охотно сваливал он тогда часть ее на другого служителя — бесхитростного и работящего Михайлу, камердинера отца. Максим постоянно предавался мечтаниям об охоте и разговорам о политике. Жадно прислушивался он ко всему, что говорилось у нас за столом, и часто заходил к нам в классную комнату, чтобы побеседовать о волновавших его предметах с нашими учителями, сначала Соколовым, потом Сперанским. Помню, как в патриотическом восторге он разбудил и поднял на ноги весь дом, бегая по коридору и стуча во все двери по получении рано утром известия о падении Плевны.

Упомяну здесь, кстати, об играх наших с детьми служащих. Мы очень любили играть с ними во дворе арбатского дома и на даче: зимой — снежки, катание с гор, снежные крепости, летом — казаки-разбойники, лапта и пр. В этих забавах мы имели полную свободу. Говорили иногда о том, чтобы запретить эти «дворовые» игры, но такие предложения все же не принимались, и, поскольку «дворовые» игры допускались, наши пестуны уже в них не вмешивались. Припоминается мне такой случай. Во дворе арбатского дома были сложены бочки с рафинадом. Сын артельщика, выкатив на открытое место порожнюю бочку, становился на нее и, перебирая ногами, заставлял ее катиться под собой, все время удерживаясь стоймя на бочке. В восторге заглядевшись и забежав вперед, я попал под катящуюся бочку. Я при этом получил настолько сильный ушиб,

что впал в обморок. Мальчики вывели меня за ворота в Б. Песковский переулок и усадили на тумбу, где я и просидел, пока не очнулся. Никто из взрослых про это никогда не узнал.

НАШЕ ВОСПИТАНИЕ

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».

С тех пор, как это было написано, много воды утекло! Мы, наоборот, росли, окруженные людьми, весьма ценившими образование, искренне преданными делу народного просвещения, хлопотавшими о нем и придававшими нашему воспитанию и обучению самое серьезное значение.

После кончины матери мы с Сережей остались на попечении английской бонны мисс Маколей.

Привычка к чистоте, спокойная вежливость, обязательная при всех обстоятельствах, умение держаться с достоинством, но обходительно и предупредительно со всеми без различия, и многие другие правила обхождения, которые при приобретении их с детства становятся как бы второй натурой, были нам внедрены этой простой, доброй и преданной тому, что ею признавалось долгом, женщиной.

Как известно, воспитанные англичане находят в высшей степени «вульгарным» (стало быть, неприличным) всякое проявление возбуждения или волнения, в чем, по-видимому, сходятся с людьми старых восточных культур. При моей в детстве необузданной вспыльчиво-



Братья Сабашниковы в детстве

сти бонне, конечно, нелегко было внушить мне свои правила поведения.

Я затрудняюсь определить, какими приемами она на нас действовала. Конечно, жалоба отцу на наше непослушание была бы сильным оружием в ее руках, но я решительно не помню, чтобы она когда-либо пожаловалась на нас отцу. Уверен, что никогда она не прибегала даже к подобной угрозе. Отец, как нам внушалось и как мы сами видели, был всегда занят какими-то важными делами, и беспокоить его нашими детскими заботами всем казалось бы безобразным, невозможным даже поступком. Нет, мисс Маколей управлялась как-то своими средствами, не вынося сора из детской. Не обходилось тут без потасовок. Два сочных шлепка ладонью по мягким частям (совершенно безвредных, как нам при этом разъяснялось), и бессильный мой ответ кулачком в бок, после которого я спасался, бывало, под кровать, а бонна меня за ноги оттуда вытаскивала. Если я боролся до последней крайности, то, лежа под кроватью, хватался за ножку кровати, обращенную к стене, и, чтобы меня извлечь, приходилось отодвигать кровать от стенки, после чего мое упорство оказывалось сломленным. Я сдавался, честно и беспрекословно выполняя требования победителя, смотря по тому, что было предметом спора,—надевал башмаки или калоши или же выпивал ненавистную ложку касторки. Это лекарство давалось нам при всех недомоганиях. Зная наше к нему отвращение, добрая мисс Маколей иногда, для примера, сама проглатывала ложку этой мерзкой жидкости.

От мисс Маколей мы научились свободно и бегло говорить по-английски. Религиозная, она приучала нас по вечерам, перед сном обязательно молиться, но собственными словами, так как никаких затверженных молитв мы не знали. Но мы хорошо знали важнейшие эпизоды Ветхого и Нового заветов, которые неоднократно прослушали от мисс Маколей, разумеется, на английском языке и в ее пересказе и чтении.

Уехав со временем на родину, мисс Маколей прислала каждому из нас в подарок карманные часы, очень простые, как все английское, прочные и верные. Я не заводил себе других часов на протяжении долгих лет, пока не лишился их со многим другим, мне дорогим.

Отец был всегда очень занят. Видались мы с ним обыкновенно только за едой — утренним и вечерним чаем, завтраком и обедом, когда семья бывала в сборе. Кроме этого, он обыкновенно вечером, закурив сигару, обходил весь дом и заходил к нам в детскую попрощаться на ночь. Помню, как он раз застал нас за рисованием и смеялся до слез, найдя, что мы рисуем его конторскими карандашами (черным и красным с синим) и, чтобы получить зелень деревьев и травы, смешиваем синий цвет с красным.

Карандаши эти нам давал старичок, доверенный отца, Бессонов. Мы каждое утро ходили здороваться с ним в контору, помещавшуюся в нашем же доме, рядом с кабинетом отца. Бессонов был любитель живописи и, если не ошибаюсь, собирал гравюры. Он продолжал служить и после смерти отца, и сестра Катя всегда оказывала ему особое внимание, как

любимому сотруднику отца. С завтраками в его обществе мне запали в память разговоры о живописи. Сестра Катя, учившаяся живописи у Неврева, обыкновенно бывала в курсе всех новостей в этой области. Завязывался разговор, а иногда и спор. Передвижные выставки давали богатый к тому материал. Так, за завтраками этими обсуждены были «Иван Грозный» Репина, «Три царевны» Васнецова, «Русалки» Маковского, «Грешница» Поленова... Тут же слышал я о неудаче художника Маркова, написавшего бога Саваофа в куполе Христа Спасителя. Когда леса были сняты, очертания снизу оказались расплывчатыми, неясными. Нужно было все вновь перерисовывать. Тут выручили Маркова его ученики, выполнившие эту неожиданную сверхсметную работу без постройки заново разобранных уже лесов, с подвешенных досок и лестниц.

За этими завтраками говорили и о музыке, причем начинала обыкновенно мадемуазель Бессон, и отец вызывал на разговор и Нину. Она много и серьезно занималась музыкой, и отец, видя ее музыкальную одаренность, поощрял занятия и посещения концертов и оперы.

Клинвордт, руководивший Ниниными занятиями на рояле, выделял ее из всех своих учениц и настоял на том, чтобы ее прослушал Николай Григорьевич Рубинштейн. Последний очень одобрил Нинину игру и выразил желание ею руководить. Однако он вскоре скончался. Мадемуазель Бессон впоследствии передавала мне не лишенное остроумия и проницательности замечание Н. Г. Рубинштейна о Нине, не сообщенное ею тогда своей ученице по соображениям «педагогическим»: «У этой барышни

три приданых: талант, красота и богатство, лишь бы они не мешали друг другу!»

Игра Нины сопровождала мое детство. В зрелые годы мы с Ниной жили врозь, и я тем более дорожил всяким случаем ее послушать. Уже под старость нам суждено было около года прожить под одной кровлей, и игра ее скрасила мне этот период жизни.

Несколько раз в зиму отец устраивал балы для дочерей. Буфетчик Максим освобождал себя тогда от обычных трудов и дня за два погружался в приготовления. Доставали из кладовой ценный хрусталь и севрский фарфор. На парадной посуде, изготовленной по специальному заказу матери, красовались ее вензеля. По обычаю того времени, дом и домашнее имущество почитались жениным достоянием. Это держалось не на одной только почтительности к супруге. В купеческой среде, где удачу в делах всегда подстерегают деловые осложнения и никто не застрахован от возможной несостоятельности в будущем, считалось благоразумным иметь дом на имя жены и за ней записывать всю обстановку. Обыкновенно (скажу уж кстати) владелица дома означалась дощечкой у ворот, с другой стороны которых на дощечке были слова: «Свободен от постоя». Это значило, что за дом внесена некоторая сумма на содержание воинских казарм — добровольный налог, освобождавший от повинности по расквартированию воинских частей.

Но возвращаюсь к приготовлениям к балу. Хлопотно было с освещением. Электричества ведь еще не было. Надо было во всех многочисленных люстрах и канделябрах установить свечи да соединить их зажигательным

фитилем, чтобы в вечер бала быстро осветить все помещение; особенно внимательно проследить за вертикальной установкой свечей, чтобы они не капали на танцующих. В красной гостиной устанавливалась «горка», т. е. высокий стол под сандвичи, фрукты, конфеты, вина и прохладительные напитки. Садовник привозил из Жуковки цветы. Фрукты брались у Филиппа Семенова на Маросейке, но наш визави, колониальный магазин Нечаева, на углу Арбата и Калошина переулка, удерживал за собой всю поставку закусок. Конфеты и торты тоже поставлялись арбатским кондитерским магазином Флейша, имевшим клиентов не в одной только нашей части города.

Нарядами дамскими тогда правила фирма Минангуа, державшая свою мастерскую на Кузнецком. В день бала представительницы дома этого являлись работать в комнату барышень. Туда же приходил парикмахер. Настройщик настраивал рояль, а перед самым съездом гостей являлся во фраке изящный тапер итальянец Финоки и для пробы рояля бойко проигрывал мазурку. Съезжались все родственники и знакомые. Пока молодежь танцевала, пожилые гости сидели в гостиных. Мужчины разговаривали у отца в кабинете. Игроки состязались в соседней комнате в биллиард, единственную, кажется, игру, в которую отец охотно и с увлечением играл. Карты у нас не водились. Танцующие разъезжались перед утром.

На следующий после бала день в пятом часу молодые люди, бывшие на балу, заезжали с благодарственным визитом и оставляли свои карточки, так как приема не полагалось. Впрочем, самые близкие завсегдатаи все же подни-

мались наверх, но позже, к вечернему чаю. Обменивались впечатлениями и наблюдениями, решали, кто из девиц имел наибольший успех, смеялись над веселыми эпизодами.

Вспоминается мне случай, не получивший, впрочем, огласки, по молчаливому нашему соглашению. Среди гостей, приглашавшихся всегда на эти балы, бывал старичок З., с которым отец был знаком еще по Кяхте. Старик обыкновенно уносил с «горки» в переднюю и клал в карман своей шубы фрукты и конфеты для своих внуков, а быть может, детей, так как, кажется, он на старости лет женился. Максим наш видел в этом нетерпимый беспорядок и раз позволил себе замечание. Но отец как-то узнал о случившемся и просил Максима (такова была обычная форма его приказаний) всегда приготовлять для детей З. особую корзинку с гостинцами. «Ну, уж и Василий Никитич!— говорил восторженно Максим, убирая этот подарок.— И старика уважил, и меня, старого черта, проучил!»

Постом в Москву приезжала итальянская опера. Отец брал абонемент себе и дочерям. Когда ему нельзя было ехать, то Катя и Нина отправлялись в сопровождении мадемуазель Бессон, которая острила по этому случаю, что она с Василием Никитичем в театре что солнце и луна — одновременно не показываются. Иногда в ложу брали Федю. Тогда на следующий день он воспроизводил оперу в детской, обучая нас понравившимся ему мотивам. Не всегда это нам давалось. Тогда Федя, сам очень музыкальный, сажал меня и Сережу в качестве зрителей и принимался один воспроизводить перед такой

«избранной» публикой, к примеру сказать, «Аиду».

В те вечера, когда «все» уезжали, что на нашем языке означало, что уезжали папа с сестрами и Федей, так как мы с Сережей и оставшиеся мадемуазель Бессон и мисс Маколей не считались, я старался не ложиться до возвращения «больших». Приходилось хитрить, чтобы ускользнуть от внимания мисс Маколей, пока она укладывала Сережу, и дать ей разговориться затем с мадемуазель Бессон. Усядешься в случае удачи на верхней ступеньке мраморной парадной лестницы и, мечтая о разных разностях, осматриваешь карнизы и статуи нашего величественного антрэ*. Все погружено в полумрак, так как, когда старших нет дома, зажигается один только газовый рожок на все громадное пространство в два этажа и три окна. В соседней же красной гостиной совсем нет огня, в ней слабый полусвет от уличных фонарей. Время от времени, когда по Арбату проезжает карета, по лепному потолку красной гостиной пробегает проникающий через окно свет ее фонарей. И одновременно висюльки стеклянные на люстрах издают легкий таинственный звон. Ждешь, что вот-вот зашепчутся в полумраке громадные, белого мрамора, кариатиды, поддерживающие потолок гостиной.

Но вот раздается звонок. Дремавший в передней Михайла открывает парадную. Наши вернулись. Отец направляется в кабинет просмотреть пришедшую за вечер почту. Нина идет в столовую заваривать чай. Катя берет меня за

* Здесь: вход *(фр.)*.— *Ред.*

руку и со словами: «Какой же ты упрямый медвежонок» — уводит в детскую. Мне уже давно хотелось спать, и я, охотно отдаваясь этому ласковому насилию, трусь о Катино нарядное платье, вдыхая чуть заметный аромат легких духов...

Отец был безусловно верующим, и притом православно верующим, человеком. К обрядовой стороне религии он, однако, был равнодушен, исполняя веления культа постольку, поскольку они вошли в быт. В церковь ходил по праздникам, духовенство принимал на дому, когда оно, по обычаю, обходило приход с крестом и святой водой. Особых служб у нас на дому не заказывалось. Участия в крестных ходах, выносах икон никто у нас не принимал. Всеми отношениями семьи и дома с приходской церковью ведала по собственной своей охоте жившая в доме благочестивая старушка Аполлинария Степановна. Помню, она как-то принимала у себя в комнате внизу Иверскую икону Божьей матери. Няня свела вниз меня и Сережу, заставила нас простоять молебствие и пройти под иконой, поставленной на двух стульях и поддерживаемой двумя монахами. Ни отец, ни сестры не присутствовали и, надо думать, не были даже осведомлены об участии нашем в церемонии. Усыпанная драгоценными камнями, почитаемая икона в богатом доме принималась через черный ход, в полуподвальном этаже, занимаемом прислугой, и не удостаивалась никакого внимания со стороны хозяев. И это, по-видимому, казалось понятным и прислуге, и духовенству.

Не могу сказать, когда и как потеряли мы свою относительную, чисто детскую религиоз-

ность. Она как бы сама собой рассеялась, как ночной туман при свете солнца. Когда уже после кончины отца нам стал давать первые уроки закона божия батюшка из Вдовьего дома, мы уже были убежденные маленькие атеисты. Уроки эти внесли только некоторую продуманность в детский атеизм наш, и, конечно, никакая победоносцевская реакция, наступившая в те годы, уже не могла вернуть наше поколение к религии. Со временем, конечно, простодушная наша иррелигиозность смягчилась пониманием невозможности для нас, с нашей ограниченной познавательной способностью, судить о подобных предметах.

С церковью связано было немало эстетических волнующих впечатлений, о которых вспоминаю и теперь с удовольствием. Наши церкви были ведь, пожалуй, главнейшим украшением Москвы.

КОНЧИНА ОТЦА

Отец был крепкого здоровья. Я не помню, чтобы он когда-нибудь болел и лежал в постели. Он жаловался иногда на зубы. Глаза были отличные, и он не нуждался в очках. Для чтения мелкого шрифта, каким в газетах обыкновенно набирался биржевой бюллетень, он пользовался большим увеличительным стеклом, обыкновенно лежавшим на его письменном столе рядом со счетами и разрезным ножом.

Он рано поседел. Я его седым только и помню. Рассказывали, что поседел он в одну ночь, разом, узнав о пожаре дома, в котором

находилась в то время мать. Все обошлось благополучно, но, принимая во внимание, что мать Серафимы Савватьевны (наша бабушка, урожденная Колесникова) погибла во время пожара, испуг Василия Никитича кажется естественным.

Отец скончался скоропостижно 8 сентября 1879 года от кровоизлияния в мозг. Утром по случаю праздника Рождества Богородицы он отстоял обедню в нашей приходской церкви Николая Чудотворца, что на Песках. Вернувшись домой, он почувствовал себя дурно в своем кабинете.

Жившая у нас в то время Л. А. Шанявская вызвала врача и послала за Катей, Ниной и Федей, находившимися у Абрикосовых на Покровке. Они, однако, уже не застали отца в живых.

Мы с Сережей и мисс Маколей жили еще в Жуковке, куда тоже дали знать. Вероятно, мисс Маколей было сообщено, чтобы она доставила нас в Москву на следующий день к панихиде, к определенному часу. Добрая,благочестивая старушка позаботилась о том, чтобы день этот проведен был нами достойным образом.

С утра мы обошли с ней весь Жуковский парк, следуя обычному маршруту одиноких прогулок отца и присаживаясь на всех скамейках, на которых он любил отдыхать. У оранжереи жена садовника, сказав, что муж повез к гробу цветы, соболезнующе взглянула на нас и промолвила: «Бедные сиротки».

Это мне почему-то показалось неуместным. Сконфузившись, чтобы скрыть, вероятно, свое смущение, я с шумом пробежал перед

садовничихой по доскам, положенным у оранжереи ввиду предстоящего ремонта, и мне сейчас же стало стыдно своей выходки.

После завтрака мы в пролетке поехали в Москву. Исполнительная мисс Маколей хотела, очевидно, в точности соблюсти инструкции, ей данные, и приехать в арбатский дом наш минута в минуту в назначенное время. Сверяясь с часами своими, она несколько раз останавливала кучера. Мы выходили из коляски и шли пешком, чтобы провести время и не приехать раньше срока. Был роскошный осенний солнечный день. Настоящее бабье лето, столь характерное для нашей полосы. С обеих сторон шоссе виднелись в некотором отдалении в «багрец и золото» одетые опушки Кунцева и Волынского. С Поклонной горы перед нами открылся весь город, его «сорок сороков» церквей. «Белокаменная Москва — золотые маковки»,— по живописному выражению богомолок, обычно становившихся здесь, на горбу горы, на колени и творивших молитву. Огородники у Дорогомиловского кладбища убирали капусту, которую тут же шинковали. В воздухе носились паутинки...

Дорогой мисс Маколей рассказывала нам приличествующие обстоятельствам евангельские эпизоды. Воскресший Лазарь и эммаусские путники на этот раз сменили Наполеона и Кутузова, обычно служивших темой рассказов при переезде по Можайскому шоссе. Блестевшая перед нами своими куполами Москва, некогда «спаленная пожаром», как будто вторила рассказам о торжестве жизни над смертью.

Изумительно запечатлелся в моей памяти этот наш переезд. Величайшие художники не-

однократно вдохновлялись сюжетом эммаусских путников. Но, когда мне, уже взрослому, приходилось в музеях останавливаться перед этими картинами, воображение мое уносилось далеко от евангельского эпизода и неизменно вспоминались наши две маленькие фигурки по бокам грузной бонны на обочине Можайского шоссе, перед сверкающей на солнце панорамой Москвы.

Мы приехали в наш дом как раз к панихиде. Сестра Катя, бледная и заплаканная, в черном траурном платье, с двумя большими ключами, привешенными к поясу, была неузнаваема. Руководимая Лидией Алексеевной Шанявской, она сразу взяла на себя бремя хозяйства и ответственности старшей за всех нас. Больше всех потрясенная потерей отца, она находила в себе силы обо всем подумать и всем распорядиться. Так всегда она была исполнена чувства ответственности и долга, никогда не позволяла себе быть подавленной обстоятельствами и судьбой.

Отца похоронили в Сетуни, рядом с матерью и Васей. На этом живописном сельском погосте впоследствии лег и брат Сережа. Памятники родителей — работы Кампиони, Сережин — скульптора Андреева, автора памятников Гоголя и Островского.

Кончилось детство. В рассказе о нем много места уделено болезням, смертям. Однако детство мое не было окрашено в мрачные краски. Напротив даже, быть может, по малой сознательности я вышел из детства преисполненный какого-то оптимизма. Уверенное ощущение, что жизнь для счастья, что беды и горести являются какими-то ненормальными

исключениями, при все своей необоснованности давало много крепости. Лишь горький опыт да холодный рассудок повыветрили из меня этот крепительный цемент наивного оптимизма, открыв мне глаза на действительное положение вещей в мире. И как знать, какое из этих мироощущений ближе к мудрости: врожденный ли инстинктивный оптимизм — унаследованное приспособление многих поколений предков или собственный пессимистический опыт, полученный на коротком отрезке личной жизни...

После отца нас осталось пятеро: две сестры — Катя и Нина и три брата — Федя, Миша и Сережа. Старшей, Кате, едва минуло двадцать лет, а младшему, Сереже,— шесть. «Наследники Василия Никитича Сабашникова», как нас стали именовать, мы были еще юны и неправомочны. Согласно законам того времени, над мальчиками, как «малолетними», т. е. не достигшими семнадцати лет, учреждена была опека, во главе которой стал дядя наш, брат отца, Михаил Никитич Сабашников. Сестры же, вышедшие из малолетства, но не достигшие «совершеннолетия», выбрали себе попечителей в лице Николая Алексеевича Абрикосова и Альфонса Леоновича Шанявского. И опекун наш и попечители сестер, люди занятые собственными делами, жили в своих домах, бывали у нас в доме изредка и в нашу домашнюю жизнь совершенно не вторгались.

Видя желание Кати быть полезной сестре и братьям и оценив ее недюжинный ум, настойчивость и деловитость, они не только охотно предоставляли ей всецело заботы о доме и воспитании нашем, но и в чисто коммерческих делах вводили ее в сущность всех решавшихся

вопросов и считались с ее мнением. Старик Бессонов, оставшийся после отца служить в опеке и по-прежнему ежедневно завтракавший с нами, не раз высказывал свое восхищение, любуясь, как старшая дочь Василия Никитича работает в отцовском кабинете.

Зиму 1879/80 года мы были в трауре. Сестры одевались в черное, с крепом на головных уборах. Мы, мальчики, носили на левой руке, повыше локтя, креповые повязки. Никаких увеселений, выездов и приемов не полагалось. Сестры ездили на Женские курсы в Политехнический музей. К нам, мальчикам, они проявляли трогательную заботливость, и мы к ним безотчетно льнули. За эту зиму сложилась у нас та исключительная дружба, длившаяся и крепчавшая затем всю нашу жизнь, которая бывала так часто источником тревог и волнений, но зато и давала нам такую полноту душевной жизни.

Здесь будет уместно сказать несколько слов о масляных портретах отца и брата Сережи, писанных Невревым в эту зиму.

Неврев хорошо знал отца, что и дало ему возможность в посмертном портрете передать большое сходство. Все друзья и родные единодушно находили портрет весьма в этом отношении удавшимся. Естественно было просить Неврева написать портрет и общего любимца — маленького Сережи. Сережа был очень резвый, худощавый и бледный мальчик. Чтобы удержать в кресле живого мальчика необходимое для позирования время, Неврев рассказывал ему сказки, часто передавая отдельные эпизоды былин. Он рассказывал очень хорошо, и я любил во время сеанса садиться тут же и

слушать спокойное развитие рассказа. Замечательно, что Неврев придал Сереже в картине сосредоточенно скорбное выражение. Подумаешь, что художник предвидел предстоявшую Сереже горькую участь.

ЗАМУЖЕСТВО КАТИ

Во время турецкой войны 1878 года отец помогал раненым и больным воинам, и по этим делам его посещал уполномоченный Красного Креста Александр Иванович Барановский, до войны занимавший должность мирового судьи в Петербурге. После кончины Василия Никитича Александр Иванович, бывая в Москве, продолжал посещать наш дом, с каждым визитом проявляя все более и более восторженное внимание к сестре Кате. Ей только что минул 21 год, она была в полном расцвете своем, и, как кто-то выразился тогда словами Баратынского,—

Красавицей ее не назовут...
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой.

Никто не ожидал, однако, чтобы она скоро сделала выбор свой и связала судьбу, в сущности, с малознакомым и во многом чуждым ей Александром Ивановичем. Между тем именно так и случилось. Александр Иванович был видный мужчина с мужественной осанкой. Он получил высшее образование, окончив Училище правоведения, имел уже некоторый жизненный опыт. Доброта его была, казалось,



**Дом в Костине —
имении семьи Сабашниковых**

вне сомнений. Рассказы о войне и о кругосветном путешествии, общественная деятельность выделяли его из молодежи, посещавшей наш дом, делали значительным, заслуженным, необыкновенным, а потому и интересным. Разница в годах могла сулить нужную опору Кате, смело принявшей на себя бремя ответственности за всех нас, малолетних детей. Притом пример родителей наших — ведь отец был на 19 лет старше матери — мог поощрять к такому решению.

Как бы то ни было, Катя приняла предложение Александра Ивановича, и 11 июля 1880 года в церкви Спаса на Сетуни, около Жуковки, состоялось венчание. Молодые не отделились от нас, и мы по-прежнему продолжали жить одной семьей.

После свадьбы Катя с мужем поехали в лесное имение наше во Владимирской губернии — Костино. Туда же через некоторое время приехали мы, трое мальчиков, с Ниной. Мы в первый раз попали в настоящую деревню с волками, лисами, барсуками, лосями, белками и зайцами. Этих было так много, что бабы, когда жали рожь, руками ловили маленьких зайчат. Изобилие ягод. Громадные муравейники, иногда чуть ли не в рост человека. Разбросанные повсюду валуны. Сплошные леса — ель, сосна, береза. На опушках и около жилья декоративные кусты черемухи и рябины. Лесные порубки, сплошь поросшие малиновым иван-чаем.

Восьмиконечные кресты с крышами на дорожных перекрестках, а у подножия крестов черепки глиняных горшков и пучки соломы, по обычаю выброшенные сюда после омовения покойников. Серые, стального цвета от време-

ни, но хорошей стройки избы, с тесовыми, мумией покрашенными крышами. Старообрядческие медные кресты на воротах.

Бани у зажиточных крестьян в сторонке на усадьбе, а в дому у всех, даже малозажиточных, гроб, заранее приготовленный на случай смерти кого-либо из семьи.

Кумачовые рубашки, красные сарафаны, причудливый гортанный говор с протяжным оканьем у крестьян и особенно у крестьянок. Мужчины плотничают и почти круглый год в отсутствии, бабы исполняют все сельскохозяйственные работы, кроме косьбы. Какой своеобразный, самобытный уголок в каких-нибудь 115 верстах от Москвы! Колоритно, хоть и существует мнение, что север не знает красок.

Костинская усадьба, по-видимому, еще от Екатерининских времен. Каменный двухэтажный дом с крутой крышей в четыре ската и с характерными узкими, высокими окнами, напоминающими своими формами окна Воспитательного дома в Москве. По бокам — два каменных флигеля с деревянными надстройками. Пропорции дома, в общем, легкие. Внутренние помещения без всяких украшений и без прежнего убранства, удобно расположены и приятны.

Перед домом обычный круг, обрамленный стеной вековых елей и берез. Посаженные вперемежку, они дают приятную игру красок, особенно ранней весной и осенью. За ними был когда-то большой пруд, а за ним деревня. По ту сторону дома большой парк — все только местные породы. Многим деревьям не менее ста лет. Березы, росшие среди елей, вытянулись высоко-высоко, и некоторые достигли та-

кой мощи, какой я нигде больше не встречал. Были березы в два обхвата.

Громадный каменный ледник, высоченные столбы каменных ворот, развалины обширного грунтового сарая напоминали, что когда-то здесь жили на широкую ногу. От былого величия мы еще застали теплицы для выращивания ананасов. Был когда-то расчет выращивать этот тропический плод в теплицах и продавать в Москву. Но открытие Суэцкого канала и тут нарушило старые отношения: ананасы стали привозиться через Суэц, морем из Сингапура, и это обрекло на смерть тепличный промысел в Костине.

* * *

На конец лета и осень мы из Костина всей семьей поехали в Ялту, где нашли проводивших там лето Абрикосовых и Шевалдышевых. Мы, мальчики, с Ниной, мисс Маколей и В. А. Соколовым, устроились на Верхней Аутской улице с большим садом и виноградником, в котором устроено было искусственное орошение. Катя с мужем сняли помещение поблизости.

В то время Крым еще не был так посещаем, как впоследствии. Он еще не оправился даже от разорения в Крымскую кампанию. Севастополь стоял в развалинах. Около Малахова кургана мы во множестве откапывали в земле ружейные пули. Ялта была еще очень небольшим городком. Мола не было. Пароходы бросали якорь в отдалении от берега. Посадка и высадка пассажиров производилась лодками. Осенью при большом волнении волны перекидывались через набережную и заливали береговое шоссе. В Ореанде еще стоял при нас белый

дворец великого князя Константина Николаевича, сгоревший вскоре после 1 марта 1881 года, что дало тогда повод к толкам о поджоге с целью сокрытия компрометирующих великого князя документов.

В Ливадии проводил ту осень император Александр II, и во время наших прогулок по Ялте и окрестностям мы его неоднократно встречали. Он ездил в парной открытой коляске со светлейшей княгиней Юрьевской запросто, без свиты и без предварительного освобождения пути, появляясь всегда совершенно неожиданно. Императорскую коляску сопровождали обыкновенно три казака верхом — один впереди, саженях в десяти, два непосредственно за коляской. Разочарованный в своих преобразованиях, как говорили тогда по крайней мере некоторые, сбыв с плеч войну и похоронив жену, император предавался прелестям жизни, к великому соблазну кругов, наиболее ему преданных.

Не прошло и четырех месяцев, как разразилось 1 марта. Император убит. Грозный исполнительный комитет разгромлен. Семь революционеров присуждены к повешению.

Александр III берет определенно реакционный («охранительный», как стали говорить) курс, возвестив об этом в манифесте, получившем название манифеста о сохранении самодержавия. «Ананас» прозвали его в публике, которая, кажется, никогда у нас не теряет способности подмечать смешное. Написанный Победоносцевым в обычном его елейном стиле, манифест заключал ряд периодов, кончавшихся каждый молитвенным пожеланием: «...а на нас (т. е. на императора) да ниспошлет...» и т. д.

Но все это доходило тогда до нас по разговорам старших между собой, непосредственные же мои воспоминания, связанные с этими историческими событиями, весьма скудны. Помню московские улицы, убранные черными флагами, длинные, черного крепа головные уборы у дам, спускавшиеся с головы до середины спины. Помню, что Федин учитель, студент В. А. Соколов, не ходил некоторое время на уроки, так как был арестован на сходке в университете. Группа правых студентов стала собирать деньги на венок Александру II. Умеренные студенты, опасаясь, что это спровоцирует крайних на выступление, воспротивились сбору в аудиториях. Вышло, конечно, замешательство, поведшее к аресту и уводу в Бутырки большого числа студентов. Они, впрочем, скоро были выпущены. В. А. Соколова после его освобождения встретили у нас, как героя. В глазах Максима он сделался авторитетом по политическим вопросам. К нему в нашу классную комнату приходил Максим поговорить о процессе революционеров. Сестры, оберегая наши нервы, не говорили при нас об этом. Но из расспросов и суждений Максима в классной мы узнали многое, чем не хотели нас тревожить сестры: в каких государствах введена смертная казнь и как она приводится в исполнение, какие доводы существуют против смертной казни и почему отменены пытки...

Совершенно отчетливо вспоминается мне гнетущее настроение, царившее у нас в доме в связи с судом над революционерами. Встает предо мною как наяву такая картина: в какой-то весенний, солнечный день Катя и Нина не находили себе места, ни за что не принимались

и в конце концов очутились у нас в детской. У открытого окна, обращенного в обширный двор, стоят рядом Катя и мисс Маколей. Катя высказывается против применения смертной казни. Мисс Маколей приводит в оправдание библейскую заповедь: «Око за око и зуб за зуб». «Но ведь есть же учение Христа»,— возражает Катя. В это мгновение стая галок, шумя крыльями и громко каркая, поднялась с нашей крыши и перелетела через двор на противоположную. «Противные вещуньи накаркают еще что-нибудь»,—говорит Нина, подходя к окну.

«Див кличет верху древа»,—твержу я только что с голоса В. А. Соколова отрывок из «Слова о полку Игореве». Стараюсь успокоить себя тем, что и Библия, и Евангелие—все это одни выдумки. Ведь вот сейчас все кругом совсем как всегда. Галки перед каждым вечером перелетают с крыши на крышу. Нинины окна не выходят во двор, и поэтому она раньше галок будто не замечала. И все же мне жутко от невысказанного напряжения, скрытого за всеми этими повседневными, обычными предметами и явлениями.

ЛЕТО 1884 ГОДА

В конце лета Катя с мужем гостила у брата Александра Ивановича, а Нина, забрав нас, троих мальчиков, в сопровождении родственника Барановских совершила маленькое путешествие по Белоруссии. Мы проехали на почтовых лошадях по отличному шоссе в Ор-

шу. Почтовое сообщение содержалось в полном порядке. На станциях без малейшей задержки меняли лошадей. Места были живописные. Дремучие, еще не тронутые леса. В Орше мы простились с нашим спутником и, сев на пароход, спустились по Днепру в Киев.

С Киевом нас знакомил Виктор Антонович Чечот, брат известного психиатра, музыкант и музыкальный критик. Расскажу здесь только о посещении пещер Киево-Печерской лавры. По преданию, они вырыты первыми основателями монастыря преподобными Антонием и Феодосием Печерскими, жизнь и деяния которых описаны в Киевском Патерике и Летописи. Их ученики и последователи предавались в пещерах посту и молитве и там же погребались. В наше время Киево-Печерская лавра и ее пещеры среди верующих весьма чтились и ежегодно туда на поклонение мощам угодников стекались многие тысячи богомольцев. Этот поток жертвенно настроенных людей служил источником доходов монастыря и привлекал в монастырь со всей России калек и убогих, кормившихся тут подаяниями богомольцев.

Включившись в поток богомольцев, направлявшихся в пещеры, мы стали спускаться с горы, на которой стоит главный собор Лавры, вниз по широкой, крытой деревянной лестнице. По сторонам в пролеты была видна густая поросль, покрывавшая весь склон горы. На ступеньках по бокам сидели нищие и убогие, испрашивая подаяние. Слепые, безрукие, безногие, калеки, уроды, несчастные, покрытые ужасными язвами, выставляли тут напоказ свои немощи с целью вызвать сострадание и соответствующее подаяние. Богомольцы броса-

ли им в шапки или деревянные чашки кто медяки, кто продукты. Многие богомольцы перед началом спуска купили в монастырской лавке булки для раздачи убогим. Достаточно было присмотреться к захватанным, покрытым грязью, одеревеневшим булкам этим, чтобы сообразить, что их никто не ест: нищие к концу дня сдавали их обратно монахам, которые вновь пускали их в продажу.

Но вот мы у подножия горы. Входим в небольшую часовню, прислоненную к склону ее. Покупаем и зажигаем восковые свечки. Монах, сосчитав число входящих в нашу группу лиц, отворяет вход в пещеры и погружается во тьму, куда и мы за ним следуем. Узкие невысокие ходы. Время от времени пещера расширяется. Монах останавливается и дает пояснения, указывая свечой, находящейся у него в руках: тут часовня, тут покоятся мощи таких-то «преподобных», тут «страстотерпцы» сами зарыли себя по грудь в землю, тут череп святителя, источающий из себя миро. Богомольцы ко всему прикладываются, не задавая вопросов, и идут дальше.

Жутко и неприятно. Хочется поскорее на волю. В пещерах имеются ответвления и, неровен час, останешься и заблудишься. Рассказывают шепотом, что какой-то бравировавший иностранец, отставший от своей группы и забытый в пещерах, был найден на следующий день сошедшим с ума. Эти разговоры шепотом наводят жуткое беспокойство. Задние теснятся вперед. Я вплотную иду за какой-то женщиной и за спиной ее не вижу, что впереди. Вот она наклоняется и быстро затем отходит, и я оказываюсь перед низким столиком, освещен-

ным воткнутыми вокруг восковыми свечами. На тарелке темный череп, облитый миром. Стоящий тут монах покрывает мою голову епитрахилью и прикладывает меня губами и носом к маслянистой, липкой, пахучей поверхности черепа. Я оторопело освобождаюсь. Шедший за мной В. А. Чечот фальцетом испуганно кричит: «Я католик!» — и этим избавляет всех остальных от лобзания черепа.

Маленькое путешествие наше, описанное мною, быть может, с излишними подробностями, памятно мне по пережитому во время его душевному волнению. Как я теперь соображаю, родственник Барановских имел, вероятно, некоторые виды на сестру Нину. Не рассчитывал ли он во время путешествия сделать Нине предложение? Как бы то ни было, мы, трое братьев, что-то в этом роде почувствовали и, попросту говоря, по-детски приревновали сестру к этому «римскому папе», как мы его прозвали за благонамеренные разговоры. Казалось бы, мы должны были привыкнуть к общему преклонению перед Ниной. Но назревали в семье какие-то центробежные устремления, ведшие к ее рассеянию. Мы это безотчетно чувствовали и стали волноваться.

КРУГ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

Мне уже приходилось упоминать супругов Шанявских. В их лице молодые Сабашниковы получили от отца своего наследие не менее ценное, чем доставшееся от родителей крепкое здоровье и материальное обеспечение. В делах постоянно приходится совместно принимать от-

ветственные решения, напрягать свою волю, делить плоды трудов, нести последствия своей неосмотрительности, заменять друг друга и заботиться об интересах друг друга. Естественно, что в процессе работы происходит подбор компаньонов, после которого у серьезных людей деловое сотрудничество нередко приводит с течением времени к испытанной дружбе. Так оно случилось между Василием Никитичем и супругами Шанявскими. Со смертью отца Шанявские перенесли свое дружеское участие на его детей. В свою очередь и сабашниковская молодежь по мере возможности отвечала Шанявским тем же.

Лидия Алексеевна любила вспоминать, как Василий Никитич первый раз пригласил ее остановиться у него в доме. Раз как-то в один из приездов ее из Сибири Василий Никитич посетил ее в номере гостиницы «Столица» на Арбате. Удрученный неудобством помещения, Василий Никитич настоял, чтобы Лидия Алексеевна переехала к нему. Так и повелось затем, что Лидия Алексеевна при приездах своих в Москву стала останавливаться у нас в доме. «Василий Никитич,— говорила она,— умел оказывать одолжения так, что можно было подумать, что не он делает любезность, а ему она делается».

Как я уже описывал, в день смерти Василия Никитича Лидия Алексеевна была в нашем доме. Впоследствии, когда она захворала в один из приездов и ей потребовалась операция в верхней челюсти, профессор Склифосовский оперировал ее у нас.

В описываемый мной сейчас период 80-х годов Шанявские вели очень деятельную

жизнь. Постоянные разъезды — в Сибирь, в Японию и вокруг света — не мешали супругам принимать самое деятельное участие в долголетней, ведшейся тогда борьбе за высшую школу для женщин. Можно сказать, что Лидия Алексеевна была едва ли не ведущей силой в этом движении, которое относится к светлым страницам истории русского просвещения. В это движение полная энтузиазма Лидия Алексеевна втянула и сестер моих, принявших в нем деятельное участие. У нас на Арбате неоднократно собирались совещания по этим делам, на которые приезжали петербургские деятели, а из москвичей, помнится, участвовали В. А. Морозова, А. И. Чупров, М. М. Ковалевский,— всех не припомню.

Мне сдается, что на этой почве у сестер и завязались знакомства с рядом научных и общественных деятелей, посещавших нас.

Впоследствии Шанявские купили дом в Москве на углу Дурновского переулка на Новинском бульваре, где и стали жить с племянниками и племянницей Лидии Алексеевны. Племянница оказалась хорошей музыкантшей, и сестра Нина охотно играла с ней в четыре руки, выступая даже в концертах.

Недалеко от Жуковки снимал дачу Виктор Хрисанфович Кандинский. По соседству мы часто бывали друг у друга, устраивали совместные прогулки и поездки, и за лето сестры подружились с Виктором Хрисанфовичем. Врач-психиатр, углубленный в изучение философии, человек живой и общительный, умевший общедоступно говорить о самых сложных вопросах, он вскоре сделался у сестер авторитетом и втянул их в чтение по философии.



А. Л. Шанявский

В минувшую войну 1878 года Виктор Хрисанфович был в качестве врача мобилизован во флот и под начальством Дубасова участвовал на Дунае в атаке турецкого монитора, пущенного нами ко дну. Дело прославило Дубасова, и, вообще, произвело большое впечатление. Психически неустойчивый, Виктор Хрисанфович во время взрыва бросился в воду, чтобы покончить с собой. Его, однако, спасли, и сестра милосердия, на попечение которой он попал, выходила его. По выздоровлении он на ней женился и окружил ее величайшим вниманием. После войны он служил врачом психиатрической больницы Св. Николая в Петербурге.

Время от времени, однако, болезнь возвращалась к Виктору Хрисанфовичу, и он из врача опять становился пациентом. Замечательно, что во время приступов болезни он не утрачивал способности к самонаблюдению и по выздоровлении научно описывал и анализировал свои болезненные состояния и переживания. Его работы по психиатрии сделали его известным не только у нас в России, но и за границей. Труд его о псевдогаллюцинациях был переведен на немецкий язык.

Вскоре его не стало. Оправившись после одного из своих приступов болезни, он слишком рано вернулся на работу в больницу. Под влиянием позыва к самоубийству, бывавшего у него обычно в переходном периоде к здоровому состоянию, он взял из аптечного шкафа в больнице опиум и по возвращении домой принял безусловно смертельную дозу этого яда. Умение и склонность к научному самонаблюдению не покинули его и в эти минуты. Он взял лист бумаги и стал записывать: «Проглотил



Л. А. Шанявская

столько-то гран опиума. Читаю „Казаков“ Толстого». Затем уже изменившимся почерком: «Читать становится трудно». Его нашли уже без признаков жизни. Жена не пожелала жить без него. Озаботившись выпуском в свет его сочинений, она покончила с собой.

Юрисконсультом нашей опеки состоял Владимир Иванович Танеев, брат композитора Сергея Ивановича. Познакомившись на деловой почве с Катей и Ниной, он стал бывать у нас запросто, большею частью к обеду, проводя затем у нас вечер. Сухой и язвительный, он представлял прямую противоположность своему добродушному брату. Он считался великим острословом, и меткие его словечки и замечания повторялись и ходили по Москве. Особенно любил он парадоксы. Произносил их всегда неожиданно и с неподражаемой простотой, как вещи само собой понятные, вызывая у присутствующих одновременно и взрывы хохота и негодующие возражения. Я был слишком мал, чтобы следить за изгибами разговора и оценить или даже понять высказывания Владимира Ивановича, но общее впечатление собеседников от выступлений его я схватывал.

Любитель парадоксов, Владимир Иванович сам, своей особой, представлял своеобразный, но характерный для Москвы парадокс. Человек большой культуры и широкого кругозора, он придерживался самых передовых взглядов, был почитателем Карла Маркса, с которым был лично знаком и письма которого к себе тщательно хранил, как драгоценность. Но что мог делать в первую половину 80-х годов в купеческой Москве ее лучший и самый

дорогой цивилист *, как не обслуживать своими советами тот самый класс и в той самой его имущественной деятельности, против которой выступал Карл Маркс? Такими противоречиями изобиловала русская жизнь. Владимир Иванович собирал библиотеку и книги свои переплетал изысканным образом, посылая их для этого в Париж, так как находил, что в Москве не умели переплетать. Он имел небольшую усадьбу под Клином, где проводил лето в соседстве с К. А. Тимирязевым и П. И. Чайковским.

Знакомство моих сестер с А. И. Чупровым произошло на почве участия их в женском движении, в которое вовлекла сестер Л. А. Шанявская. У нас в доме неоднократно собирались на совещания по отстаиванию за женщинами прав и возможностей получить высшее образование. А. И. Чупров иногда обедал у нас и проводил вечера, часто совместно с А. Ф. Кони и В. И. Танеевым. Затем на протяжении всей жизни знакомство с ним не обрывалось.

Здесь надо вспомнить, что значение А. И. Чупрова в Москве, да и во всей стране не ограничивалось обычным влиянием талантливого профессора на своих слушателей. Эти слушатели, занимавшие затем должности в правительственном административном аппарате и особенно в земстве, не только не порывали связи со своим учителем, но постоянно обращались к нему за советами и указаниями. Вся земская статистика, можно сказать, развивалась и работала под самым деятельным, хотя и неофициальным, его руководством. Его участие в «Русских ведомостях», где он был фактиче-

* Юрист, специалист по гражданскому праву.— *Ред.*

ским редактором, расширяло его влияние на круги читающей публики. В Москве, можно сказать, ни одно общественное начинание не обходилось без самого деятельного участия А. И. Чупрова. Народник по направлению и по сердечным склонностям, он всегда готов был принести свои познания и опыт на помощь любому общественно полезному начинанию. По положению его в московском обществе многие его называли Грановским 80-х годов.

Дмитрий Александрович Ровинский был нашим соседом по даче в Жуковке. Судебный деятель эпохи реформ, он в настоящее время более известен своими замечательными исследованиями и изданиями: «Русские народные картинки», «Русская иконография», «Русские граверы», словарь русских гравированных портретов, «Офорты Рембрандта» и многими другими, обеспечившими ему почетное место в истории не только русской культуры. Существует предание, что Ровинский был корреспондентом Герцена и его «Колокола».

Невысокого роста, с вьющимися седыми волосами, он носил на голове черную «мюц» и видом походил на какого-нибудь французского архивариуса. Он приходил к нам в Жуковку запросто, всегда пешком. Охотно рассказывал про свои многочисленные путешествия и про разные забавные случаи его коллекционерской деятельности. Так, например, когда он собирал офорты Рембрандта, то встретился с серьезным затруднением в проникновении на чердаки старых домов в Генте, Антверпене, Брюсселе и других городах, где надо было искать забытые офорты, а при случае можно было наткнуться и на старые доски. Постороннего человека зря

пускать на чердак ни у кого охоты не было. Объяснять же всем цель поисков было и затруднительно, и нежелательно. Ровинский сошелся с предпринимателем, скупавшим чердаки для очистки от голубиного помета, представляющего, как известно, великолепное удобрение. По соглашению с предпринимателем Ровинский имел право выбрать на купленном чердаке то, что его интересовало, после чего уже очистка чердака переходила в руки предпринимателя.

Анатолий Федорович Кони служил в Петербурге, но довольно часто бывал в Москве и тогда обедал и проводил вечер у нас. Он любил и мастерски умел рассказывать, выбирая рассказ в соответствии с настроением слушателей. Раз как-то, засидевшись в Жуковке в парке до поздней ночи, он в темноте рассказал «Падение дома Эшеров» Эдгара По. Впечатление было жуткое.

Приехав на открытие памятника Пушкину, он много читал у нас на память стихов поэта. Запомнился мне его рассказ о переезде депутаций из Петербурга в Москву. В поезде царило необычайное оживление. Никто не ложился спать. Вагоны в курьерских поездах Николаевской железной дороги в то время не имели купе и, не будучи разбиты внутренними перегородками, были уставлены мягкими, раскладывающимися для устройства постели креслами. Такая конструкция вагонов позволяла устроить в поезде импровизированные чтения. Депутаты произносили стихи Пушкина, говорили речи, делились мыслями и воспоминаниями.

Кони находился в переписке с Г. А. Абрикосовой, и обыкновенно от нее узнавали о

предстоящем приезде в Москву Анатолия Федоровича, и через нее намечался день посещения им нашего дома. Создавалось впечатление, что Кони бывает у нас ради Глафиры Алексеевны, которую в шутку и прозвали у нас «импресарио». Между тем в действительности он интересовался Ниной, но после долгих колебаний и раздумий решил воздержаться от предложения, объясняя свое решение словами любимого поэта:

В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.

Среди знакомых, навещавших сестер, особое положение занял приехавший в Москву из Одессы толстовец Озмидов. Высокий, коренастый мужчина с широким лбом и большими русыми бакенбардами, в золотых очках, он любил, как говорится, брать быка за рога. «Каково ваше миросозерцание?— спрашивал он людей при первом же знакомстве.— Какие в настоящее время переживаете душевные состояния?» Нас, мальчиков, замкнутых и не склонных к интимным разглагольствованиям с малознакомыми людьми, такой наскок не поощрял к откровенности; мы замыкались при нем, как улитки в свои скорлупки, а оставаясь наедине, пересмеивались.

Но сестрам Озмидов импонировал. Его особая, необычная в обществе нашем манера держаться, несомненная искренность и убежденность, привычка всегда затрагивать важные вопросы нравственной жизни, от которых другие склонны были как-то отмахиваться, его глубокое народолюбие, осуждение многих ложных условностей городской жизни и призыв к опрощению, приближению к природе и к трудо-

вой крестьянской жизни производили глубокое впечатление, особенно на старшую сестру нашу Катю.

Желая предоставить Озмидову возможность осуществить свои стремления жить и учить в деревне, она предложила ему принять управление нашей лесной дачей Костино. Озмидов предложение принял, но обставил свое согласие рядом условий. Между прочим, он не счел для себя возможным занять флигель управляющего в пустой Костинской усадьбе. Вообще с усадьбой, этим «Вавилоном», он не хотел иметь никакого общения. В лесном урочище «Дальняя Замаравка» он соорудил большую удобную избу с рядом усовершенствований, с конюшней, коровником, «людской» избой, прудом, огородом, одним словом, целый маленький «скит», как прозвали крестьяне резиденцию нового, своеобразного управляющего. Поселившись в нем с семьей (женой и дочерью), Озмидов принял в свои руки бразды правления имением, не упуская случая пропагандировать свои взгляды.

Как он, враг собственности на землю и последователь учения о непротивлении злу, разрешал вопрос об охране леса от самовольных порубок, я объяснить не смогу. Знаю, что он всемерно поощрял и закреплял установленный еще до него Катей широкий льготный отпуск леса крестьянам сел Костино и Попиново и даровое снабжение погорельцев. Это, естественно, вело к полному отсутствию самовольных порубок. Но такой принципиальный человек, как Озмидов, едва ли мог довольствоваться только тем, что на практике указанными мерами избавлен был от правонарушений.

Еще сложнее было бы разобраться в том влиянии, какое оказывала проповедь Озмидова на окрестное население. Костинцы хотя и не староверы, но все более или менее склонны были к старой вере. Но и в молодые, и в зрелые годы, пока еще не тревожил воображение призрак приближающейся смерти, мирские заботы господствовали над всеми прочими. Влияние города и отхожих промыслов, конечно, тоже сказывалось неверием или, по крайней мере, безразличием к религиозным вопросам. Как личность, несомненно, Озмидов в этой среде производил впечатление. Но понят он все же не был. Когда через некоторое время он бросил службу в Костине и покинутый им скит был продан на снос, своеобразная печь, устроенная им в доме, дала повод к разговорам о том, что в ней делались фальшивые деньги! Я сам слышал рассказы о том от старых костинцев. Такая сплетня-клевета могла быть намеренно пущена кругами, неодобрительно относившимися к толстовским начинаниям в Костине.

Из Костина Озмидов, насколько знаю, уехал в Одессу, где работал в редакции одной газеты. Воспоминания же о пребывании его в Костине держались, особенно у уездного и губернского начальства, еще много лет. Когда много лет спустя мы с Сережей попробовали развить в Костине некоторую просветительную и благотворительную деятельность, то встретили глухое сопротивление со стороны уездного и губернского начальства.

Нас считали скрытыми толстовцами и ставили палки в колеса. По иронии судьбы в самый разгар неприятностей на этой почве с

архиереем и предводителем я получил от Озмидова мельчайшим, но вполне четким почерком написанное письмо. Напоминая о прежнем знакомстве и высказывая уверенность, что мы за истекшие годы возмужали и установили свои воззрения, он предлагал мне написать ему, какого я теперь держусь образа мыслей. Но я оказался хоть и возмужавшим, но неисправимым и не проявил склонности исповедоваться перед Озмидовым.

А. Ф. Ржевский был совсем другого типа человек. Брюнет невысокого роста, с маленькой бородкой-эспаньолкой и усами, очень сдержанный в обращении, отлично воспитанный, нам, мальчикам, он казался настоящим рыцарем. Он кончил университет, много читал, всегда находил что-нибудь интересное рассказать, делая это очень просто, никогда не придавая себе значительного вида. У него и его братьев было имение по Нижегородской железной дороге, где была хорошая охота и куда по его приглашению ездил на охоту брат Федя. Ржевский часто приезжал в Костино, и тогда, естественно, на него выпадало руководство охотой, так как он оказывался лучшим стрелком и лучше знал повадки зверя и птицы. К вечно рассеянному и фантазирующему Александру Ивановичу Барановскому пропитанный культурой Ржевский относился с необычайной корректностью. Из деликатности к Кате во всех часто случавшихся инцидентах, вызывавшихся оригинальничаньем, как мы думали, Александра Ивановича, Ржевский в положении более сильного всегда давал делу такой оборот, чтобы затушевать и сгладить неловкость положения Александра Ивановича. С ним всем было

как-то очень легко, и, мне кажется, наши домочадцы ничьему приезду так не радовались, как его. В его обществе три подружки — Катя, Глафира Алексеевна и Нина,— ради которой, как всем было ясно, он у нас бывал,— очень веселились, и звонкие взрывы смеха следовали один за другим беспрерывно. Во время охоты барышни ходили за ним по пятам, что, конечно, не всегда способствовало успеху охоты.

Вспоминаю потешный случай, бывший при мне. Зайчик, выскочив на редину в лесу и увидев вдруг Ржевского, присел на задние лапы и стал как будто утирать свою мордочку передними лапами. А. Ф. прицелился, но услышал за своей спиной, как Нина молилась: «Господи! Сделай, чтобы не попал!» — «Не говорите под руку!» — вспыхнул было Ржевский, но в ту же секунду, овладев собой, засмеялся, тихо спустил курок и, накинув ружье на плечо, сказал, улыбаясь: «А ведь весело мы охотимся, никого не губим!»

Почему А. Ф. не удалось завоевать Нинино сердце? Могу ли я знать? Память запечатлела мне последний его приезд. Был зимний вечер. Нина со Ржевским долго ходили взад и вперед по нашей арбатской зале, тускло освещенной одной масляной лампой. Мы с Сережей, дожидаясь вечернего чая, читали свои книжки в большой столовой рядом. Старый Михайла уже несколько раз заходил в залу поправлять лампу, напоминая попутно Нине, что самовар на столе. Наконец Нина с А. Ф. вошли в столовую. Нина направилась к столу заваривать чай. А. Ф., остановившись, о чем-то ее спросил. Последовал короткий, односложный ответ. Ржевский отвесил Нине низкий

поклон и вышел на лестницу. Через минуту мы услышали шум закрывающейся двери на парадном крыльце.

Зачастил к нам одно время австро-венгерский консул (впоследствии министр иностранных дел) Бурсан со своим атташе. Отличные наездники, они часто устраивали верховые прогулки по окрестностям с сестрами, с участием брата Федора, В. А. Соколова и других гостей. Знакомство оборвалось за отъездом Бурсана на родину, где ему предстояло сделать политическую карьеру. Когда со временем его фамилия стала встречаться в газетах, муж Нины неизменно попрекал ее этими былыми кавалькадами, как бы ревнуя ее задним числом, конечно, в шутку, которую он проделывал и в отношении Миклухо-Маклая.

Между тем великий путешественник и исследователь всего-навсего раза два или три обедал у нас. На эти обеды приглашались лишь немногие друзья. После обеда все общество размещалось в кабинете пить кофе и слушать рассказы Миклухо-Маклая. Он сам, взяв в руки чашку и помешивая ложечкой, располагался на корточках на старом отцовском ковре из тигровой шкуры, около Нининого кресла. В таком необычном положении он вел свое повествование глухим, гортанным, едва слышным голосом, останавливаясь иногда, как бы не находя подходящих выражений.

Из знаменитостей, навещавших Москву, сестры чествовали парадным ужином Сару Бернар, а затем Коклена. Неоднократно запросто бывал и играл у нас А. Г. Рубинштейн. Он даже дал несколько концертов в нашей зале. Ал. Ин. Сабашников припоминает, как он с

Федей сводили близорукого артиста с нашей мраморной лестницы за руки. Была ли в том действительно необходимость, или это порождалось тем восторженным преклонением, какое вызывал к себе великий мастер, я, конечно, судить не могу. Он был тогда в зените своей славы, и, как, впрочем, часто бывает, у него были психопатические поклонницы, несомненно отравлявшие ему выступления.

ПОКУШЕНИЕ ФЕДИ НА САМОУБИЙСТВО

Первым из арбатского дома уехал брат Федор. С ним случилась беда, которая часто бывает с нервными юношами. Он впал в уныние и в припадке меланхолии совершил попытку застрелиться. Это случилось в конце 1884 года. Было воскресенье или другой какой-то праздник. Сестры с утра поехали на панихиду в годовщину смерти Кошелева. Мы, мальчики, не пошли в гимназию. В час дня мы с Сережей в столовой ожидали к завтраку Федю и Зюссенгута. Вдруг раздался какой-то шум. Дверь из буфетной распахнулась, и в столовую вбежал буфетчик Максим, в отчаянии крича: «Убился, убился Федор Васильевич!»

Затем я помню себя уже в ногах кровати, на которой лежит принесенный снизу Федя. Он в обмороке. Городской врач, первый поспевший на помощь, осмотрев рану, говорит, что нет никакой опасности. Является доктор Марконет, акушер, принимавший детей у Кати, и как бы свой, семейный, человек. Он дает распоряже-

ния. Приносят гуттаперчевый пузырь со льдом. Я в оцепенении. Какой-то навязчивый музыкальный мотив вертится у меня в голове. Я этого стыжусь, хочу от него освободиться, что-то предпринять, быть полезным, но не знаю, что делать.

Возвращаются сестры. На рассказ мадемуазель Бессон Катя, держа платок у глаз, произносит в дверях комнаты: «Quel égoiste!» * Это восклицание выводит меня из оцепенения. До этого момента я воспринимал все случившееся исключительно эмоционально. Сначала я испугался за брата. Затем радовался, что рана не опасна, но был угнетен, что в семье нашей произошло такое покушение. И вдруг, как озаряющий на мгновение окрестности внезапный блеск молнии в грозовую ночь, это неожиданное восклицание Кати. Конечно, я был слишком молод, чтобы право на пользование жизнью и право на смерть могли тогда встать передо мной как философские или моральные проблемы. Но все же я как-то практически прикоснулся к ним... Наступали сумерки, а за ними вечер этого тревожного дня. На ночь меня кладут в чужую комнату. Через фрамугу над дверью в комнату проникает полусвет от лампы в коридоре. Я не могу заснуть. Бесшумно входит Катя, подсаживается ко мне на кровать и спрашивает: «Ты плачешь?» И мне опять стыдно, что за весь день я не пролил ни одной слезы.

После описанного происшествия старшие решили, что Феде надо переменить обстановку. Он переехал в Петербург и поселился в семье

* Какой эгоист *(фр.).— Ред.*

О. А. Чечота, родственника Барановских, директора больницы Св. Николая, человека большого ума и выдающегося характера, известного психиатра. Весной Федя приезжал в Москву на Нинину свадьбу. После свадьбы мы с Сережей ездили к нему в Петербург. Затем на праздниках и во время каникул Федя обыкновенно наведывался к нам. Он все дальше и дальше отходил от нас, младших братьев, тогда как близость наша с сестрами, несмотря на выезд их из Москвы, по мере того как мы росли и сглаживалась разница в возрасте между нами, все более и более крепла.

НИНА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Вслед за Федей выпорхнула из отчего дома и Нина. Все той же, поворотной для многих из нас весной 1885 года. Конечно, этого надо было ждать, и все же, как часто случается, вполне естественное, неизбежное даже и давно предвиденное произошло как-то и неожиданно, и совсем не так, как можно было думать.

Полученными ею по разделу средствами Нина задумала войти в какое-либо просветительное предприятие. Она решила принять издание журнала «Северный вестник». После закрытия «Отечественных записок» этому журналу сулили большую будущность. Н. К. Михайловский обещал в нем не только работать, но и руководить редакцией. Редактором выдвинулась А. М. Евреинова, первая женщина, получившая у нас ученую степень доктора права.

Для переговоров с ней Нина весной 1885 года поехала в Петербург.

Она остановилась у Глафиры Алексеевны Абрикосовой. Там Нина заболела воспалением почек и довольно продолжительное время пролежала, не прерывая, впрочем, хлопот и переговоров по журналу. Желая иметь помощника, молодого и подвижного юриста, и, быть может, не без другого тайного умысла, старушка Анна Михайловна вызвала из деревни своего племянника Алексея Владимировича Евреинова, по окончании юридического факультета Петербургского университета поселившегося в имении отца своего в Курской губернии и занявшего там по выборам должность мирового судьи. Этот молодой человек, ежедневно бывая по делам то у Анны Михайловны, то у Нины, влюбился в Нину и, не теряя времени, сделал ей предложение.

Отклонив предложение и видя, что Алексей Владимирович все же продолжает свои домогательства, Нина собралась домой в Москву. При отъезде из Петербурга ее на вокзале встретил Алексей Владимирович, заявивший, что он тоже едет в Москву, чтобы познакомиться с ее семьей и получить там ответ на свое предложение.

Дальше события пошли молниеносно. Излагаю только внешнюю их сторону. На замечание Кати, что никто его в Москве не знает, Алексей Владимирович указал на А. Ф. Кони, который может дать о нем исчерпывающие сведения. Алексей Владимирович, конечно, не знал, что А. Ф. Кони сам был неравнодушен к Нине. Однако отзыв Кони был рыцарски беспристрастен и проникновенно правдив: «Алек-

сей Владимирович недурной человек, но не стоит Нины Васильевны». Никто не сообщал Алексею Владимировичу этого отзыва, но по интуиции, руководящей людьми в таких положениях, он что-то почуял и по-свойски отомстил А. Ф. Кони за его бесстрастие. Когда в один из ближайших своих приездов в Москву А. Ф. Кони по просьбе дам рассказывал в полутемной гостиной одну из своих страшных историй и сделал в самом патетическом месте паузу для усиления эффекта, из отдаленного угла гостиной послышался передразнивающий Кони голос Алексея Владимировича, продолжавшего рассказ, ранее слышанный им от Кони в Петербурге. Прием — одновременно восторженное ухаживание и последовательно проводимое отчуждение Нины от всех людей и интересов, могущих отвлечь ее от него,— привел к цели: Алексей Владимирович получил согласие Нины и 15 мая 1885 года состоялась их свадьба. Венчание происходило в Сетуньской церкви. Затем был обед в арбатском доме. После обеда все гости провожали новобрачных на Николаевский вокзал. Свадебное путешествие по Италии впоследствии часто служило темой подробных рассказов.

Молодые затем стали жить в Курской губернии в имении отца А. В. Евреинова, проводя часть зимы в Петербурге или Москве.

ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

За несколько дней до Нининой свадьбы Надежда Федоровна Богданова, родственница Чупрова, привезла к нам на дачу в Жуковку

знакомиться нашего нового учителя, Николая Васильевича Сперанского. Они застали нас за обедом в так называемой «гимнастике» (палатке в саду) в большом обществе гостей, съехавшихся по случаю предстоящей свадьбы. Конечно, встреча в такой обстановке для первого знакомства не могла много дать. Мне врезались в память лишь необычайная худоба нового учителя, только что оправившегося после брюшного тифа, всклокоченные темно-каштановые волосы и глубокие впадины глаз, вместе с выдававшимися скулами придававшие лицу его своеобразное, незабываемое выражение.

Действительное знакомство наше произошло 5 июля 1885 года, когда Николай Васильевич переехал к нам на дачу жить. Дым коромыслом, стоявший в Жуковке в первое его посещение, отошел, на даче царила полнейшая тишина. Все взрослые разъехались: Нина с мужем в свадебное путешествие по Италии, Катя с Александром Ивановичем уехали в Швецию вместе с Шанявскими, Федя вернулся в Петербург. В Жуковке оставались мы с Сережей, Отто Юльевич Зюссенгут да племянники наши, Вася, Сима и Шура, с учительницей. Впечатление пустоты и покинутости усиливалось для Николая Васильевича еще тем, что мы с Сережей в день его приезда тоже оказались в отсутствии, так как с утра ушли гулять в Кунцево. Мы гуляли там на берегу Москвы-реки, спускались в глубокий, темный, таинственный овраг, на склоне которого рос громадный, известный всем москвичам дуб-богатырь, видевший, вероятно, времена не только тишайшего государя, но и грозного царя, всходили на городище с его неизвестны-

ми могилами, получившее у дачников название «проклятое место». Вернувшись к вечернему чаю, мы принесли из Кунцева в фуражках собранные на берегу Москвы-реки окаменелости, а в носовых платках — малюсеньких ежиков, новорожденных, как мы решили, ввиду их крошечного размера. Прогулка дала соответствующую пищу для разговора за чаем, а затем, усталые от беготни за день, мы легли спать.

Утром надо было накормить ежиков молоком, и мы так увлеклись возней с нашими новыми питомцами, что не заметили, как настал час урока. Когда Николай Васильевич пришел в нашу комнату на первый урок свой, мы поспешили спрятать ежиков в ящик письменного стола и достали книжки. Нетрудно себе представить, что внимательными на уроке мы не были. Ежики возились и шумели в своем заточении, а мысль, что им не хватит воздуха, совершенно парализовала мою сообразительность. Николай Васильевич, удивлявшийся сначала нашему состоянию, в конце концов разгадал, в чем дело; ежики были извлечены на волю, и наставник вместе с учениками своими, прервав урок, занялись устройством маленьких животных.

Простота и какое-то товарищеское отношение, проявленные Николаем Васильевичем в этом случае, сразу завоевали ему наше расположение. Оно за ним окончательно утвердилось, когда в тот же день он так же просто и по-товарищески отнесся к каверзе, учиненной ему племянником Васей. Надо сказать, что у нас в доме никто не курил, и Вася, увидев утром, как Николай Васильевич в своей комна-

те набивал гильзы табаком, очень заинтересовался этой процедурой. И вот, забравшись в комнату Николая Васильевича, когда он был у нас на уроке, Вася высыпал из гильз табак, набил их песком и заделал ватой. Каково было курящему человеку увидеть, что курить ему нечего! Со спокойствием, по-видимому больше всего смутившим Васю, налившегося кровью под нашими негодующими взглядами, Николай Васильевич показал, для чего он набивал утром гильзы и почему они теперь никуда не годятся. Конечно, с глазу на глаз в саду мы, в звании дядей, отчитали племянника со всем пылом. Окончательно он был сконфужен, когда Николай Васильевич предложил нам прогуляться с ним на полустанок, где, быть может, найдутся готовые папиросы.

Я рассказываю эти мелочи потому, что мне приятно их вспоминать, и потому, что с них начались у нас простые, доверчивые отношения товарищества с человеком, с которым мы все тесней и тесней сходились, связавшись дружбой буквально до гробовой доски.

Николай Васильевич по соглашению с Катей поставил ученье наше совсем по-новому.

Из гимназии Поливанова мы вышли с тем, чтобы курс средней школы (гимназии, по-тогдашнему, неизбежно классической, единственно открывавшей доступ в университет) пройти дома и держать затем экстернами так называемый экзамен зрелости для получения права на поступление в университет. Но до этого экзамена было еще несколько лет впереди, и, принимая во внимание, что дома можно вести занятия интенсивнее, чем в школе, а потому в одинаковый срок пройти больше,

Николай Васильевич не считал нужным строго держаться из года в год гимназических программ. Это открывало преподавателям возможность свободно планировать курсы и углубляться в свои предметы.

В первую же зиму 1885/86 года к нам были приглашены П. Ф. Маевский (естествознание), Ф. И. Егоров (математика), С. П. Меч (география) и А. Е. Грузинский (русский язык и словесность). Николай Васильевич взял на себя временно латинский язык, который мы проходили у него вместе с Сашей Чупровым, сыном профессора А. И. Чупрова, до поступления его в один из старших классов V гимназии. Кроме того, я один проходил с Николаем Васильевичем греческий язык и читал по-французски с бывшей учительницей сестер старушкой мадемуазель Бессон.

Мы много делали письменных работ не только А. Е. Грузинскому, но и С. П. Мечу. Эти работы представляли собой разбор какого-либо произведения, изложение статьи или книги, сводку мнений или данных из разных источников, иногда компиляцию, но никогда не были «сочинениями на тему», столь излюбленными в то время в гимназиях, как, например, рассуждение о том, что ,,не все то золото, что блестит", или памятное мне Федино сочинение, писанное им для Л. И. Поливанова: ,,Все куплю,—сказало злато, все возьму,—сказал булат". В письменных работах от нас требовалось умение систематизировать по собственной, а иногда даже по предложенной преподавателем или же совместно с ним составленной схеме пройденный и прочитанный материал и толково его изложить.

С Петром Феликсовичем Маевским летом 1886 и 1887 годов мы много ботанизировали.

Со временем число наших преподавателей значительно расширилось. Присоединились: Д. П. Езучевский (физика), А. В. Сперанский (химия), М. К. Любавский (русская история), С. Ф. Фортунатов (история), Н. С. Тихонравов (литература), Е. Е. Якушкин (древние языки), Гильвег (немецкий язык).

Для занятий по химии нам приспособили в нижнем этаже арбатского дома особую комнату, в которой был устроен вытяжной шкаф, проведены газ и вода и пр. Эта домашняя лаборатория была впоследствии использована (равно как геологическая коллекция А. Ф. Геллера и собранный нами с П. Ф. Маевским гербарий) «Коллективными уроками» — суррогатом Высших женских курсов, организованными усилиями Шереметьевской, Сеченова и Тимирязева и в течение нескольких лет ютившимися у нас в доме, пока не удалось добиться разрешения на возобновление Высших женских курсов.

С Н. С. Тихонравовым мы по преимуществу занимались устной словесностью и древней письменностью — по памятникам. Конечно, особое внимание было уделено «Слову о полку Игореве». Впрочем, разбирали и классиков. Припоминаются мне разборы «Макбета», «Гамлета», Фонвизина и Грибоедова. Подробно мы разбирали с Николаем Саввичем статью Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», пользуясь немецким оригиналом в отдельном издании с комментариями.

Николай Саввич в то время был занят редактированием Полного собрания сочинений Гоголя и на редактируемом им материале вво-

дил нас в приемы научной редакции текстов. Отдельно от брата я читал в подлиннике Шиллера, Гете, Лессинга, Грильпарцера и других немецких классиков, преимущественно трагедии.

Совершенно исключительный интерес представляли мои занятия с Ф. Е. Коршем, с которым мы читали в подлиннике Гомера и Овидия. Его эрудиция изумляла всех, кому приходилось вступать с ним в общение, и даваемые им комментарии блистали широкими обобщениями и глубоким анализом текста. На некоторые уроки мои Николай Васильевич Сперанский ходил, чтобы послушать Федора Евгеньевича. Наконец, курс логики я прошел с А. С. Белкиным, а курс политической экономии — с С. В. Сперанским, державшимися только что вышедшего тогда в студенческом издании курса А. И. Чупрова.

Уроки рисования мы брали у художника Николая Авенировича Мартынова на его квартире. Мартыновы жили тогда в Б. Знаменском переулке в служебном корпусе владения князей бр. Долгоруковых, теперь занятого Институтом Маркса и Энгельса. Говорю Мартыновы потому, что кто начинал ходить учиться к Николаю Авенировичу, обязательно знакомился со всей его семьей и благодаря деятельному, бодрящему радушию ее членов вовлекался в близкую с ними дружбу. Уроки наши были по воскресеньям, начинались с 10 часов утра и затягивались до 2—3 часов дня. Мы были самыми юными из воскресных учеников Николая Авенировича, так как праздничные дни он преимущественно отводил для естественников университета, занимавшихся рисованием изучаемых ими живот-

ных. Так мы попали в общество М. А. Мензбира, В. Н. Львова, Н. А. Иванцова, А. Н. Северцова, П. П. Сушкина, П. С. Усова, впоследствии Н. К. Кольцова и др. Рисовали исключительно с натуры. Основательно проходили правила перспективы.

Н. А. Иванцов рисовал сепией большой портрет недавно тогда скончавшегося профессора С. А. Усова. Зоолог, увлекшийся в последние годы жизни археологией, Усов играл выдающуюся роль в борьбе прогрессивных профессоров против Каткова и Леонтьева, ополчившихся на скромную автономию, предоставленную университетам уставом 1863 года. Как известно, борьба была проиграна либеральными профессорами. Но кружок молодых биологов прогрессивного лагеря был еще под обаянием личности скончавшегося лидера. Чувствовалась также некоторая гордость, что преемником С. А. Усова на кафедре был выдвинут их старый товарищ, член кружка М. А. Мензбир. Люди уже взрослые, эти «ученики» Николая Авенировича держали себя на уроках непринужденно, как в гостях, разговаривали, шутили, делились прочитанным. Бывало иногда очень интересно. Но это не мешало работать.

Николай Авенирович был неутомим. Сутуловатый, с шапкой всклокоченных волос на голове и раскидистой бородой, щуря один глаз, он переходил от одного ученика к другому, внимательно всматривался в работу и затем, беря карандаш, уголь или кисть, молча поправлял рисунок учащегося, показывая, как нужно делать. После 12 часов Любовь Ивановна, жена художника, обносила чай, к которому всегда

подавались ее же изготовления жареные пирожки с грибами, луком или гречневой кашей, замечательно вкусные, поедавшиеся в неимоверном количестве.

У Сережи оказались хорошие способности к передаче портретного сходства. Нарисованный им углем портрет кривого Прохора, служителя кабинета сравнительной анатомии, приведенного М. А. Мензбиром в качестве натурщика, вызвал всеобщее одобрение.

Пришлось у Мартынова еще познакомиться с братьями Морозовыми, Михаилом Абрамовичем и Иваном Абрамовичем. Они занимались тоже с Н. А. Мартыновым, но у себя на дому, в будние дни, и посещения ими воскресных занятий были случайными. Живя в Москве, мы, конечно, встречались затем неоднократно, но сближения между нами не было.

Любовь к пейзажной живописи, культивировавшаяся Николаем Авенировичем, очень тонким пейзажистом и акварелистом, была причиной нашей последней, неожиданной для меня встречи с Иваном Абрамовичем в 1922 году. Я издавал брошюру П. П. Перцова о Щукинском собрании новой французской живописи, и мне пришла в голову мысль предложить Перцову включить в книгу сведения о других имеющихся в Москве произведениях новейшей французской живописи, помимо Щукинского музея. Это побудило меня посетить Морозовскую галерею на Пречистенке, известную мне по прежним временам. Я встретил там Ивана Абрамовича, которого никак не думал увидеть в то время в Москве. Он окружен был группой молодежи, весьма оживленно и, несомненно, интересно говорил про движение в новой фран-

цузской живописи, иллюстрируя рассказываемое на примере своей коллекции. Иван Абрамович в роли хранителя и толкователя собранной им картинной галереи, впоследствии национализированной, был очень хорош. Хороша была и белокурая девица, увлеченная виденным и слышанным и по наивности желавшая уйти из галереи с твердым знанием, какой же путь в живописи самый правильный и какой художник самый лучший. Мы все, вероятно, на первых шагах нашего эстетического развития верили в истинные пути и абсолютные ценности. Вероятно, и Иван Абрамович вспомнил свои первые шаги в собирательстве. Как бы то ни было, он внимательно выслушивал белокурую девицу и вразумительно говорил ей о неосновательности самой постановки таких вопросов. Она, однако, не унималась. Мы встретились с Иваном Абрамовичем глазами, крепко пожали друг другу руки, как никогда до того, и молча разошлись.

Не стану дальше распространяться о приглашенных к нам преподавателях. Все они были хорошо известны в Москве своими выдающимися дарованиями или впоследствии ярко выделились. Было бы интересно восстановить здесь общую программу наших занятий, показать, как цвет тогдашних педагогов в Москве разрешал задачу построения курса среднего образования, когда им представился случай свободно проявить свое творчество.

Но я не могу это сделать, не располагая ни старыми тетрадками, ни даже старыми учебниками. Здесь ведь потребовалось бы войти в подробности и при этом быть очень точным. Скажу только, что как в выборе преподавателей, так и в планировании занятий

первенствующее значение имел сам Николай Васильевич Сперанский. Он все организовал, за всем следил, брал на себя то те, то другие предметы.

В обращении Николая Васильевича с нами не было ни тени менторства или доктринерства. О чем бы он с нами ни говорил, всегда казалось, что ему это так же ново, свежо и интересно, как и нам. Это особенно сказывалось в разговорах по прочитанным книгам.

Зимой много читать сверх требуемого ходом преподавания, пожалуй, не приходилось. Но зато на лето мы забирали с собой целый сундук книг. Лето мы проводили в Суткове — приобретенном Катей имении на правом берегу Днепра в Минской губернии. Здесь читали запоем по программе, намеченной еще зимой. Прочитанное служило обыкновенно предметом разговоров за прогулкой, за чаем или во время купания. Летом 1886 года, например, Николай Васильевич для себя читал в греческом подлиннике «Историю Пелопоннесской войны» Фукидида и в немецком переводе «Историю Греции» Грота. Это давало пищу продолжавшимся значительную часть лета увлекательным разговорам о Пелопоннесской войне. По мере того как Николай Васильевич продвигался в чтении Фукидида, он подробно рассказывал нам все перипетии пелопоннесской трагедии, передавая при этом объяснения, какие дает событиям английский историк Грот. И что особенно характерно для Николая Васильевича: чтобы нам легче было следить за его рассказом, он посоветовал нам предварительно прочесть «Историю Греции» Егера, имевшуюся в русском переводе, предупредив при этом, что Егер освещает

события греческой истории иначе, нежели английский историк. С волнением вспоминаю я теперь эти наши уединенные прогулки по пустынным берегам Днепра в разговорах о великой трагедии греческого народа. Кругом заливные луга, дикая природа, а на горе дом с дорическими колоннами, выражающими эллинскую традицию.

Через Николая Васильевича значительно обновился и расширился круг наших знакомых. Мы стали бывать у Саши Чупрова, сына профессора А. И. Чупрова, и таким образом перезнакомились с семьями Чупровых и Богдановых. К Николаю Васильевичу часто заходили бывшие университетские товарищи, его братья и друзья. Постепенно мы перезнакомились и с ними.

В студенческие годы некоторые из них жили в номерах Скворцова на углу Воздвиженки и Моховой, где на месте построенного впоследствии страховым обществом пятиэтажного здания, в котором теперь принимает просителей М. И. Калинин, тогда был двухэтажный белый дом с зеленой крышей. Рассказывали, что Скворцов, подрядчик строительных работ, соорудил себе этот дом из кирпича, наломанного при перестройке Каменного моста. По фамилии содержателя номеров его жильцы прозывались «скворцами», и самый дом шел за «скворешник». Кличка эта так укоренилась, что присвоена была всему кружку университетских товарищей Николая Васильевича, независимо от местожительства и даже от принадлежности их к его курсу. Сюда входили три брата Сперанские — Николай Васильевич, Александр Васильевич и Сергей Васильевич, два брата

Якушкины — Вячеслав Евгеньевич и Евгений Евгеньевич, Михаил Несторович Сперанский, Алексей Евгеньевич Грузинский, Матвей Кузьмич Любавский, А. С. Белкин и др.

Это были люди недюжинные, с повышенными умственными запросами, впечатлительные, отзывчивые и нервные, чисто по-русски аристократически беспечные в отношении материальных благ жизни. Большинство из них избрало научную деятельность. Работая каждый в своей специальности, они, сходясь вместе, всегда имели что сообщить друг другу нового и занимательного. Хотя и не все принимали участие в общественной жизни, но все были сторонниками прогресса. Для многих из них свободолюбивые традиции являлись славным наследием ряда поколений. Чтили память декабристов, западников 40-х годов, деятелей 60-х годов — эпохи великих реформ, как ее стали тогда называть. У В. Е. Якушкина в кабинете висел портрет Гарибальди. В архиве Якушкиных хранились письма и бумаги декабристов.

Конечно, друзья Николая Васильевича были много старше нас. Тем не менее мы с Сережей очень любили засесть в комнате Николая Васильевича и молча слушать их всегда оживленные и содержательные разговоры. Сережа, бывало, заберется на постель Николая Васильевича, свернется там калачиком да и заснет к концу вечера под гул голосов. Заметив это, А. С. Белкин, отличавшийся громкой речью и звонким смехом, снизит голос, чтобы не разбудить мальчика.

С годами разница в возрасте сглаживалась. По окончании университета мы уже пере-

стали чувствовать себя птенцами в их среде. Знакомство наше, а с некоторыми — близость и дружба продолжались. По предложению В. Е. Якушкина, прозывавшегося в кружке «Епископом» и пользовавшегося большим авторитетом, установился обычай вместе справлять университетский праздник (Татьянин день) 12 января и день освобождения крестьян, 19 февраля. Собирались по окончании летних каникул и 1 мая, а также и по другим случаям. Обыкновенно вместе обедали в «Праге» после занятий. К обществу присоединялись Саша Чупров с товарищами его по гимназии.

Когда начались волнения в университете, «праздновать Татьяну» стало неловко, стали собираться в эти дни у меня на квартире.

Говоря о друзьях Николая Васильевича, я не упомянул его бывшего ученика Е. В. Пустошкина, который жил большей частью у себя в имении Давыдовка в Самарской губернии и бывал в Москве лишь наездами. Тогда он обыкновенно принимал участие в наших собраниях.

До нас Николай Васильевич был, как тогда говорили, на кондиции у Пустошкиных. Он был приглашен учителем к сыну стариком Пустошкиным.

Угрюмый вдовец, по своему суровому нраву прозванный Ханом, старик Пустошкин был человек консервативного склада, расчетливый хозяин, умный и проницательный в оценке людей. Он скоро оценил высокие качества молодого учителя и не без интереса первое время смотрел на оживление, внесенное им в монотонную жизнь семьи. При таком его попущении молодежь пустошкинская стала водво-

рять в имении, державшемся крепостнических устоев, всякие культурные нововведения в пользу населения как бы контрабандой, создавая своеобразный режим «просвещенного абсолютизма».

Была открыта для крестьянских детей бесплатная школа, и учительницей стала сестра Николая Васильевича — София Васильевна, получившая высшее образование. Для лечения крестьян была приглашена женщина-врач Анна Андреевна Котляревская, получившая медицинское образование в Швейцарии. С ней поселилась в деревне ее сестра Екатерина Андреевна, которая стала вести среди крестьян работу по распространению сельскохозяйственных и прочих усовершенствований. Она консультировала по разным юридическим вопросам, составляла мужикам прошения и разные бумаги. Всему этому суждено было со временем встретить решительный отпор. Губернатор выселил Е. А. Котляревскую из пределов уезда. А Хан предложил Софии Васильевне покинуть его имение, предписав инфанту своему прекратить всяческие начинания «в духе маркиза Позы».

Из зимних удовольствий того времени, кроме театра, мы пристрастились к симфонической и камерной музыке, посещая концерты обычно с Николаем Васильевичем Сперанским и Евгением Евгеньевичем Якушкиным. Оба они очень любили классическую музыку. Были большими почитателями Бетховена. К Чайковскому же, быстро восходившему тогда к зениту своей славы, относились отрицательно. Доходило до того, что на время исполнения его произведений они иногда уходили даже из концертного зала курить! Мы же с Сережей,

невзирая на снисходительные улыбки наших старших друзей, при всей нашей любви к Бетховену охотно слушали и любили Чайковского.

НА ЛОДКЕ В КИЕВ

Летом 1886 года мы совершили плавание по Днепру из Суткова в Киев. Еще с осени мы заказали одному казимировскому крестьянину изготовить нам «челн», или «душегубку». Они делаются из отруба ствола осины, которая в местных лесах достигает очень больших размеров, нигде мной больше не встречавшихся. Ствол выдалбливается, распаривается горячей водой, растягивается по бокам. Получается, правда, утлая и не очень устойчивая на воде скорлупка—лодка, очень, впрочем, ходкая, легко скользящая по воде и легко управляемая. Челн приводится в движение с кормы единственным веслом, которое служит также вместо руля, для управления.

На таких челнах, или «душегубках», мы совершали большие поездки по Днепру и его затонам. Весной во время разлива мы ездили по залитым водой прибрежным дубовым лесам, что является прогулкой исключительной прелести. Если дубовые леса эти еще сохранились, то любителям природы, туристам и спортсменам стоило бы заметить себе эти очаровательные прогулки, ради которых стоит приехать специально из Москвы.

Желая ехать в Киев вчетвером, мы, чтобы увеличить емкость и грузоподъемность нашего

челна, приделали к бортам его еловые шилевки с каждой стороны по одной, установили уключины для обычной гребли двумя веслами. Получилась очень удобная «обшивинка», как там называют такие лодки. На ней мы совершили плавание в Киев, длившееся трое суток. Дорогой стреляли дичь. Обед готовили себе сами у костра на берегу. Ночевали где придется, под открытым небом.

В Киеве в те годы велась большая художественная работа по росписи Владимирского собора. Привлечены были к этому делу археолог Прахов, художники Васнецов, Нестеров, Котарбинский, Сведомские и др. Собор был еще в лесах внутри и недоступен для осмотра, а слухи о решительном отходе от традиций передвижников уже ходили в публике, возбуждая любопытство. В одно из следующих посещений Киева нам удалось проникнуть в собор и, пройдя на леса, осмотреть производившиеся работы. Помнится, в обстановке беспорядка и неоконченности, перегороженная лесами, запрестольная «Богородица» Васнецова и его русские святители, равно как Нестеровское «Воскресение» с голубоватыми ирисами на переднем плане, произвели на нас весьма сильное впечатление. В оконченном виде, после освящения и открытия собора, его росписи уже не производили того впечатления.

На следующий год мы задумали спуститься по Днепру до самых порогов. С осени заказали в московском яхт-клубе лодку на четыре весла. В память павшего иноходца моего, нам всем очень полюбившегося, назвали лодку «Зайсан». Хотя она не была парусной конструкции, мы уговорили мастера яхт-клуба

приспособить к ней небольшой парус, заверив его, что это не представляет опасности, так как лодка предназначается к плаванию по реке, где за узостью фарватера маневрировать невозможно и поневоле приходится пользоваться парусом только при попутном ветре. Это был, конечно, софизм, в чем мы должны были перед собой признаться, когда «Зайсан» наш после целого лета удачного плавания раз как-то опрокинулся вверх дном, выкинув в воду Николая Васильевича Сперанского и его спутника вследствие неосмотрительного движения последнего: он нагнулся к борту за уключиной при стоячей мачте. Впрочем, так как мы держались на воде очень дисциплинированно, это был единственный случай аварии. «Зайсан» из Москвы был по железной дороге доставлен на станцию Речицу на берегу Днепра, откуда мы пригнали лодку в Сутково сами. Из Суткова на пороги мы двинулись в следующем составе: Н. В. Сперанский, В. К. Гильвег, Е. И. Игнатьев, брат Федя, Сережа и я. До порогов ехали 8 суток. Брать пороги «Зайсаном» было нельзя. Поэтому мы отправили его обратно пароходом в Сутково. Сами же в слободе Каменке, лежащей у начала порогов и населенной лоцманами, проводившими суда через пороги, наняли «дуб» с четырьмя гребцами и рулевым и поплыли на нем через пороги. Теперь, с сооружением Днепростроя, вся местность эта, конечно, совершенно преобразилась, и, быть может, описание отошедшего в прошлое Днепра уже не представляет интереса.

Такое описание дано было профессором Эварницким, посетившим пороги в то же лето 1887 года, как и мы, и поместившим осенью

очерк своей поездки в «Историческом вестнике». Но его не знающие меры восторги и некоторые преувеличения на нас, только что бывших на порогах, не произвели впечатления. Старый Днепр и его пороги были на самом деле очень хороши, как они были, и приукрашивания не увеличивали впечатления.

Везшие нас лоцманы, быть может, потомки запорожцев, все дюжие ребята, оказались охотниками до горилки. Время от времени они просили разрешения пристать к берегу и тогда выпивали. Заметив, что это повторяется уж слишком часто, мы, переглянувшись друг с другом, стали под разными предлогами отклонять такие приставания к берегу. Но где великороссам провести хохлов! Они тоже перемигнулись между собой, и вот рулевой с необычайной ловкостью и знанием форватера умышленно посадил «дуб» наш на незаметный подводный камень. «Дуб», как на шпиле, стал вертеться среди бурлящих вод, а лоцманы как ни в чем не бывало достали сальца да горилку и весело закусили, поглядывая на наши смущенные искусственной аварией лица. Потом, покряхтев да поднатужившись, они сняли «дуб» с камня, и мы благополучно понеслись дальше. Мы больше не решались возражать против причаливания к берегу. В конце дня разразилась гроза. Проскочив последний порог, мы при громе и молнии высадились на знаменитом острове Хортице, где вместе со стадом овец укрылись от ливня под нависшей скалой. Просидев так ночь, рано на рассвете добрались до города Александровска, приветливо манившего нас после бурной ночи своими беленькими домиками, крытыми красной черепицей...

Поездка на пороги через громадный живописный край, привольная жизнь робинзонами, забавные и интересные встречи и происшествия долгие годы вспоминались всеми участниками с большим удовольствием.

ПОЕЗДКА ПО КАВКАЗУ В 1888 ГОДУ

В следующем году мы ездили на Кавказ: Н. В. Сперанский, Н. А. Мартынов, Сережа и я. Из Москвы выехали в апреле в Алупку, где провели страстную неделю. Как сейчас помню, в страстной четверг мы ходили пешком на Учан-Су. После теплого, ясного, весеннего дня быстро, по-южному, без сумерек, сгустилась тьма, когда мы возвращались мимо Ливадийской церкви. Шла всенощная. Читались двенадцать евангелий. Не вмещавшиеся в церкви молящиеся стояли в парке с зажженными свечами. Кругом в благоухающих кустах раздавались трели соловьев. Природа и люди слились в один цельный пейзаж. Мы остановились... не хотелось идти дальше...

В первый день пасхи, в ясную солнечную погоду наш пароход остановился у Сочи, в некотором расстоянии от берега. Нас доставили на берег в шлюпках. Высадившихся пассажиров окружили стоявшие на берегу лодочники турки, предлагая отнести багаж в духан, находившийся тут же поблизости. Но из духана неслись пьяные песни и матросская ругань; нам не захотелось искать в нем прибежища. Спрошенный нами полицейский урядник объяс-

нил, что это единственная гостиница в городе, но что нам лучше остановиться у обывателей. Он отвел нас в дом городского фельдшера, который со всей семьей на праздники уехал в горы. Ключ от наружной двери был где-то спрятан в условном месте, и урядник без всяких затруднений его достал и впустил нас в дом. В нем вся обстановка, посуда, одежда и вещи находились на своих местах как бы в присутствии хозяев. Мало того, и это нас особенно поразило, большой обеденный стол был уставлен куличами и бабами разных размеров и сортов, которые были тщательно прикрыты...одной только кисеей от мух. Очевидно, хозяева не допускали возможности, что во время их отсутствия кто-нибудь еще, кроме мух, вздумает полакомиться их заготовками. Было как-то неловко воспользоваться удобной квартирой в отсутствие хозяев, но урядник заверил нас, что здесь все так делают и никто не обижается. Притом мы ведь заплатим, когда явятся хозяева. Уговариваться о цене было не с кем. Это оставалось на совестливости обеих сторон. Впоследствии, когда хозяева вернулись, мы убедились, что урядник нас в неловкое положение не поставил. Мы расстались с семьей фельдшера в наилучших отношениях.

* * *

Из Сочи направились на участок (горный) А. И. Барановского «Дагомыс», где в то время поселился бывший управляющий в Суткове М. А. Пытковский, с которым мы были тогда в приятельских отношениях.

Дороги, устроенной людьми, не было. Правда, в то время по всему Черноморскому

берегу проведено было шоссе. Но мостов на нем не было. Поэтому пользоваться шоссе не было возможности. Ехали мы верхом по галькам и песку морского берега, имея по правую сторону крутой обрыв гор, а по левую руку море. Так как в сухом песке ноги лошадей сильно вязли, то приходилось держаться самого края прибоя, где влажный песок бывает обыкновенно уплотнен. Иногда песчаная полоса берега суживалась, в некоторых местах даже совсем исчезала. Лошадям приходилось ступать, погружая ноги в воду. Ручейки и речки брали вброд. Речная вода, окрашенная в желтый цвет взвешенным в ней песком, длинным языком врывалась в темно-синее море, производя сильное волнение. Когда лошадь, перед тем как ступить, осторожно нащупывала копытом, куда поставить ногу, я невольно измерял мысленно, как далеко «в случае чего» отнесет тебя течением в море и какую длинную дугу придется тогда проплыть, чтобы вернуться на берег. Это возбуждало. Было красиво, величественно, дико.

Наконец мы свернули в долину «Дагомыса», имение великого князя. Широкая долина упиралась в море, с обеих сторон была обрамлена пологими, покрытыми лесом, холмами, а в верхнем своем конце замыкалась конусообразным, ярко-зеленым выступом водораздела двух, образующих Дагомыс, горных речек. На этом холме — белый дом управляющего имением великого князя с большой открытой террасой, господствующий над всей долиной. После продолжительного шагания по галькам и сыпучему песку наши кони обрадовались твердой

дороге, и мы рысью понеслись к гостеприимному домику, едва удерживая их.

Из писем Пытковского мы знали, что в имении великого князя надо у управляющего расспросить про дорогу на участок Александра Ивановича Барановского. Кроме фамилии управляющего — Успенский, мы ничего другого о нем не знали. Напротив, сам Успенский и его супруга, как оказалось, были хорошо наслышаны о нас всех по рассказам Пытковского. Они давно уже ждали нашего приезда и встретили как старых, хороших знакомых. Успенский вызвался сам проводить нас к Пытковскому на участок, а жена его засадила нас чай пить и закусить, пока мужу седлали лошадь и он отдавал распоряжения по хозяйству. Супруги сразу заявили, что не пустят нас дальше, не накормив, так как к хозяйству Пытковского и его возможности накормить пятерых неожиданно прибывших гостей они относились весьма скептически.

Тронувшись затем в путь, мы убедились, что без Успенского, конечно, не нашли бы дороги, как бы подробно он нам ее ни описал. Ехать приходилось лесной чащей, в горах, без всякой видимой дороги. Иногда мы попадали на старые, покинутые чеченцами горные тропы для вьючных животных, очень искусно проложенные горцами. Но в последнюю войну 1878 года все мусульмане бросили свои аулы, сады и имущество и ушли в Турцию. Покинутые жилища, никем не занятые, развалились и при благодатном климате Черноморского берега поросли за истекшие годы деревьями; дороги поосыпались и тоже заросли могучей южной растительностью; про сады и говорить нечего:

культурные деревья одичали. Цепкие ползучие лианы переплели гущу леса, через который нам приходилось двигаться, колючки впивались в наши бурки, прокалывали сапоги, и, чтобы вырваться из этих объятий, не раз приходилось прибегать к помощи кинжала. Поездка была в высшей степени интересна. Мы видели яркую картину опустошения и разорения, произведенного войной. Населенный край опустел и заглох. Где мирно жили некогда люди, разросся дикий лес, в котором в пору было жить только диким животным. Край ждал новых поселенцев, но они притекали что-то очень медленно...

Наконец мы добрались до одного из таких поселенцев — до Пытковского. Но что же мы нашли! Трудно было себе представить, как мог жить в такой обстановке человек образованный, имеющий полную возможность во всякую минуту покинуть такое житие и вернуться в общество культурных людей. К ветвям векового громадного дерева прислонены были жерди и сучья, образуя собой как бы конусообразный шалаш. От дождя и снега прикрытием преимущественно служила густая листва дерева, под которым приютилось это жилище. Печки не было. Огонь разводился у входа. Для согревания, впрочем, больше надеялись на коз, которых в зимнюю стужу загоняли в шалаш. Их было пять или шесть. Пропитание добывалось охотой и сборами плодов в одичавших садах. Пытковский был не совсем одинок. Мы застали у него имеретина, с которым они вместе охотились и сообща приступали к сооружению так называемого «дома». Пока на месте этой будущей постройки были врыты лишь столбы. Из любезности к хозяину мы с наступлением ночи

легли на ночлег между этими столбами, под открытым звездным небом, воображая себе, как будет отрадно и уютно в этом будущем доме. Даже Николай Авенирович Мартынов, опасавшийся простуды, не решился ночевать в шалаше, насквозь пропахшем козьим пометом.

Утром мы все вместе с Пытковским спустились к Успенским, у которых прогостили еще сутки.

Вспоминается мне теплый, ясный вечер, проведенный на террасе Успенских. Подошел сосед их, брат московского музыкального критика Кишкин, как и сам Успенский, променявший север на юг из-за слабости легких. Заброшенным в кавказское захолустье хотелось повидать гостей с родного запретного севера, послушать столичные новости, узнать, наконец, те общественные и политические веяния, о которых в газетах и журналах не пишут. Николай Васильевич, по близости своей с А. И. Чупровым и причастности к кружку «Русских ведомостей», мог удовлетворить общее любопытство. Уже стемнело, когда разговор сошел на толстовское движение. На Черноморском берегу селились целые колонии опростившихся интеллигентов. Их идеальные искания и практические неудачи возбуждали живой интерес в Успенском. Его жена, молодая, деятельная и не лишенная юмора, задорно вызывала Пытковского на обсуждение движения, но он старался отмалчиваться, а когда выступал в защиту движения толстовцев, то это звучало очень слабо...

Далеко не все бывающие на Кавказе и в Крыму пользуются случаем для поездок на лодке по морю. Между тем при удаче это

может доставить большое удовольствие. Мы сделали такой переезд на турецкой фелюге из Сочи в Сухум. Эти турки жили рыболовством и охотой за дельфинами, возили пассажиров с прибывающих пароходов на берег и обратно; быть может, некоторые из них занимались и контрабандой: так, по крайней мере, говорили о них. Они были вооружены, что, впрочем, имело свое оправдание в том, что дельфинов они стреляли из ружей. Пришлось два дня ждать благоприятной погоды. Лодочники нас предупредили, что ветер может перемениться внезапно и надо быть готовым, чтобы тронуться в путь немедленно. Мы поэтому никуда не уходили, а занимались поблизости рисованием. Сережа нарисовал акварелью портрет одного из наших лодочников с красным, как вареный рак, лицом, глазами навыкат, страшными белками, в синей куртке и синих штанах, с желтым башлыком, который он очень живописно накручивал вокруг своей фески, оставляя сзади болтаться два неравных конца башлыка. Мы кончали обед, когда пришел турок сказать, что ветер попутный и надо трогаться. Забрав вещи, мы поспешили к морю. Фелюга, до обеда лежавшая на прибрежном песке вверх дном, была уже спущена и стояла саженях в трех от берега с поднятой уже мачтой. Турки тотчас, как мы подошли, перенесли в лодку по воде сначала наши вещи, а затем и нас самих, прежде чем мы успели возразить. Подняли якорь. Поднятый парус сначала безжизненно повис, затем, не надуваясь, как-то выпрямился и затих. Никакого ветра не было заметно. За бортом слышно было всплескивание волн. Мы как будто совсем не двигались. Однако через

некоторое время были уже довольно далеко от берега. Все стало как-то белесовато — и море, и берег. Неожиданно раздался выстрел над самым ухом. Турок застрелил дельфина. Его взяли на борт и распотрошили. Распространилось отвратительное зловоние. Оно вскоре, впрочем, перестало чувствоваться, когда работа над дельфином была окончена, отбросы выкинуты за борт, а ценное спущено в трюм. Без сумерек подкралась южная ночь. Очертания берегов стали неясны. Море на наше счастье фосфоресцировало. Маленькие, разбивающиеся о борт волны, казалось, покрыты каким-то блеском. Каждая капля, падавшая со смоченной в море руки, казалась жемчужиной. Мы просидели, любуясь, всю ночь. Заснули лишь перед рассветом. Солнце начинало палить, когда мы въезжали в Сухумскую бухту...

Не совсем обычен был также наш переезд верхом из Кутаиса в Абас-Туман через Зекарский перевал. Эту дорогу описал Григорий Аветович Джаншиев в очерке «Перл Кавказа». По хорошему шоссе летом ее легко совершить в рессорном экипаже. Так договорились и мы с извозчиком в Кутаисе. Однако утром вместо экипажа нам подали верховых лошадей. Проводник объяснил, что в горах еще держится снег и в фаэтоне будет неудобно. Такой перемене мы не придали значения, так как охотно ездили верхом.

Через некоторое время мы наехали на омнибус, который при переезде ручья вброд застрял в русле. Лошади были отпряжены. Пассажиры каким-то образом выбрались на берег, кроме одного, который выглядывал то в одно окно омнибуса, то в другое, но никак не

решался войти в воду, несмотря на все уговоры товарищей на берегу. Сцена в достаточной степени комичная. Но финал мог быть трагический, так как омнибус водой постепенно сносился к обрыву...

Для нас эта сцена предвещала немало приключений. В самом деле, в горах мосты оказались разрушенными, полотно шоссе во многих местах смыто, в других — завалено сорвавшимися сверху глыбами, камнями и деревьями. Туман! Принужденный ехать ввиду состояния дороги гуськом, каждый из нас видел перед собой только ближайшую к нему лошадь, так как следующая впереди уже скрывалась туманом. Вода журчала повсюду, белые струи водопадов, с шумом несшихся с гор в ущелье, казалось, падали из облака в облако, так как из-за тумана не видно было ни начала, ни конца. Ночь застала нас еще в низу ущелья, и мы переночевали у дровосеков.

На следующий день наши заморившиеся накануне кони стали приставать. Лошадь проводника, выбившуюся из сил, пришлось оставить на дороге. Мне с Николаем Васильевичем и проводником решено было идти пешком, а на лошадей сложили все тюки. Но через несколько часов новое осложнение: снег, дорога занесена, некоторые проложенные в снегу следы расходятся в разные стороны. Куда держать путь, не видно. Наш проводник окончательно растерялся. «Там лежит большой белый, я забыл его русскую фамилию»,— сказал он мне, когда первый заметил сугробы снега впереди, и, по-видимому, считал это достаточным основанием, чтобы дальше не двигаться. Положение становилось неладно. Приближался конец

дня. Лошади, да и мы сами порядком устали. Что делать? Ночевать в снегу? Идти назад? Искать путь в снегу? Но в горах все воспринимается как-то просто! Мы решили продвигаться вперед по снегу, без проводника, разбившись на две группы, все время постоянно перекликаясь, чтобы не потерять друг друга в тумане. Через некоторое время мы набрели на следы шоссе, а поднявшись еще немного, добрались, наконец, до шалаша, построенного на самом высоком месте перевала. В нем лежали три путника. Увидев нас, они, не вставая, стали просить поесть. Они оголодали и в изнеможении легли в шалаше, не имея сил продолжать путь, хотя совсем недалеко впереди уже начинался спуск к Абас-Туману. Мы тоже присели. Отдали им свою провизию, подкрепившись сами, и поспешили двинуться дальше, чтобы не быть застигнутыми ночью в снегах. Тут опять вышло затруднение. Уставший от путешествия по сугробам Н. А. Мартынов никак не может взобраться на свою лошадь. Я берусь ему помочь, но на меня находит припадок неудержимого смеха, при котором я совершенно не могу сделать нужного напряжения. Мой смех заражает пришедших было мне на помощь Сережу и проводника, раскаявшегося и нагнавшего нас у шалаша. Еле-еле все устроилось.

Было совсем темно, когда далеко внизу стали манить нас огни Абас-Тумана. Мы добрались до него глубокой ночью.

Во время путешествия по Кавказу мы имели несколько интересных встреч. В Сухуми нашли М. Е. Богданова, члена товарищества и редакции «Русских ведомостей», с которым в дальнейшем нашем пути почти не расставались.

В Тифлисе мы сошлись с художником Григорием Федоровичем Ярцевым и его товарищем по рисованию и спутником Булочкиным. Григорий Федорович был тогда в полосе увлечения живописью. Его картины (пейзажи маслом) имели успех на последней выставке, некоторые были куплены государыней; казалось, он нашел свое истинное призвание, работал без устали и с увлечением. Мы целой гурьбой — Ярцев, Булочкин, Мартынов, Сережа и я — стали ходить по Тифлису и его окраинам, рисуя с натуры живописные закоулки, кущи зелени, вьючных мулов с их корзинами и мальчишками-погонщиками, громадных буйволов, впряженных в неуклюжие двуколки, сцены майдана, берег Куры и товарные склады караван-сарая.

Обыкновенно вместе и обедали в обществе не рисовавшего Николая Васильевича Сперанского. Вечером вместе пили чай или в номере Николая Авенировича Мартынова, или в столовой гостиницы. К нам нередко вечером заходили товарищ Николая Васильевича князь Грузинский, постоянно живший в Тифлисе и рассказывавший много красочных историй из жизни края, и уроженка Кавказа, Нина Аветовна Джаншиева, сестра известного московского юриста и публициста, устроившая всей нашей компании очень занимательную и приятную прогулку в Телавский и Сигнахский уезды для ознакомления с виноградарством и виноделием, процветавшими в этой местности.

Иногда разговор приобретал такой интерес, что, несмотря на усталость от дневных экскурсий и раннего вставания, мы засиживались далеко за полночь. Раз как-то Григорий Федорович купил в газетном киоске томик

рассказов Всеволода Гаршина, что дало повод заговорить об этом писателе, от которого так много ожидали и который так трагически незадолго перед тем погиб. Николай Васильевич был в тот вечер в ударе. Он, разговорившись, сделал очень интересный анализ известного рассказа «Художники». Помнится, он кончил указанием на глубокую психологическую неизбежность для одного из героев рассказа бросить живопись при том направлении, какое приняли его настроения. «Не смог же Ярошенко,— иллюстрировал свою мысль Николай Васильевич,— в картине ,,Кочегар" передать всю сложность социальных отношений, воплощаемых в этом кочегаре». Николай Васильевич говорил так содержательно, что сидевшие за соседним столиком незнакомые нам посетители потихоньку придвинули свои стулья, чтобы не уронить чего-либо из беседы.

ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ 1889 ГОДА

Летом 1889 года мы — Н. В. Сперанский, Сережа и я — сделали свой первый выезд за границу. До Вены мы ехали с М. И. Берлинерблау, молодым врачом, женихом сестры Николая Васильевича, кончавшей тогда за границей медицинский факультет. Мы были в Вене даже на их бракосочетании, в русской церкви. Николай Васильевич и я — в качестве шаферов и свидетелей, Сережа единственной своей персоной исполнял роль молящейся публики.

М. И. Берлинерблау был сыном польского еврея, получил образование в русской гимна-

зии и Варшавском университете. Решив сделаться земским врачом, он отказался в пользу братьев от участия в отцовском, весьма солидном наследстве и всю жизнь действительно проработал в русской деревне, живя на скромное жалованье земского врача. Сначала супруги Берлинерблау служили в земской больнице в Бобровском уезде. Впоследствии М. И. Берлинерблау перевелся в Московскую губернию, куда губернское земство стягивало все выдающиеся силы. Многие годы он состоял старшим врачом соматической лечебницы при психиатрической больнице в Мещерском. Это был основательно медицински образованный земский врач, преданный своему делу, пользовавшийся большой популярностью у населения и авторитетом в земстве. «Очень нужный уж человек-то!» — сетовали крестьянки во время его болезни.

В Вене мы пробыли только несколько дней и осели затем на шесть недель в Лозанне, где стали брать уроки французского языка, делая время от времени прогулки по окрестностям.

Памятно мне восхождение на Dent du Midi *. Ночевки в пустынном шале на сухих ветках, заготовленных для топки на зиму. Особенно памятен спуск на следующий день. Лесник, встретившийся нам при спуске, предложил сделать тур по его участку, что задержало нас в горах, и ночь застигла нас на порядочной высоте и на очень крутом спуске. Посидев немного и дождавшись восхода луны, мы про-

* Dent du Midi (фр.) — пик (3260 м) в Альпах, к юго-востоку от Женевского озера, недалеко от впадения в него р. Роны. — *Ред.*

должали спуск при лунном освещении, предводительствуемые лесником. В рейтузах, с пером на шляпе и длинным альпенштоком в руках, длинноногий лесник, поражавший нас днем гигантскими шагами, шел теперь впереди всех очень медленно, перед каждым шагом нащупывая палкой, куда ставить ногу, и время от времени восклицая: «Attention!» * Мы шли за ним гуськом, с теми же предосторожностями, стараясь ступать так, чтобы из-под ноги не сорвался камень и не ушиб впереди идущих. Спуск поглощал все внимание, а между тем лунная ночь в горах, среди сосен была великолепна.

В Лозанне мы познакомились с Н. И. Жуковским, старым русским эмигрантом, другом Герцена. Мы стали с ним читать по истории французской революции. Он охотно и много рассказывал про старую эмиграцию и про Герцена, память которого высоко чтил. Раз как-то Жук (так звали его в эмигрантских кругах) в споре по какому-то политическому вопросу указал Герцену на невозможность осуществления какого-то его предложения. На это Герцен ответил: «История движется по диагонали. Чтобы диагональ эта получила желательное нам направление, мы должны изо всех сил тянуть в свою сторону!»

Прожив полтора месяца в Швейцарии, мы направились в Париж, где в том году была Всемирная выставка, приуроченная к празднованию столетия Великой французской революции. Со всего света нахлынувшая на выставку публика наводнила Париж. Сыновья Жуковско-

* Внимание *(фр.)*.— *Ред.*

го, студенты Ecole de Mines*, по просьбе отца с трудом нашли и задержали для нас комнаты в Notel de Mines, против их школы. Мы погрузились таким образом в Латинский квартал, средоточение ученого люда, студенчества, интеллигенции, где держались и русские эмигранты.

Гостиница наша занимала дом в 5 этажей, с витой лестницей, с каждой площадки которой шел коридорчик с 7—8 комнатами. Коридорчик был очень узок, чисто щель какая-то, в которой двум тучным людям было бы трудно разминуться. В комнатах имелись громадные двуспальные кровати с балдахинами и занавесками, совсем как на старых гравюрах. Ни коридор, ни лестница не освещались. Уходя из дома, следовало оставлять внизу у швейцара свою свечку. Вечером, при возвращении домой, в парадную дверь надо было стучаться привешенным к двери в виде ручки кольцом и кричать швейцару: «Cordon s'il vous plaît!»** Швейцар, не вставая с постели, дергал шнур, дверь отворялась, и мы проникали в совершенно темную переднюю. Зажегши спичку, надо было найти и засветить свою свечку и, перед тем как подниматься по лестнице, отчетливо назвать свою фамилию. В противном случае швейцар выскакивал из постели и в одном белье бросался вдогонку вошедшему, чтобы удостовериться, кого он впустил. Такой порядок был в большинстве домов в Париже в то время.

* Ecole de Mines *(фр.)*.— учебное заведение, готовившее специалистов геологического и горнорудного профиля. Отсюда и название гостиницы.— *Ред.*

** Cordon s'il vous plaît!*(фр.)*— отворите, пожалуйста! *Фр.* идиома; букв.: «Шнурок, пожалуйста!» — *Ред.*

Рано по утрам нас поднимали с постели пронзительные, нараспев, крики уличных продавцов всякой снеди. Днем их сменяли газетчики, выкрикивавшие названия последней, только что вышедшей газеты. Они в Париже выходят в разные часы на протяжении всего дня. Вечером и до поздней ночи раздавался хохот и песни бродивших по улицам студентов.

Утром мы обыкновенно пересекали пешком Люксембургский сад, с раннего утра кишевший играющей здесь детворой. Миновав затем Дворец и театр Одеон с его аркадами, под которыми любители чтения стоя перелистывают разложенные букинистами книги, мы устраивались пить кофе в Café Voltaire. Впоследствии, когда Николай Васильевич поселился в Париже, мы его там навещали, не раз обедая в этом простом, но уютном ресторанчике, вместе с Lefrançais * и супругами Ely Reclus **, слушая их рассказы о Парижской Коммуне и о старой Франции, тогда как за соседним столом публика, окончив обед, затевала на весь вечер игру в домино. Но в 1889 году мы спешили как можно больше осмотреть и за утренним кофе не рассиживались. Направляясь к центру, мы обыкновенно садились в омнибус, взбираясь наверх на империал ***, чтобы наблюдать уличное движение.

Мужчины помогают незнакомым дамам взойти. Если с дамой ребенок, или у нее цветок, или даже просто пакет в руках, это предлог, чтобы соседу завязать с ней разговор, конечно, совершенно незначащий, но как бы

* Г. Лефрансе.— *См. указ. в конце книги.— Ред.*

** Эли Реклю.— *См. указ.— Ред.*

*** Верхняя часть конки или омнибуса.— *Ред.*

обязательный, ради любезности. Среди громады теснящихся домов кучер ловко управляет четверкой и быстро продвигается со своим омнибусом по узким улицам, не задевая многочисленных, снующих во все стороны прохожих. Праздных людей не видно. Все, на вид по крайней мере, довольны.

Через несколько минут приезжаем на небольшую, погруженную среди высоких домов, как на дно колодца, площадь, на которую выходит неуклюжий фасад церкви St. Sulpice* с двумя круглыми, неравной высоты башнями. Среди публики много духовных лиц. На площади и в переулках, к ней примыкающих, роскошные магазины и скромные лавки, торгующие предметами культа. Меня поражает обилие бездарных, ярко раскрашенных статуй, исполняющих у католиков назначение икон. На стенах большие объявления о церковных службах и о продаже богослужебных предметов, совершенно сходные с афишами о театральных и цирковых зрелищах. Модернизм и в религии, которая в наш век, казалось, держится только по инерции. А в двух-трех шагах от этого иезуитского базара памятник Вольтеру, этому величайшему воспитаннику иезуитов и их злейшему врагу. Мировой город вмещает в себя самые жестокие противоречия.

Но вот мы на берегу Сены. Это парадный Париж. Париж средневековья и Париж последнего крика моды, в год выставки наводненный приезжими иностранцами. Набережная Сены,

* Церковь Сен-Сюльпис — одна из самых старых в Париже, неоднократно расширялась и перестраивалась. Современный облик обрела к середине XVIII в.— *Ред.*

Собор Парижской богоматери, Дворец юстиции, Луврский музей, большие Луврские магазины, величайшая притягательная сила для дам, Опера, Большие Бульвары, прекрасная площадь Согласия и красующиеся на ней здания, наконец Выставка и Эйфелева башня. Все это надо посетить, и не один раз. На это уходят все наши дни.

14 июля, годовщина падения Бастилии, национальный праздник, кульминация всех юбилейных революционных торжеств. Вечером город иллюминован. Все население от мала до велика высыпало на улицу. Женщины с грудными детьми. Отцы семейств с ребятами на руках, старики, старухи и маленькие дети, ну и, конечно, вся молодежь! Движение экипажей прекращено. Публика циркулирует по всему городу, любуясь иллюминацией. Тут же, посреди улицы, на мостовой танцуют. В вежливой, приветливой, веселой толпе нет давки, не слышно недовольного голоса. Ребенок мог один пробираться между взрослыми, и не было страшно, что его толкнут или задавят.

Мне кажется, что Париж в дни юбилейной выставки представлял собой нечто совершенно исключительное. Люди нашего поколения, думается мне, не имели другого случая видеть такое разлитое кругом, уверенное, испытанное и, казалось, прочное довольство. Целую нацию, беззаботно веселящуюся, не вспоминающую прошлых бед и не задумывающуюся о будущем. «В самом деле!— подводили тогда итоги газеты.— Разгром 1871 изжит. Колоссальная контрибуция, наложенная Бисмарком, покрыта полностью. Страна не разорена, но благоденствует, богата, как никог-

да. Великая революция была сто лет назад, и новой, к счастью, не предвидится».

Конечно, были признаки, которые давали повод для беспокойства. Германия, победившая 18 лет тому назад, получившая колоссальную контрибуцию и две цветущих провинции, отнюдь не казалась удовлетворенной и миролюбивой. С беспокойством наблюдая возрождение соседки, она недвусмысленно, завистливо бойкотировала выставку. В свою очередь, и в Париже на площади Согласия, у подножия статуй, олицетворявших отторгнутые провинции — Эльзас и Лотарингию,— свежие венки с траурными лентами свидетельствовали, что патриоты не могут примириться с этой потерей. Генерал Буланже, игравший долгое время в две руки и с радикалами и с монархистами и сошедший с политического горизонта лишь незадолго до открытия выставки, тоже свидетельствовал собой, что не так уж все в порядке во внутренних делах Франции.

На эти темы был у Николая Васильевича разговор с Лавровым, с которым свел нас Жуковский. Встреча состоялась в небольшой, домашнего типа столовой на Boulevard St. Michel*, где Лавров имел обыкновение обедать. Седой как лунь, в чесучовой паре, ветеран русской эмиграции, несмотря на многолетнее пребывание за границей, сохранил в неприкосновенности русский облик. Жуковский, державший себя, напротив, парижанином, помнится, в конце беседы патетическим жестом указал в открытое окно, где большими буквами написа-

* Самый известный из Больших Бульваров, пересекающих город с севера на юг.— *Ред.*

ны на противоположной стене слова: Liberté — Egalité — Fraternité *, и, как бы резюмируя разговор, воскликнул: «Свобода достигнута, братство — это увлечение революции, его нельзя добиваться политическими мерами, равенство стоит на очереди и из-за него будет борьба...»

Накануне отъезда из Парижа мы посетили в последний раз Notre Dame ** и взобрались на крышу собора, что надо сделать всякому, кто попадает в Париж. Мы очутились среди изваянных из камня средневековыми художниками чудовищ, выразительных чертей, задумчивых сов, невиданных животных со взорами, устремленными на лежащий внизу дивный город. Создание веков, он рос и возвышался стихийно, органически вмещая в себе отлично уживавшиеся рядом памятники глубокой старины и сооружения Нового времени — от Notre Dame до Tour d'Eifel ***. Живой организм высшего порядка с далеким прошлым и неведомым будущим. Произведенная при Наполеоне III реконструкция не стерла с него печати историчности. Разбросанные повсюду сооружения различных эпох дают какую-то перспективу в глубь времен. Кто в них разбирается, тот помимо восприятий красочных и пластичных ощущает город еще в его некоем четвертом измерении. Этого я нигде, кроме Парижа и Москвы, не встречал. В Риме между древним и новым миром был разрыв, отсюда развалины, Лондона я не видел. Прекрасная Вена сильно

* Свобода — Равенство — Братство *(фр.)*.— *Ред.*
** Собор Парижской богоматери *(фр.)*.— *Ред.*
*** От Собора Парижской богоматери до Эйфелевой башни *(фр.)*.— *Ред.*

обновлена. Париж открыл мне глаза на Москву.

Уезжая из Парижа, каждый мечтает еще сюда вернуться. Только последующие посещения дали мне понятие о многогранности Парижа.

Я знавал дам, ежегодно ездивших в Париж и бо́льшую часть времени проводивших в его блестящих магазинах и у модных портных. Другие мои знакомые, среди них даже французы, годы проведшие в Париже, ни разу не посетили эти места. Для нас же Париж всегда оставался привлекательным своей общественной и политической жизнью, научными учреждениями, музеями, галереями, выставками, театрами и концертами. Что же касается аттракционов вроде Moulin Rouge, Chat Noir * и проч., то должен признаться, что, сколько раз я ни бывал в Париже, мне ни разу не случалось попадать в эти кабаки. Не потому, чтобы я ими брезговал, а потому что в Париже всегда было так много глубоко волновавшего и интересного, что просто жаль было терять время на посещение этих увеселений, рассчитанных преимущественно на привлечение шалопаев со всего света.

ЭКЗАМЕН ЗРЕЛОСТИ

Курс средней школы был пройден. Николай Васильевич решил ехать за границу порабо-

* Мулен Руж («Красная мельница»), Ша нуар («Черный кот») — широко известные французские кабаре.— *Ред.*

тать в архивах и библиотеках над историей школы в Западной Европе, давно уже приковавшей к себе его внимание. Пять лет с лишним прожили мы вместе и близко сошлись. С отъездом Николая Васильевича у нас с ним постоянно происходил деятельный обмен письмами. Кроме того, мы периодически навещали его за границей. Ежегодно и он наезжал в Россию, останавливаясь всегда у нас. Во всех случаях жизни, и радостных и горестных, мы всегда твердо могли рассчитывать друг на друга.

С отъездом Николая Васильевича мы с Сережей остались одни в громадном арбатском доме. «Два брата с Арбата»,—иронизировал бывало Нинин муж над нами, а заодно и над московской привычкой обозначать людей по улице, на которой живут: Сабашниковы Арбатские, Никитские, Левшинские.

Для поступления в университет надо было сдать при какой-нибудь классической гимназии выпускной экзамен, так называемый экзамен зрелости. Экстерны, т. е. не учившиеся в гимназии лица, допускались к этим экзаменам лишь в виде исключения. Я, например, в гимназии был единственным экстерном. Округ относился к экстернам подозрительно. «Пусть они даже лучше гимназистов знают курс, мы-то их не знаем»,—рассуждали руководители народного просвещения. Приходилось поэтому смотреть в оба, чтобы не срезаться на каком-нибудь пустяке. Особенно надо было быть настороже с законом божиим, которого мы последние годы совсем не касались. Недостаточно было «на зубок» заучить Ветхий и Новый заветы, Катехизис, историю церкви,

надо было еще отвечать, выражаясь приличествующим предмету стилем.

Подготовить нас к экзамену закона божия взялся священник одного из московских соборов. Наш образованный и умный законоучитель пытался совместить, в сущности, несовместимое — быть на уровне либеральных веяний века и совершать карьеру священнослужителя в годы победоносцевской реакции! Занятия, впрочем, у нас наладились, случился только один характерный инцидент, чуть было не поведший к разрыву.

Надо сказать, что мы получали толстые журналы, в том числе и «Вестник Европы». В одном из номеров его появилась повесть Лескова «Полунощники», представлявшая слабо замаскированную сатиру на Иоанна Кронштадтского, его поклонниц и почитателей. Содержащий эту повесть журнал был подан почтальоном перед самым уроком закона божия. Не подозревая таившегося в книге яда, мы перелистывали ее, когда вошел батюшка. Красная обложка журнала сразу привела в кипение нашего законоучителя, уже успевшего познакомиться с рассказом Лескова и вообразившего, что мы нарочно выложили перед ним возмутительную книгу. Обозленный, он захотел перед уроком помолиться и только сейчас, после ряда проведенных уроков, заметил, что в классной комнате (о, ужас!) нет иконы! «Вы, может быть, и крестов на теле не носите?!» — риторически (как он думал) вопросил батюшка и получил ответ, что, действительно, не носим. Пошел дальнейший опрос: ходим ли мы к обедне, когда исповедовались, причащались и прочее? Весь урок прошел в наставлениях,

какие правила благочестия необходимо соблюдать. Мы посчитали дипломатические отношения окончательно прерванными, тем более, что не имели желания «ставить свечи», «вынимать просфоры» и производить другие обряды, предписанные рассерженным пастырем нашим.

Вечером, прочитав «Полунощников», которых батюшка в беседе с нами тактично совершенно не коснулся, мы поняли его обиду. На следующий день по нашей просьбе явился Е. Н. Щепкин и договорился с законоучителем, чтобы тот ограничился прохождением программы, не заботясь о спасении наших душ.

Экзамен зрелости был экзаменом не только учащихся, но и преподавателей. Начальство по результатам этих экзаменов судило о деятельности учителей и соответственно с этим продвигало их по службе, награждало и пр. Поэтому нервничали экзаменующиеся, но не менее их нервничали и экзаменующие. Обстановка еще усиливала общее напряжение. Письменные работы происходили в актовом зале. Чтобы ученики друг у друга не списывали, их размещали по отдельным столикам, расставленным в шахматном порядке, с широкими промежутками. В проходах ходили учителя. В уборную можно было выходить только поодиночке в сопровождении служителя. Задачи или темы для сочинения составлялись в округе и присылались в гимназию в запечатанных конвертах. Конверт торжественно вскрывался в присутствии всех перед началом экзамена. Таким образом, ни ученики, ни учителя не имели возможности знать, в чем будет состоять письменный экзамен. Недаром прошедшие в юности этот искус под старость признавались, что при

дурном настроении им снится экзамен зрелости.

Но как бы то ни было, этот этап был благополучно пройден, и перед нами открылись двери университета.

КАТИН РАЗВОД

В конце 80-х — начале 90-х годов Катя переживала тяжелую семейную драму.

У Александра Ивановича Барановского был странный характер. Чужие люди с недоумением называли его оригиналом, и такая репутация ему будто бы нравилась. Я не сомневаюсь, что в психике его был какой-то скрытый дефект, делавший его из года в год все более и более тяжелым в общежитии, а затем уже вскрывшийся недугом под влиянием личных и деловых неудач. Нужна была вся Катина находчивость, ее неисчерпаемый запас доброй воли, чтобы постоянно улаживать непрерывно возникавшие вокруг Александра Ивановича недоразумения и находить выходы из тех неловких положений, в какие он ставил и себя, и ее, и всех окружающих.

Катю все родные и друзья любили и потому щадили. Пока трения касались семейных или светских отношений, то, разводя руками да пожав плечами, близкие люди решали обыкновенно с Александром Ивановичем не считаться. Однако в сфере коммерческой такому благодушию был предел, тем более, когда дело касалось посторонних. Никто не хотел терпеть убытки «по милости Александра Ивановича». Цифры — упрямая вещь, и плохой

отчет не скрасишь никакими рассуждениями, в этом воспитательная сторона коммерческого дела. И в конце концов Александр Иванович и его брат натолкнулись на отпор компаньонов. Это был крах, поведший к неприязненным отношениям братьев со всеми заинтересованными в наших делах лицами.

Случилось так, что раздосадованный и разобиженный Александр Иванович очутился не у дел как раз тогда, когда Катя после ряда лет, отданных родам, болезням детей, стала налаживать начальное их обучение и развертывать энергичную деятельность в Суткове. Там были ею открыты две школы, больница, вводилось правильное лесное хозяйство, расширялась запашка, ставился сложный севооборот, расчищались и осушались луга, строился новый хутор, заводилось молочное хозяйство, производилась посадка фруктовых деревьев.

Рассеянный, как будто всего этого ранее не замечавший, Александр Иванович, очутившись теперь в полной праздности, стал вмешиваться во все Катины действия, производя своими вылазками сущий хаос во всех ее, как всегда, тщательно взвешенных и обдуманных распоряжениях. Все попытки договориться и держаться какого-либо общего курса были бесплодны. Александр Иванович не мог быть хоть сколько-нибудь последователен. Между супругами начались серьезные трения.

При нашей близости с Катей мы не могли остаться безучастными к развертывавшейся перед нами семейной драме. Мы долго лавировали и крепились, стараясь сохранить для себя общение с племянниками, но наконец сорвались, всякая дипломатия была прервана, и мы

стали в определенно враждебные отношения к братьям Барановским.

Это случилось под новый, 1889 год. Рождество мы по обыкновению проводили в Суткове у Кати. Там был и Александр Иванович. По утрам мужчины уходили на охоту, которая в ту зиму была разнообразна и удачна: лоси, волки и даже медведи. Домой возвращались уже в сумерки. Обедали, отдыхали, а затем вечером чистили ружья, набивали патроны, вообще снаряжались к следующему дню.

Но не проходило почти ни одного вечера, чтобы Александр Иванович не призывал нас к себе в кабинет, где мы находили Катю и где нам предлагалось выслушивать бесконечные устные, а иногда и заранее написанные порицания Кати. Осуждались все ее поступки — и большие и малые. Либеральный когда-то, Александр Иванович доходил при этом до того, что попрекал ее купеческим происхождением, не дающим ей стать на уровень требований мужа-дворянина. И тут же приводились цитаты из «Домостроя» попа Сильвестра о том, как надо учить жену уму-разуму. Мы не вступали в пререкания, но наше вызывающее молчание не оставляло места для каких-либо сомнений в нашем негодовании. Расходились не прощаясь, разгоряченные до белого каления. Надо было положить этому конец.

Между тем подошел вечер конца года. Дети легли спать. Их учительницы уединились в свои комнаты отдохнуть перед встречей Нового года. Катя ходила взад и вперед по залу. Мы тут же у камина перелистывали журналы. В столовой Лука звенел посудой, накрывая новогодний стол. Внешне все в доме

казалось обыденно спокойным, но внутри у всех, от прислуги до хозяев, скопился заряд величайшего нервного напряжения.

В зале показался Александр Иванович, держа в руках патронташ и охотничью сумку — вещи, купленные им в подарок нам к Новому году. Вскочив с места, я отвлек Александра Ивановича на несколько слов в соседнюю комнату.

— Во избежание скандала предупреждаю вас, что мы не примем от вас никаких подарков!

— Да почему же? — недоумевающе спросил он.

— Вы так мучаете нашу сестру, — был мой ответ. Я прибавил затем просьбу оставить нашу размолвку между нами и не обнаруживать ее перед детьми.

Вышло как-то по-детски. Сережа находил, что я был слишком лаконичен. Но я боялся не сдержаться и сказать лишнее. Впрочем, все было ясно. Можно себе представить, как мы встречали затем Новый год.

Супруги решили временно пожить врозь. Но это дало лишь небольшую передышку (лето 1889 и зима 1890 года). Заявляя о своем несогласии с постановкой, данной Катей воспитанию детей, и с ее хозяйственными распоряжениями по Суткову, Александр Иванович перевез детей сначала в Видренку — имение его брата, а затем во вновь купленное им имение Боклань. Нужно было совершенно не понимать Катю, чтобы допустить, что она примирится с создавшимся положением, отводившим ей роль супруги хозяина Боклани с разливанием супа за обедом и сидением за самоваром при чаепитиях, но без

всякой возможности влиять на строй жизни и на воспитание детей. Катя все же сделала попытку, поселившись в Боклани, остаться при детях и воспитывать их, как она считала правильным. Но это оказалось невозможным.

Тогда Катя решилась на шаг отчаянный по его, казалось бы, безусловной безнадежности, принимая во внимание разницу в сословном ее с мужем происхождении, зная хорошие личные связи братьев Барановских в Петербурге и учитывая господствовавшее при Александре III охранительное направление в отношении всех так называемых «устоев», семейных и религиозных в особенности. Катя подала в апреле 1890 года прошение в Комиссию прошений о выдаче ей отдельного от мужа вида на жительство со включением в него детей, т. е. о признании и урегулировании «разъезда» с предоставлением ей детей.

«Исключительное дело! В нем отсутствует обычная романическая или корыстная подкладка. Выходит разъезд по несходству характеров. Это может послужить опасным прецедентом!» — рассуждал один из чиновников Комиссии прошений. И тем не менее после расследования на местах, опроса многочисленных свидетелей, вызова и объяснения сторон ходатайство Кати было удовлетворено в феврале 1892 года, невзирая на вмешательство К. П. Победоносцева.

В марте 1892 года дети перевезены были в Москву, и мы опять зажили с Катей в арбатском доме.

Однако этим борьба не кончилась. Александр Иванович ходатайствовал в начале 1893 года о пересмотре дела. По высочайшему

повелению, дело было передано третейскому суду. Со стороны Кати был профессор А. И. Чупров, со стороны Александра Ивановича граф П. Гейден. Председателем был петербургский губернский предводитель дворянства граф А. А. Бобринский. Постановлением суда, получившим высочайшее утверждение в мае 1894 года, все было оставлено в том положении, какое было установлено высочайшим повелением 1892 года. Но суд потрудился дать целую регламентацию воспитания детей. По настоянию отца, старшие два сына должны были по достижении 14 лет поступить в училище правоведения, а для младших им был выбран впоследствии Лицей.

Теперь, когда браки заключаются и расторгаются без долгих раздумываний и с самыми незначительными формальностями, эта длительная, на ряд лет, борьба и сложная процедура должны особенно поражать. Это переносит нас во времена Александра III и Победоносцева, когда царь прославлялся преимущественно как образцовый семьянин, а обер-прокурор силился вернуть нас чуть ли не к «Домострою» попа Сильвестра. Но время брало свое, и как ни старались наши правители повернуть вспять ход жизни, они были порой вынуждены собственным своим авторитетом расторгать ими же налагаемые путы.

Переживать эту борьбу было нелегко. Она омрачила нам всем много месяцев на протяжении этих долго длившихся лет.

ЗИГЗАГИ ФЕДИ

С переездом в 1885 году в Петербург брат Федор перевелся в гимназию, а по окончании ее поступил в Петербургский университет. Во время возникших по какому-то случаю волнений он в числе других студентов был арестован. Егор Иванович Барановский (брат Катиного мужа), узнав об этом в Москве, поспешил использовать свои связи и добиться освобождения бывшего своего опекаемого.

Здесь было что-то фатальное. Что бы ни случилось, но всегда реакция у Сабашниковых и у Барановских была различна. Федор был освобожден лишь на несколько часов раньше главной массы своих товарищей, но он нашел, что поставлен перед ними в неловкое положение. Режим целесообразности тогда еще не был известен, и в создавшемся положении Федор совершил поступок, после которого Егору Ивановичу пришлось пожалеть о своем неосмотрительном заступничестве, а сам Федор не мог уже рассчитывать ни на оставление в Петербургском университете, ни на прием в какой-нибудь другой русский университет. Надо сказать, что ректором Петербургского университета был в то время профессор Владиславлев, известный своими трудами по философии. Незадолго перед тем он выступил с учением о влиянии и почитании, ставя их в зависимость от обладания материальной силой, в буржуазном обществе выражаемой доходами. Я не читал трудов Владиславлева, не берусь их излагать, да и не в них суть. Факт тот, что учение это в либеральной, по крайней мере, прессе было

встречено ожесточенной критикой. Так вот Федя при объяснении с кем-то из начальствующих лиц, издеваясь над теорией ректора, указал, что лишен возможности его уважать, ибо получает доход выше его. Здесь уже ничего не оставалось делать, как собрать свои манатки и ехать кончать образование за границу, благо правительство не препятствовало...

Не знаю почему, Федя выбрал Боннский университет. Здесь он сошелся с другим студентом, итальянцем Пиуматти, родом из Турина. Оба молодых человека стали усиленно изучать историю искусства, эпоху Возрождения, в частности Леонардо да Винчи. Занятия навели их на мысль предпринять издание рукописей гениального художника и мыслителя. Это ответственное, трудное и большого размаха предприятие одно время всецело захватило молодых людей. Вскоре после Парижской выставки 1889 года они оба перебираются в Париж. Федор снял квартиру и стал печатать свое издание, встреченное научным и литературным миром с величайшим одобрением.

Дело в Париже, однако, не ограничилось одной только работой над изданием. Современный Вавилон не обошел своими соблазнами залетевшего в него впечатлительного и одинокого Федора, к тому же располагавшего, как ему должно было казаться первое время, почти неограниченными материальными ресурсами.

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Брат Сережа в 1893 году зачислился первоначально на юридический факультет, где



М. А. Мензбир

пробыл только один год, перейдя со второго курса на физико-математический. Здесь он сосредоточился на химии, работая у Н. Д. Зелинского. Из впечатлений его от кратковременного пребывания на юридическом факультете хочется отметить, что весьма требовательный и не склонный к снисходительности в своих оценках, Сережа с большой похвалой отзывался о курсе профессора Боголепова и его отношении к слушателям. Приходится думать, что жизнь Боголепова прошла бы счастливо для него лично и с большой пользой для русского просвещения и он оставил бы по себе лучшую память, если бы не покинул профессорской деятельности ради административной.

Что касается меня, то в 1892 году я сразу зачислился на физико-математический факультет по естественному отделению, выбрав своей специальностью биологию. Назову профессоров, которых слушал: Зернов — анатомия человека, Анучин — антропология, Мороховец — физиология (Сеченов читал медикам старшего курса), Тимирязев — анатомия и физиология растений, Мензбир — сравнительная анатомия позвоночных, Павлов — геология и палеонтология, Сабанеев и Зелинский — химия неорганическая и органическая, Вернадский — минералогия и кристаллография и др.

Из названных профессоров только один Зернов выпустил в свет свой курс. Записки Вернадского впервые выпускались студентом нашего курса, многообещавшим Клушенцевым, к сожалению, скончавшимся до окончания университета. Да Столетов выпустил конспект по свету, которым мы пользовались при сдаче экзаменов. В остальном приходилось доволь-

М. Мензбир

ТАЙНА ВЕЛИКОГО ОКЕАНА



ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ

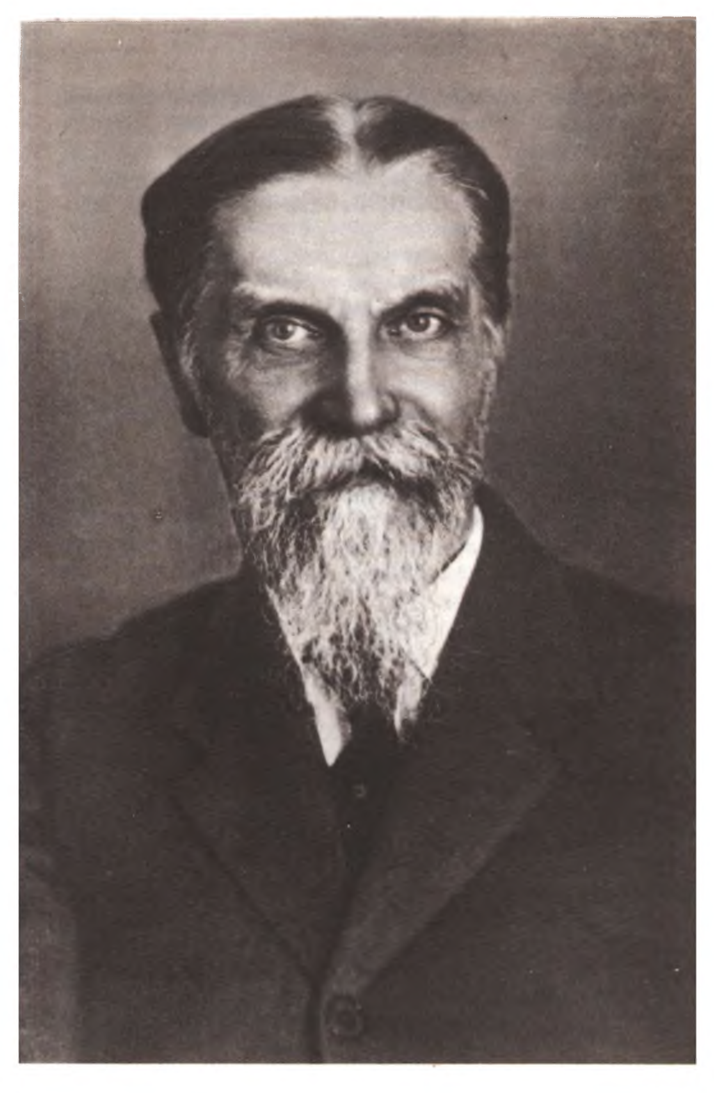
М. А. Мензбир.
Тайна Великого океана.
1922

ствоваться собственными записями в тетрадях да книгами, иногда по объему и содержанию далеко не отвечавшими нашим потребностям. Говорили, что некоторые профессора невыпуск ими курсов мотивируют желанием заставить студентов посещать их лекции.

Биологи в Московском университете в ту пору распадались на два враждующих лагеря, как тогда обозначали,— на либералов и консерваторов. В лагере прогрессивном наиболее яркими личностями были профессора К. А. Тимирязев и М. А. Мензбир, убежденные и последовательные дарвинисты. Мензбир возглавлял кабинет сравнительной анатомии. С ним связаны были получившие впоследствии известность В. Н. Львов, П. П. Сушкин (позднее академик), А. Н. Северцев (тоже), Н. К. Кольцов.

Консерваторы, «макаки», как их задолго до нас прозвали в университете, ютились при Зоологическом музее, директором которого состоял престарелый А. Богданов. Он постоянно в то время хворал, манкировал лекциями и редко заглядывал в музей, в котором работали преимущественно его ученики — профессора Зограф и Тихомиров. Впоследствии они покинули университет ради административной карьеры. С ними отлетел от музея реакционный дух.

Для выпускной зачетной работы я выбрал, по совету В. Н. Львова, микроскопическое исследование процесса сокращения числа хроматиновых элементов при созревании яиц у аскариды. Отбыв химические и прочие зачеты и выписав себе через университетского комиссионера микроскоп Цейса с иммерсионной системой, я засел в кабинете сравнительной



К. А. Тимирязев

анатомии за свою работу с большим увлечением, уйдя в нее, как говорится, по уши. Хромосомы даже снились мне во сне. Целые дни из месяца в месяц просиживал я в кабинете сравнительной анатомии, обрабатывая препараты, приготовляя бесчисленное количество срезов, обследуя и зарисовывая их под микроскопом, сопоставляя между собой отдельные картины разрезов и комбинируя по ним последовательные стадии ядерного деления. Попутно приходилось, конечно, читать в научных журналах (преимущественно в немецких) чужие аналогичные работы над той же аскаридой и над другими объектами.

Кабинет сравнительной анатомии помещался в то время в старом — по преданию, самом старом — из университетских зданий. Здание это было снесено при постройке ныне существующих на Никитской улице корпусов Зоологического музея и Ботанического кабинета. Вход был со двора. Помещение в нижнем этаже, тесное, с небольшими, как строили в старину, окнами, невысокими потолками и голландскими печами, по ветхости своей имевшими склонность дымить. Верхний этаж (бельэтаж) был занят кабинетом искусств. Директор его, профессор Цветаев, уже тогда постоянно выписывал из-за границы и расставлял в своем кабинете гипсовые слепки статуй и архитектурных деталей, давая этим начало Музею изящных искусств еще задолго до его учреждения. Перегрузка верхнего этажа гипсами часто служила поводом для шуток занимавшихся в кабинете сравнительной анатомии, что нам суждено быть раздавленными Венерами и Аполлонами. Когда прибывали подводы с новыми ящиками

этих ценностей, Мензбир как хранитель тоже ценных, зоологических, коллекций обращался к ректору, профессору Зернову с предупреждением, снимая с себя ответственность за судьбу «вверенного ему научного имущества».

Вспоминая о кабинете сравнительной анатомии того времени, нельзя не упомянуть о кабинетском служителе, солдате, одноглазом Прохоре. Инвалид войны и георгиевский кавалер, Прохор уже давно утратил всякий намек на молодцеватость, обрюзг и опустился, страдал запоем. При всем том работу свою, нельзя сказать, чтобы легкую, он выполнял исправно, когда был трезв, конечно. При запое же выбывал из строя. Непреодолимое стремление к спиртному овладевало им, и, окруженный в кабинете спиртовыми препаратами, он не мог удержаться, чтобы не хлебнуть соблазнительной влаги. Жена Прохора брала белье в стирку, как, впрочем, большинство жен университетских служителей. Сушить белье Прохор вздумал в кабинете, развешивая его на ночь на расставленных в кабинете скелетах. Мензбир, как-то придя в кабинет ночью, нашел скелеты одетыми в белье, как в саваны.

Одновременно со мной в кабинете работали П. П. Сушкин над скелетом какой-то птицы, мой однокурсник Шелапутин над развитием скелета рыб и С. Усов, сын профессора Усова, курсом моложе меня. В соседней комнате занимались Н. К. Кольцов и В. Н. Львов. Случалось, что кто-нибудь из работающих желал выпрямить спину или просто отдохнуть и отвлечься от своего объекта; чаще всего словоохотливый Сушкин, прерывая господствующую тишину, выскажет, обращаясь к В. Н. Львову,

какое-нибудь соображение по поводу прочитанной книги или журнальной статьи или поделится своими наблюдениями. Незаметно завяжется разговор, на который выйдет из своей комнатушки и сам Мензбир. Он был необщителен и в обращении сумрачен. Тем более ценилось его вступление в общую беседу. Все мы знали объективные условия, делавшие его замкнутым, и каждый из нас если не на самом себе, то на его возне с Прохором имел случай убедиться в его сердечности. Немного, в самом деле, нашлось бы в университете профессоров, которые согласились бы терпеть такого инвалида у себя на службе. Эти самопроизвольные беседы представляли иногда захватывающий интерес.

В те годы в биологии происходила как бы ревизия Дарвина. Казалось, заколебались основные понятия биологии. Пересматривалось незыблемое, со времен Линнея, представление о виде. Самая смерть, этот непременный, казалось, спутник жизни, рассматривалась Вейсманом как некоторое «достижение», как «приспособление» (!) многоклеточных организмов, вовсе не присущее всякой жизни неизбежно, ибо одноклеточные существа бессмертны. Тогда же найдены были на Яве останки питекантропа. Это движение не могло получить отражения в нормальных курсах, которые нам читались. Мы узнавали о нем и следили за ним в кабинете сравнительной анатомии по получавшимся там иностранным журналам и книгам, на которые нам указывали М. А. Мензбир и В. Н. Львов. Кирпичного цвета обложки издательства Фишер в Иене, печатавшего большинство этих работ, и теперь возбуждают во мне по старой памяти приятное волнение.

О питекантропе и Мензбир, и Анучин сделали по нашей просьбе особое сообщение.

Много мне помог также специальный курс сравнительной эмбриологии, читавшийся В. Н. Львовым, как говорят, privatissime*. При ограниченном числе слушателей, которых можно было пересчитать по пальцам, занятия эти получили характер не столько лекций, сколько бесед, ведшихся очень живо и непринужденно.

К воспоминаниям о кабинете прибавлю два слова о субботах у В. Н. Львова. Он жил в здании университета и по вечерам в субботу принимал у себя, приглашая на чашку чая. Собирались у него преимущественно все те же лица из кабинета сравнительной анатомии. Но здесь разговор уже не ограничивался биологическими темами. Вечно больной и едва находящий в себе силы преодолевать пожирающий его туберкулез, Василий Николаевич Львов, как и его жена, Надежда Николаевна, при всем том никогда не теряли бодрости духа. За всем следили, всем интересовались, проявляя всегда величайшее внимание ко всем волнениям и переживаниям своих друзей. Оба любили музыку, которая в те годы общественного застоя играла в развлечениях московского общества, пожалуй, первенствующую роль. Хотя Василий Николаевич по болезни и не посещал концертов, но он еще во время пребывания своего за границей имел возможность переслушать заезжавших к нам исполнителей и хорошо знал классическую музыку. Гости его, посещавшие концерты, всегда имели о чем перекинуться с ним впечатлениями. То же можно сказать и о

* Здесь: факультативно.— *Ред.*

художественных выставках, и о литературных явлениях.

В заключение с благодарностью упомяну, что по настоянию и инициативе М. А. Мензбира моя работа об аскариде была переведена на немецкий язык и издана в № 1 «Bulletin de la Societé Imperial des Naturalistes de Moscou» *. Без заботливого участия Михаила Александровича Мензбира я бы никогда не подвинулся на то, чтобы выступить в печати.

По окончании мной университета благодаря издательству нашему мне приходилось постоянно общаться с Михаилом Александровичем и Василием Николаевичем, равно как и с К. А. Тимирязевым.

При вступлении моем в университет мне, как и прочим студентам, пришлось подписать заготовленное канцелярией университета заявление, что я не состою в нелегальных обществах или землячествах и обязуюсь впредь в таковые не вступать. Не думаю, чтобы такая вынужденная подписка могла кого-нибудь удержать. Я, во всяком случае, не считал себя ею связанным. Тем не менее в те годы мои интересы были направлены не на политическую борьбу. В землячествах я не состоял, но на устраивавшиеся ими от времени до времени вечеринки хаживал.

За годы студенчества я оказался прикосновенен, насколько помню, лишь к одному замешательству. Состоялась сходка в химической аудитории. Полиция оцепила здание университета. Она студентов выпустила, но переписала тех, кто выходил последними, очевидно считая

* Бюллетень московского общества натуралистов.— *Ред.*

Письмо К. А. Тимирязева М. В. Сабашникову.
Автограф

их наиболее упорными. Некоторые были затем исключены, другие отделались выговором правления (в том числе и я). С нашего курса исключены были три студента Тульского землячества, в том числе Руднев, Смидович. Они уехали за границу кончать образование, получая стипендии от нашего курса. Большинство моих однокурсников ни в общественной, ни в политической борьбе не участвовали. Талантливый Арсеньев после физико-математического окончил медицинский факультет и пошел работать врачом в деревню. Во время революции, как я слышал, он был врачом Яснополянской больницы. Другие пошли по научной или педагогической деятельности: С. Г. Григорьев, Зернов, В. Ф. Капелькин, Федченко, А. С. Усов, С. С. Усов и др.

С университетскими товарищами меня связывала общность научных интересов, принадлежность к сторонникам дарвинизма.

Среди дарвинистов наблюдается иногда тенденция применять учение Дарвина упрощенно к толкованию явлений эволюции человеческого общества. Известно, что некоторые авторы при этом доходили до проповедования эгоизма, культа силы, войны, оправдывания смертной казни, наконец, как фактора отбора. Среди московских дарвинистов, моих товарищей и учителей, мне не приходилось встречать ничего подобного. Для нас казалось бесспорным, что гуманные начала и чувство солидарности, возникающие в обществе, требуя от его членов самопожертвования в пользу коллектива, увеличивают жизнеспособность общества, обеспечивая ему победу над обществом, не развивающим в себе этих доблестей.

СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

3—11 января 1894 года в Москве состоялся съезд естествоиспытателей и врачей. «Праздник русской науки» — так назвал его в своей речи К. А. Тимирязев. Как сейчас, слышу его голос, выкрикивающий эти слова, делая два ударения на слове «на́у́ки». Заседания секций были разбросаны по всему городу. Общие же собрания происходили в Большом зале Благородного собрания, как тогда назывался нынешний Дом Союзов. И, действительно, истинным праздником было видеть цвет наших ученых в этом изумительном по простоте и изяществу зале, на хорах и между колоннами которого, казалось, еще витали звуки вдохновенной игры Антона Рубинштейна или симфонического оркестра.

Климент Аркадьевич был в громадном подъеме. Во фраке и белом галстуке он встречал почетных гостей. Великой княгине Елизавете Федоровне, явившейся на съезд с супругом, великим князем Сергеем Александровичем, бывшим московским генерал-губернатором, был преподнесен букет белых цветов. Пришедшего на съезд в толстовке Льва Николаевича Толстого Тимирязев встретил на лестнице и проводил на места у эстрады. Публика при этом так стеснилась вокруг Льва Николаевича, что Климент Аркадьевич, завидев меня, просил устроить вокруг Толстого цепь из студентов, чтобы предохранить его от давки.

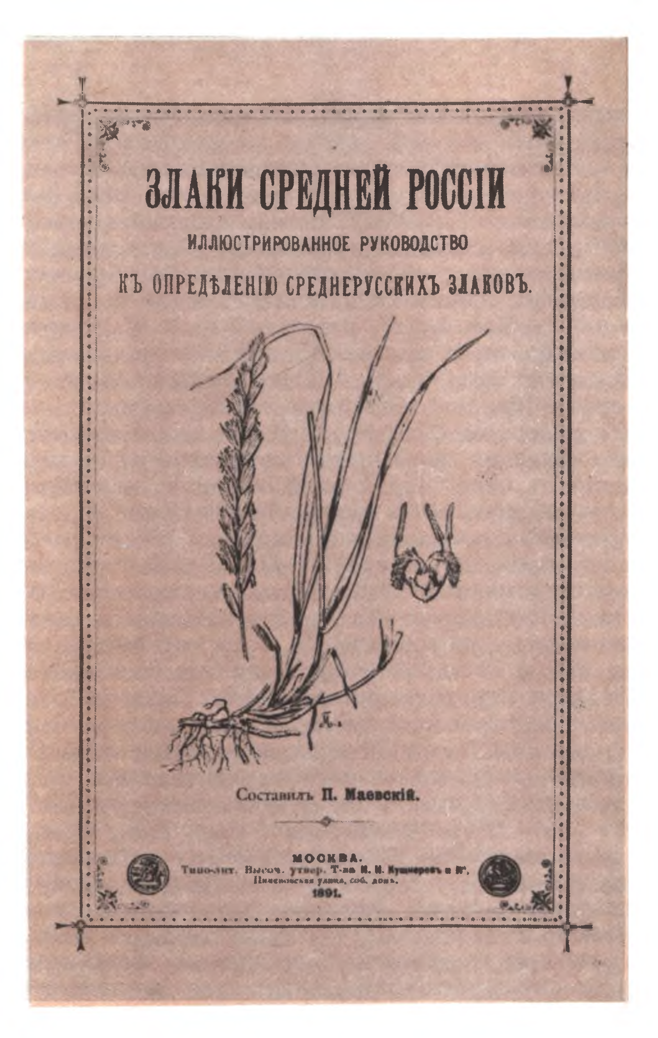
Каково было бы замешательство почтенного собрания ученых, если бы им, хотя бы на мгновенье, было дано проникнуть в будущее: предстоявшее отлучение Толстого, убийство великого князя, посещение великой княгиней Каляева в тюрьме, памятник на бульваре Тимирязеву!

Из сообщений, бывших на съезде, меня больше всего заинтересовали доклад Виноградского о нитрофицирующих микробах почвы, речь Умова по физике и речь Чупрова по статистике.

ПЕРВЫЕ НАШИ ИЗДАНИЯ

В университетские годы начали мы с братом Сережей свою издательскую деятельность. Собственно, начало ее надо отнести к весне 1889 года, когда мы перед отъездом за границу сговорились с Петром Феликсовичем Маевским о создании первого оригинального русского определителя растений.

Я уже говорил, что мы с П. Ф. Маевским много ботанизировали. Мы пользовались при этом для определения растений «Определителем среднегерманской флоры» Пестеля. Русский перевод этой книги был едва ли не единственным в то время пособием для определения растений. Само собой, при разнице в видовом составе среднегерманской и русской флоры Пестель не мог удовлетворить элементарным требованиям, предъявляемым к определителю. Многих встречающихся у нас форм у Пестеля совершенно не было, и, наоборот, книга эта изобиловала ненужными для русского натура-



ЗЛАКИ СРЕДНЕЙ РОССІИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО

КЪ ОПРЕДѢЛЕНІЮ СРЕДНЕРУССКИХЪ ЗЛАКОВЪ.

Составилъ **П. Маевскій.**

МОСКВА.
Типо-лит. Высоч. утвер. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°,
Пименовская улица, соб. домъ.
1891.

П. Ф. Маевский. Злаки Средней России.
Первое издание М. и С. Сабашниковых.
1891

листа описаниями форм, в России не встречающихся.

Маевский казался человеком, как будто предназначенным для составления русского определителя. Глубокий знаток русской флоры, он только что закончил редактирование посмертного издания «Флоры Московской губернии» Кауфмана. Обычный и, пожалуй, единственный в то время путь, открытый для русского ученого,— путь профессорской кафедры, перед Маевским был закрыт. Петр Феликсович был горбат. При постоянных перебоях сердца, страдая одышкой, быстро утомляясь при движении или волнении, он был не в состоянии не только прочесть перед аудиторией обычную двухчасовую лекцию, но и вообще длительное время держаться на народе. Кабинетная работа ученого, писателя, которую можно было выполнять в домашней обстановке, в полном спокойствии, соблюдая все предписывавшиеся ему врачами предосторожности,— вот что ему было по силам. Мы и предложили ему составить большой определитель растений. Такая работа при авансировании гонорара и при крайней скромности Петра Феликсовича вполне обеспечивала его на время писания, обещая при том кое-что в будущем в случае удачи предприятия.

Но Петр Феликсович был щепетилен, горд, самолюбив. В его глазах мы с Сережей все еще были юнцами, не знающими ни жизни, ни цены деньгам. Здоровье же его было настолько ненадежным, что авансирование гонорара представлялось ему делом большого риска. Убедить его пойти на такое соглашение смог только Н. В. Сперанский. При этом для успокоения совестливого Петра Феликсовича

сестра Катя приняла на себя материальную ответственность за сделку, так как Петр Феликсович упорно стеснялся вступить в денежные отношения со своими учениками, каковыми он нас продолжал считать. После долгих переговоров все было улажено, и, когда мы в 1889 году уехали за границу, Петр Феликсович поехал к нам в Костино, где ему предоставили восточный флигель нашей усадьбы. В главном доме поселился Н. А. Мартынов с семьей. Так, с весны 1889 года двухэтажный флигель пошел под ученую братию, до самой революции непрерывно служа как бы домом отдыха, употребляя теперешнюю терминологию, ученых и учащих.

В нем П. Ф. Маевский написал свой определитель, Н. А. Мартынов составил свой учебник рисования, В. Н. Львов подготовил к печати учебник зоологии и проредактировал не одну книгу из издававшейся нами «Серии учебников по биологии», Н. В. Сперанский закончил «Очерки по истории народной школы в Западной Европе», подготовленные им за границей, Е. Е. Якушкин перевел книгу Гильдербрандта «О преподавании родного языка в школе».

Надо сказать, обстоятельства благоприятствовали нашему первому издательскому начинанию. Профессор математики Московского университета Цингер, ботаник-любитель, предпринял в то время достойный любителя труд проверки описания растений, ранее найденных в России. Он проверил эти описания по многочисленным гербариям, хранившимся в разных учреждениях и у частных лиц, откликнувшихся на его призыв и предоставивших ему свои коллекции для обозрения. Для своей книги

Петр Феликсович мог воспользоваться, кроме собственных наблюдений, и результатами обследования профессора Цингера. Новый определитель, таким образом, был совершенно свободен от традиционных, перепечатывающихся от автора к автору, не всегда точных описаний.

«Флора Средней России» вышла с обозначением на обложке: «Издание Е. В. Барановской» и была встречена очень сочувственно. Успех этой книги, потребовавшей ряда переизданий, отзывы последующих редакторов — Н. В. Цингера (сына), С. Коржинского, Д. Литвинова, наконец, опыт многочисленных друзей среди любителей, преподавателей, студентов и вообще учащихся, пользовавшихся книгой Маевского на протяжении многих лет, показал, что труд свой он выполнил безукоризненно. Последующие неудачные определители Петунникова, а затем Федченко могли только поднять репутацию определителя Маевского, который и до сих пор остается непревзойденным.

Кроме «Флоры Средней России», мы еще выпустили следующие книги П. Ф. Маевского: «Злаки Средней России», «Весенняя флора», «Осенняя флора», «Ключ к определению деревьев по их листьям». Затем стали выходить «Птицы России» профессора М. А. Мензбира и под редакцией В. Н. Львова — целая библиотека по биологии под названием «Серия учебников по биологии». После смерти Н. С. Тихонравова мы выпустили собрание его сочинений в четырех томах.

Само собой разумеется, у нас стали выходить труды Н. В. Сперанского по истории школы в Западной Европе, над которыми он

работал в течение ряда лет частью в Германии, но преимущественно в Париже. «Очерки по истории народной школы в Западной Европе» (1896 г.) сразу поставили Н. В. Сперанского в число наиболее видных специалистов-исследователей по истории просвещения, и шла тогда речь о предоставлении ему за них докторского звания.

К сожалению, мы в то время были еще слишком неопытными издателями (кстати, и эту книгу мы выпустили без указания своей фирмы) и не озаботились тем, чтобы книга была переведена и издана за границей. У нас слишком мало лиц работало в избранной Николаем Васильевичем области, и его книга не возымела того значения, какое она бы получила за границей, будь она доступна по языку тамошним исследователям.

КОНЧИНА П. Ф. МАЕВСКОГО

О. А. Сперанская передала мне некоторые сохранившиеся у нее письма, среди которых оказались три письма П. Ф. Маевского к Н. В. Сперанскому. Они живо напомнили то время, и мне хочется добавить еще несколько слов о Петре Феликсовиче. За время печатания «Флоры» мы очень с ним сошлись. Я бывал у него чуть ли не каждый день, благо Маевские жили тогда совсем близко, в доме И. С. Остроухова по Трубниковскому переулку, в той самой квартире, которую впоследствии снимали Якушкины. При разносторонности, живости, общительности и, я бы сказал, чисто польской

экспансивности Петра Феликсовича беседы с ним всегда бывали интересны. Однако здоровье его заметно ухудшалось. Упадок сердечной деятельности заставлял его постоянно прибегать к дигиталису. Ноги опухали. Открылась водянка. Пришлось держаться исключительно молочной диеты. Петр Феликсович все чаще и чаще стал говорить о приближении смерти, прибавляя, что только силою воли удерживает себя в живых.

Застав его как-то в особенно удрученном состоянии и желая отвлечь от мрачных мыслей, я заговорил о новом издании «Весенней флоры» и об открытии целой серии маленьких «наблюдателей природы» под его редакцией. Сказав сначала, что он уже не только не работник, но и не жилец на этом свете, Петр Феликсович все же постепенно втянулся в обсуждение нового издания, стал даже записывать предполагаемые темы отдельных выпусков и авторов, которых надо привлечь. Когда же я собрался уходить, Петр Феликсович неожиданно притянул меня к себе, обнял, поцеловал и сказал, что своими разговорами я влил ему немножечко надежды, без которой нет сил бороться за жизнь...

Но когда под вечер следующего дня я пришел с французским томиком «Свободы» Миля, который Петр Феликсович просил дать ему перечитать, то нашел дверь квартиры открытой: Петр Феликсович лежал на столе, под белой простыней, священник с причетником готовились служить панихиду. Елизавета Адольфовна, вдова Петра Феликсовича, сквозь слезы сказала мне, что, когда ему стало очень плохо, она предложила послать за священни-

ком. Но он отвернулся к стене со словами: «Значит, ты потеряла совсем надежду. Как же мне бороться за жизнь!»

Из писем П. Ф. Маевского к Н. В. Сперанскому:

1891 г.

...Вчера был у меня Сергей Васильевич. Сильно вырос, возмужал и, кажется мне, окреп, хотя и похудел.

С Михаилом Васильевичем я виделся давно. Строй его ума и характер мыслей чаруют меня. О сердечности его и говорить нечего. Он относится ко мне, точно родной. Только заикнулся о Маколее и уже на другое утро был завален томами.

Какое спасибо Вам, что назвали мне Маколея для кормления моих похудалых мозгов. Благодарить ли за то, что спасаете меня от смерти или безумия. Страшно подумать, что было бы со мной, если бы я не был обязан спешно работать. От голодных не только больно, от них стыдно.

19/I. 1892 г.

...Ведь ужасно хоронить в себе свои знания. Я, по крайней мере, хотел бы о своих трещать сорокою. Ну разве не больно сознавать, что я лишь один в мире знаю, как красиво, умно построен арбуз (говорю не шутя).

БИБЛИОТЕКА Н. С. ТИХОНРАВОВА

Последние годы жизни Николай Саввич Тихонравов жил в небольшом флигеле нашем по Малому Песковскому переулку*, сохранившемуся в неприкосновенности до наших дней. После кончины Николая Саввича осталась большая библиотека печатных и старопечатных книг и рукописей. Единственной наследницей его была вдова, психически больная, над которой учреждена была опека в лице учеников покойного — С. О. Долгова и Соколова. Для содержания опекаемой они должны были реализовать единственную оставшуюся после покойного ценность — библиотеку. Для учеников Николая Саввича, знавших, как много положил покойный забот и труда, чтобы собрать свою книжную и рукописную коллекцию, и ценивших это собрание как незаменимое пособие при изучении истории русской литературы и культуры, возникла забота о том, чтобы не дать разрознить библиотеку и передать ее в какое-нибудь государственное или общественное книгохранилище. Мы с Сережей решили купить библиотеку и передать ее в Румянцевский музей, с тем чтобы она хранилась обособленно в рукописном отделении, как того хотел покойный академик. Библиотека была нами приобретена за 10 000 руб. и передана музею на указанных основаниях.

Мне припоминается бывший при этом случай почти анекдотического характера.

* Малый Николопесковский пер.— *Ред.*

П. МАЕВСКИЙ

ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАСТЕНИЙ

12-е издание,
под редакцией
проф. В. В. АЛЕХИНА

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „СЕВЕР"
Москва—1934

П. Ф. Маевский.
Весенняя флора.
Последнее издание М. В. Сабашникова.
1934

В. Е. Якушкин был один из самых близких учеников Николая Саввича, и в заботах по спасению библиотеки от распродажи в розницу он вместе с М. Н. Сперанским проявил больше всех активности. Много лет раньше, чуть ли не во времена своего студенчества, Якушкин по случаю какого-то литературного разговора принес Тихонравову из библиотеки своего отца редчайший экземпляр книги — если память мне не изменяет, первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Время шло, Николай Саввич книги сам не возвращал, а Вячеслав Евгеньевич из деликатности не решался напоминать. Но вот между учеником и учителем разгорелся спор, в пылу которого Николай Саввич в подтверждение своих слов взял с полки «зачитанную» им книгу Радищева и показал Якушкину какое-то место текста. Казалось, за этим надо было ждать возвращения книги ее прежнему владельцу, который уже начал было говорить о том, как для него ценна эта книга из родовой библиотеки. Не тут-то было. «Редчайшая книга! Я очень счастлив иметь ее у себя на полке!» — сказал Николай Саввич и водворил книгу на место.

Когда после смерти Тихонравова библиотека его передавалась Румянцевскому музею, Сережа предложил Якушкину вернуть ему его Радищева. Но Вячеслав Евгеньевич не захотел этого, тем более что все собрание поступало в музей, «на благо просвещения», как гласила надпись на здании.

НЕУРОЖАЙ 1891 ГОДА

Лето 1891 года было засушливое. Яровые в степной полосе совершенно погибли. Озимые дали ничтожные сборы. В Костине все лето шли лесные пожары. Пахло гарью. Солнце казалось красным потухающим диском. В Москве на бульварах и в садах листья деревьев преждевременно пожелтели и осыпались. В газетах стали появляться тревожные сообщения о неурожае. В земствах заговорили о предстоящем голоде. Худые вести приходили и от друзей и знакомых, разбросанных в разных захолустьях нашей необъятной равнины. В то время как на местах начинало, видимо, лихорадить и молекулярные силы искали способов мобилизоваться для борьбы с надвигающимся бедствием голода, центральная нервная система страны продолжала пребывать в каком-то безучастном оцепенении. Правительство на всякие представления об организации помощи, нехотя признавая «недород», открещивалось от неурожая со всеми связанными с этим последствиями. Осенью на местах по частному почину стали создаваться бесплатные столовые. Редакции газет открыли сбор пожертвований. В Москве и Петербурге образовались кружки помощи голодающим. В ноябре Л. Н. Толстой поместил в «Русских ведомостях» письмо с призывом организовать помощь. В Нижнем В. Г. Короленко развил зимой большую деятельность в этом направлении.

Мы с Сережей решили принять участие в организации помощи голодающим.

Но по тогдашним законам, мы оба, не достигшие еще совершеннолетия, не имели права распоряжаться своими средствами помимо попечительницы нашей — сестры Кати, на которую и падала ответственность за правильное расходование средств. Если бы мы сделали пожертвование в пользу голодающих какому-нибудь правительственному или официальному учреждению, то, конечно, никаких затруднений не могло бы возникнуть. Но мы намеревались действовать самолично или через организации и лица, едва правительством терпимые и находящиеся под сильным подозрением в политическом отношении. Е. Н. Щепкин, в силу наших отношений посвященный нами в наши планы, указывал: «Вас лично, конечно, не тронут, но опеку на имущество наложить могут». Ни себя подвергать этому риску, ни Катю подводить под ответственность мы не хотели. Поэтому мы написали Кате в деревню и стали ждать ее приезда в Москву, чтобы решить, как поступить. Тем временем запросили Н. В. Сперанского в Париже, его мнение.

Мне отчетливо вспоминается наше обсуждение этого дела с Катей и Е. Н. Щепкиным в день ее приезда в Москву в ноябре 1891 года. Разговор затянулся до позднего времени. Уже заполночь раздался звонок в парадной. Все были дома налицо. Звонить так поздно было некому. Наш служитель Василий давно спит, я спешу открыть дверь. Впускаю двух незнакомцев, которые, не снимая пальто, поднимаются со мной в комнату, где мы совещались. Они только на минутку. Один высокий, в длинном, заграничного покроя пальто с поясом, другой приземистый, в коротеньком пальто, в пенсне,

постоянно соскакивающем с носа. Назвавшись и извинившись за столь позднее посещение, они объяснили, что утром уезжают на голод и перед отъездом зашли передать нам некоторые сведения, касающиеся этого дела, могущие быть полезными ввиду нашего намерения принять участие в борьбе с бедствием. Сделав свое сообщение, ночные гости поспешили удалиться.

«Вот видите,— возобновил прерванную беседу Е. Н. Щепкин.— Вы только еще раздумываете, а незнакомые люди уже считаются с вами как с признанными своими товарищами в общей работе. А вы воображаете, что поступки ваши никого интересовать не будут и пройдут незамеченными!» Густо покраснев, как всегда, когда приходилось кому-нибудь возражать, Катя обратилась к Е. Н.: «Вы правы. Некоторый риск есть в предположениях братьев. Но можно ли от такого риска уклоняться?»

Этим все решилось! Е. Н. Щепкин едва ли не больше всех был доволен принятым решением. Менее чем кто-либо из нас был он поборником благоразумия, умеренности и осторожности. В данном случае он счел себя обязанным взять на себя не свойственную ему роль и, конечно, был весьма доволен, что не оказался победителем.

* * *

В декабре Сережа поехал работать в Тульскую губернию к Писареву, который в контакте с Л. Н. Толстым развертывал там большую сеть столовых. Мне хотелось проникнуть в более захолустные места. Через Н. А. Мартынова мы были знакомы с Н. В. и

Е. А. Егорновыми, жившими под Клином в своем небольшом именьице «Отрада», куда мы иногда ездили на охоту. Супруги с большой готовностью взялись покинуть временно свое маленькое хозяйство на попечение их друга и ехать на голод в Саратовскую губернию. Чтобы ориентироваться в постановке дела помощи голодающим, решено было предварительно съездить в Нижний, где у Егорнова были личные связи и где он поэтому рассчитывал быстро информироваться о деле, дотоле ему мало знакомом.

Тяжелую картину представлял Нижегородский край в декабре 1891 года. По занесенным снегом дорогам мы всюду встречали крестьян, шедших в город в надежде пропитаться на фабриках. Другие шли с котомками через плечо «по кусочки» — побираться. Некоторые тащили за собой детей в салазках. В деревнях многие избы были оставлены, некоторые заколочены. Но и в тех, которые оказывались обитаемыми, зачастую мы находили только баб и детей, так как мужское население ушло искать пропитания. Мы видели детей, опухших от голода. Вид их был ужасен. Кое-где начинала налаживаться помощь в формах, отличных от пропагандировавшихся Л. Н. Толстым в Тульской губернии. Производился отпуск леса на отопление, отпуск и продажа по пониженным ценам муки, печеного хлеба, капусты.

В Саратове мы имели рекомендательные письма к губернатору генералу Косичу от А. Л. Шанявского, к губернскому земскому гласному А. А. Шахматову, известному лингвисту, впоследствии академику, — от Е. Е. Якушкина. Косич, выдвинувшийся в последнюю ту-

рецкую войну генерал, образованный и известный своими либеральными взглядами, в реакционное время Александра III держался правительством на скромной должности губернатора, не получая более ответственного назначения. Прочитав переданное мною письмо А. Л. Шанявского, он отбросил всякую официальность, завел с нами продолжительную беседу, впрочем, преимущественно говорил сам, критикуя правительство и возлагая все надежды на самодеятельность общества.

При таком отношении мы смело могли обосноваться в его губернии и, по совету Шахматова, решили развернуть свою деятельность в деревне Рыбка, куда и поехали, не теряя времени. Переезд этот в жестокую метель был крайне мучителен, и минутами мне казалось, что то руки, то ноги начинают коченеть и отмерзать. Но все обошлось хорошо. Сельский батюшка, у которого мы остановились в Рыбке, сочувствовал нашим намерениям и присоединился к нам. Все, одним словом, устраивалось удачно и хорошо. Работа сразу развернулась. Скоро приехала в Рыбку Е. А. Егорнова. Я вернулся в Москву готовиться и сдавать экзамен зрелости, а Егорновы остались в занесенной снегом Рыбке, где пробыли много больше, чем предполагалось, так как в 1892 году недород повторился и необходимость в помощи не миновала. Они блестяще справились с взятой на себя задачей и заслужили всеобщее уважение своей умелой, обдуманной и самоотверженной деятельностью.

Сережа сначала поехал на голод в Тульскую губернию. Освоившись там с постановкой помощи голодающим, он вскоре перенес свое

внимание на Воронежскую губернию, где сестра Н. В. Сперанского — София Васильевна, приглашенная местной помещицей А. Н. Антаевой в ее имение на должность сельской учительницы, развивала широкую деятельность в помощь населению.

На тусклом фоне провинциальной жизни того времени А. Н. Антаева представляла собой весьма заметное явление. Получив по наследству, еще совсем юной, крохотное именьице, заброшенное в глухой степи Воронежской губернии, она поселилась в нем, чтобы полученное образование и недюжинную свою энергию отдать прогрессивному ведению собственного небольшого хозяйства и полезной деятельности среди крестьян. Бесплатно лечила она людей и скотину; учила детей и взрослых вместе с приглашенной ею учительницей. Проводила среди крестьян сельскохозяйственные и экономические мероприятия. Подавала юридические советы. Писала для крестьян письма, прошения, жалобы и деловые акты. Принимала на себя хлопоты по их делам перед местными и центральными властями. Не занимая никакой официальной должности, она вскоре приобрела в своем округе громадное влияние среди крестьян, а в глазах уездных и губернских властей — репутацию человека «беспокойного». В конце концов это повело к высылке ее из пределов губернии и к запрещению жить в собственном имении.

В 1892 году, когда Сережа примкнул к Антаевой, она была всецело поглощена разрешением продовольственной задачи. На этой работе сложилась предприимчивая, решительная и настойчивая группа из Антаевой, Сперан-

ской и Сережи, которая после продовольственной кампании не сложила рук, а взялась за более сложные и ответственные мероприятия.

Голод выявил экономическую необеспеченность крестьянства. Переселение малоземельных на свободные, пустующие земли выдвигалось жизнью как очередная задача внутренней экономической политики. Об этом рассуждали в обществе, писали в прессе, докладывали в земствах. Самолично и стихийно двинулось в Сибирь и само крестьянство, не дожидаясь, пока вопрос будет решен правительством. Правительство же, пассивное и не склонное к новым мероприятиям, не только не содействовало расширению и развитию переселения, но определенно ставило препятствия, видимо, прислушиваясь к помещикам, сетовавшим, что с переселением крестьян они потеряют рабочие руки, необходимые для сельскохозяйственных работ.

Создавалось несообразное положение. Волна самовольных переселенцев, докатившаяся до Тюмени — в то время конечного по направлению к Сибири железнодорожного пункта (ибо великий сибирский путь еще только строился),— создавала там замешательство. Самовольные переселенцы требовали отведения им земельных участков, пропитания, помещения, медицинской помощи и пр.

Правительство, как правило, запрещало переселение, но волей-неволей ему приходилось обо всем этом заботиться, организовывать помощь переселенческой массе, двинувшейся в путь часто не только без ведома властей, но и вопреки категорическим запрещениям.

В Тюмени был правительственный чинов-

ник, занимавшийся переселением и проявлявший в своем трудном положении много доброй воли и заботливости, что сделало его весьма популярным среди переселенцев. «Главному начальнику самовольных переселений»,— адресовали они ему свои заявления, не отдавая себе отчета в иронии, заключавшейся в этом наименовании.

В такой-то обстановке задумала Антаева после голодных лет организовать частными средствами переселение в Сибирь значительной группы (до 1000 человек) малоземельных крестьян из Воронежской губернии. Антаева с ходоками ездила в Сибирь выбирать места, а затем и сопровождала переселенцев. Сережа финансировал это дело. Оно потребовало больших хлопот, но проведено было вполне благополучно.

Вероятно, в Западной Сибири и теперь можно найти деревню Антаевку, названную переселенцами в память об их попечительнице.

Выступление Антаевой было не единственным в своем роде. В Самарской губернии Е. А. Котляревская также организовала переселение некоторой группы. Попыток усилиями отдельных лиц или даже общественных учреждений организованно провести переселение крестьян было немало.

Голодные годы свели нас еще с А. Г. Штанге, всецело отдавшим себя заботам по кооперированию павловских (Нижегородской губернии) слесарей-кустарей. Преданность ли его этим людям, условия существования которых он изучил до мельчайших подробностей, или фанатическое служение идее кооперации, не знаю, но у А. Г. Штанге, казалось, не

было других интересов, не было совсем личной жизни вне круга забот о павловских кустарях. Человек с высшим образованием, природно одаренный, он уныло молчал и наводил тоскливую скуку, когда ему почему-либо нельзя было говорить о павловских кустарях. Но зато, когда ему удавалось привлечь внимание к своим опекаемым, он оживлялся и становился интересным. Это был один из ранних кооператоров, отдававших свои силы отдельным людям. После 1905 года кооперативное движение у нас получило громадный размах и приняло другие формы. Притекли большие средства, выступили новые и многочисленные деятели; оживилось законодательство; появились кооперативные банки, съезды, курсы. То, что раньше достигалось громадными усилиями отдельных, преданных движению одиночек, стало рядовым явлением, не требовавшим особых усилий.

Сережа и Сергей Тимофеевич Морозов (основатель Кустарного музея в Москве), с которым мы через Штанге познакомились, на протяжении ряда лет финансировали Павловскую артель. Затем, с оживлением кооперативного движения и открытием банковского кредита, надобности в таком содействии со стороны частных лиц уже не было. Мне было приятно прочесть на днях в «Известиях», что Павловская артель процветает и по настоящее время носит имя своего изначального рачителя — А. Г. Штанге.

Совместно с А. Г. Штанге и другими сочувствующими кооперативному движению лицами мы участвовали в создании акционерного общества «Союз» для торговли исключительно кооперативными товарами.

Как ни высоко оценивать роль частной и общественной инициативы в оказании помощи голодающим, она была лишь каплей в море и преимущественно имела значение возбудителя правительственной деятельности. При колоссальном размере бедствия справиться с возникшими задачами можно было только мероприятиями государственного масштаба. Однако беспечность и нераспорядительность правительства и местных властей привели к тому, что населению пришлось перенести больше страданий, нежели это было неизбежно в силу сложившихся обстоятельств. Нельзя было дольше мириться с косностью крестьянского хозяйства, убогой необеспеченностью, бесправием и темнотою населения. Мысль, естественно, направлялась к упорядочению всей нашей государственной системы.

Глава реакции Победоносцев учуял нарастающие настроения и в письме к Александру III, ходившем по рукам в многочисленных списках, указывал царю на политическую опасность охватившего общество движения. Если кто еще сомневался, что правительство имело свои, особые от страны и народа интересы, то это письмо окончательно рассеивало эти сомнения. Письмо Победоносцева сыграло роль «агитки», как бы теперь выразились.

Беда родит беду. За двумя следовавшими один за другим неурожаями на истощенный недоеданием народ надвинулись болезни. Появилась азиатская холера. Проникнув сначала в Астрахань, она быстро поднялась вверх по Волге на север и перекинулась в Петербург.

Утомленное и невежественное население стало терять равновесие, заволновалось. В

Астрахани и Царицыне произошли беспорядки с призывом войск для их усмирения. В Саратовской губернии разбушевавшаяся толпа убила врача...

Ученик (бывший) Николая Васильевича Сперанского Ефрем Васильевич Пустошкин, у которого в имении Давыдовка Николаевского уезда Самарской губернии в эти годы работали сестры Котляревские (Анна Андреевна врачом и Екатерина Андреевна — по столовым для голодающих), так вспоминает это тревожное время:

«С весны 1892 года началась холера. Каково было положение врачей в это время, показывает судьба врача Молчанова, убитого толпою по подозрению в отравлении воды городского водопровода в г. Хвалынске, в 35 верстах от Давыдовки. Анне Андреевне Котляревской помогло то, что за полгода, прошедшие со времени ее приезда, население попривыкло к ней, научилось любить ее и уважать ее работу».

С самим Ефремом Васильевичем Пустошкиным произошел тогда следующий характерный эпизод.

«Приходят ко мне человек двадцать давыдовских крестьян.

— Мы к Вам, Ефрем Васильевич, от стариков!

— Что нужно?

— Да вот, у Вас в больнице служит сиделкой Настасья Максимовна. Мы просим уволить ее и отца ее, Федора, плотника.

— По какой причине?

— Да так. Они не наши. Другого села. Пусть ищут себе работы в своем месте.

— Я ничего плохого ни от Федора, ни от дочери его не видел. Анна Андреевна ее хвалит. Уволить их я не могу и не уволю.

Раздается голос из стоящих сзади: «Ну вот что, Ефрем Васильевич! Вы не боитесь? А то ведь разговоры всякие ходят!

В это время действительно ходила молва, что помещики нанимают врачей и других подходящих людей отравлять крестьян, чтобы меньше было народу и не так чувствовалась земельная теснота».

Было с чего прийти в отчаяние, когда тридцать лет спустя после освобождения крестьянство оказалось и нищим, и невежественным, а теперь наконец готовым растерзать немногих самоотверженно спешивших ему на помощь интеллигентов... Обреченной гибели выявлялась вся русская культура, ничтожно тонким слоем покоящаяся на таком зыбком основании!

В такой-то удручающей атмосфере прозвучала в ту пору знаменитая теперь, проникнутая чувством роковой обреченности шестая симфония П. И. Чайковского, оказавшаяся его лебединой песней. 16 октября 1893 года он впервые продирижировал ее в Петербурге перед изумленной публикой, а 25 октября 1893 года его не стало...

Голодные годы знаменуют решительную перемену в общественных настроениях. Обаяние народничества блекнет, и наступает увлечение марксизмом. От постепенной легальной, культурной работы восьмидесятников в деревне общественная мысль в 90-е годы склоняется к нелегальной пропаганде среди рабочих на фабриках. Вместо эволюции — революция. Под-

польно создавалась социал-демократическая рабочая партия. Работа в этом направлении Г. В. Плеханова и В. И. Ленина общеизвестна. Одновременно на авансцену выступают и «легальные марксисты» (Струве, Туган-Барановский, Булгаков), используя для своих выступлений все представлявшиеся возможности.

Жалобы сельских хозяев на разорение не прекратились и после того, как миновали засушливые неурожайные лета. При урожае падали цены на хлеб, и сельские хозяева продолжали стонать от убытков даже при обилии хлеба. С. Ю. Витте как министр финансов, осаждавшийся всякими жалобами, прошениями и проектами, пожелал разобраться основательно в положении нашего сельского хозяйства, и в частности во влиянии цен на хлеб на различные стороны народного хозяйства и на обеспеченность разных слоев населения. Он обратился к группе статистиков с Чупровым и Постниковым во главе с предложением произвести для министерства финансов соответствующее исследование. Оно и вышло в свет в двух больших томах в 1897 году.

Появление этой книги вызвало целую бурю, что, впрочем, весьма понятно ввиду тех больших интересов, которых она касалась.

Помещики и крестьяне как производители хлеба, его продающие, естественно, заинтересованы в высоких ценах на хлеб. Но их интересы взаимно противоположны в вопросе о стоимости аренды и рабочих рук, в свою очередь, находящихся в зависимости от цен на хлеб. Рабочие и вообще городское население, покупающее хлеб, очевидно, кровно заинтересованы в удешевлении хлеба.

Дело осложняется еще тем, что многие крестьяне для оплаты государственных повинностей бывали вынуждены осенью продавать хлеб, нужный им для пропитания, и весной вновь покупать его уже по повышенным ценам, что ведет к тому, что один и тот же крестьянин бывает заинтересован осенью в высокой цене на хлеб, а весной в низкой.

На книгу яростно набросились и аграрии (Суворин — «Новое время», Пихно — «Киевлянин»), и марксисты, начинавшие в то время овладевать вниманием интеллигенции и рабочих. На этой легальной почве им особенно удобно было дать бой их принципиальным противникам — народникам.

В Вольном экономическом обществе состоялся ряд заседаний, посвященных обсуждению книги. Дебаты велись с необычайной страстностью. О них печатались отчеты в газетах. Многие москвичи ездили в Петербург на эти волновавшие общество заседания.

Около же этого времени Туган-Барановский на диспуте в Московском университете защищал свою диссертацию по истории фабрик в России. Этот диспут, на котором я был, прошел очень хорошо, дал вновь двум враждующим экономическим школам возможность открыто, на легальной почве помериться силами. Особенно поразило выступление П. Б. Струве, который в нарушение всяких традиций выступил с речью после того, как высказались все оппоненты, и после того, как диспутант дал свой ответ на их возражения.

Тоном прорицателя, которому известно будущее, П. Б. Струве, приветствуя своего друга и единомышленника, сулил ему большие успехи

в избранном им направлении. В свою очередь народники выступили с диссертацией Каблукова об условиях развития крестьянского хозяйства, подвергшейся на диспуте нападкам легальных марксистов, не проявивших при этом глубокого знакомства с крестьянским хозяйством и в своей критике преимущественно исходивших из априорных положений.

Надо отметить, что главные застрельщики легального марксизма недолго продержались на своих позициях: П. Б. Струве вскоре заделался освобожденцем и в качестве такого оказался учредителем конституционно-демократической партии, а Булгаков принял священство.

КОСТИНСКИЕ НАЧИНАНИЯ

По разделу с сестрами и братом Федором мне с Сережей досталось имение Костино во Владимирской губернии. Это было чисто лесное имение, «лесная дача», как тогда говорили. Ни запашки, ни какого другого хозяйства, кроме эксплуатации леса, в имении в наше время не производилось.

Во время холеры мы создали в Костине бесплатный фельдшерский пункт с приемом по всем болезням, пригласив для работы фельдшерицу Софию Сергеевну Огуз. Под амбулаторию и под ее квартиру были сняты избы в деревне. Неутомимая С. С. Огуз, по мужу Рапопорт, развила в Костине кипучую деятельность и завоевала себе горячие симпатии среди окрестного населения. Посещаемость амбулатории наглядно выявила настоятельную нужду в организации постоянной медицинской помощи.

Мы решили открыть в Костине бесплатную лечебницу с врачом и пригласили Е. П. Косменкову, которая и приняла костинскую амбулаторию от С. С. Огуз, уехавшей во Францию, где в Монпелье она закончила медицинское образование. Затем, уже в качестве врача, С. С. Огуз работала в рабочих кварталах Парижа, где и кончила свои дни, снискав горячую любовь населения.

Но открываемую больницу нельзя уже было разместить как амбулаторию Огуз в крестьянских избах на деревне. Был составлен план постройки больницы на 10 кроватей с родильной на 2 койки, операционной, кухней, баней и домом врача. При больнице спроектировали две фельдшерские двухкомнатные квартиры, ванную для тяжелых больных, аптеку, амбулаторию и перевязочную. Потом к этим постройкам присоединились заразный барак и мертвецкая, в которой могли производиться вскрытия. Осенью 1893 года под больничную усадьбу отведен и расчищен был участок соснового леса в урочище Замаравка, ближайшем к селу Костино, а зимой заготовлен и завезен на место строительный материал.

Постройка производилась летом 1894 года и обошлась в 40 000 руб. Одновременно решено было построить новое здание школы, обошедшееся в 17 000 руб. Затеяв на 1894 год такие постройки в Костине, мы решили провести там лето, чтобы следить за работами.

Школа в Костине была открыта, по мысли сестры Кати, еще при опеке. Под нее было отведено старое каменное двухэтажное здание конторы, к которому была сделана двухэтажная же деревянная пристройка, вмещавшая

большую классную комнату и квартиру учительницы. Школа включена была в сеть земских школ, Катя приняла на себя попечительство над нею. Она любила делать все обстоятельно и, помимо отпуска денег на содержание школы, позаботилась снабдить ее хорошей библиотекой и всевозможными пособиями.

По постановке преподавания школа считалась одной из лучших в уезде. Казалось бы, оставалось только этому радоваться, но не тут-то было. Вокруг школы начались всякие интриги. В ведении школы местные власти стали усматривать «тлетворное толстовское направление». Подозрения эти, быть может, зародились и поддерживались пребыванием в Костине, в течение, впрочем, очень короткого времени, в должности управляющего упомянутого раньше толстовца Озмидова. Дело повернулось так, что учительнице, приглашенной Катей, пришлось оставить школу. Катя отстаивала ее как только могла и, не достигнув успеха, сложила с себя звание попечительницы. Уездные деятели предприняли ряд попыток склонить Катю вернуться, но, поскольку не представлялось возможным восстановить в должности учительницу, все эти попытки были обречены на неудачу. На некоторое время школа осталась без попечителя.

Когда мы с Сережей стали летом жить в Костине и заниматься его делами, общество сельца Костино на сходе постановило просить меня принять должность попечителя. Я сначала уклонился, но по повторной просьбе общества последовал совету Кати и принял попечительство (т. е. согласился баллотироваться в уез-

дном земском собрании), чтобы положить конец затянувшемуся конфликту.

Из двух учительских мест одно было занято Антоном Карповичем Киселевым, другое было свободно, и я на него провел сестру А. Е. Грузинского — Екатерину Евгеньевну Сорокину, уже пожилую, опытную учительницу.

А. К. Киселев был сыном костинского крестьянина Карпа Мартыновича Киселева. Это был трудолюбивый, знающий свое дело учитель, умевший успешно готовить класс к экзаменам, и потому он вполне заслуженно был на отличном счету в училищном совете и у инспектора народных училищ. Его две дочери, надо думать, либо унаследовали, либо переняли от отца своего его педагогические данные, ибо впоследствии я слышал, что они очень выдвинулись, успешно преподавая в училище повышенного типа в Покровском уезде.

То была медленно складывавшаяся в недрах деревни собственная крестьянская интеллигенция, не отрывавшаяся от деревни, а остававшаяся в ней, для которой служба в деревне не была жертвой. Психологически прямая противоположность тем учительницам с высшим образованием, которые, имея возможность легко провести жизнь в столице (зарабатывая частными уроками или службой в городских школах, средних учебных заведениях), покидали город и зарывались в чуждую им деревенскую глушь, чтобы нести туда знание и мысль.

Для Антона Карповича училищное начальство было неоспоримым авторитетом, указания которого следовало исполнять возможно старательно и точно. Екатерине Евгеньевне весь учительский совет казался в достаточной мере



Больница в Костине

невежественным в педагогических вопросах и, во всяком случае, проникнутым устарелыми, ретроградными взглядами, посему — она считала — надо вести преподавание, возможно менее стесняя себя предписаниями начальства. Один дорожил мнением о себе начальства и движением по службе, для другой, добровольно отказавшейся от лучших условий в городе, вопроса о движении по службе вовсе не существовало. Один старательно обставлял свой домашний быт возможными удобствами (весьма скромными, разумеется) и тем, что (как ему казалось) возвышает его над общим уровнем и делает жизнь приятной. Другая проявляла равнодушие ко всем благам быта чисто спартанское, сказал бы я, если бы оно с 60-х годов до середины 90-х годов не было типичной особенностью идейной русской интеллигенции.

Новые тюлевые занавески у Антона Карповича казались Екатерине Евгеньевне раздражающим мещанством, тогда как некоторые городские привычки Екатерины Евгеньевны воспринимались Антоном Карповичем как изнеженность и барство.

Однако, несмотря на различие в характерах обоих педагогов, дело у них все же пошло. Они пришли к соглашению, что каждый доводит своих учеников по всем предметам от первого до выпускного года. Разница в преподавании могла отразиться на уровне знаний и развития выпуска, но не создавала для учеников затруднений, вызванных переходом от одной системы к другой. К тому же Екатерина Евгеньевна была человек поживший и уставший, не склонный к борьбе, а Антон Карпович дорожил своим местом, уважал права и обще-

ственное положение попечителя и был поэтому сговорчив. В свою очередь, я, занятый своими университетскими занятиями, склонен был мириться с создавшимся сносным компромиссом и отложить всяческие преобразования в школе до будущего времени.

Но в школе еще было третье лицо — законоучитель, священник из Богаевского погоста о. Константин, прозванный нами Вельзевулом за вред, причиняемый им делу. Он претендовал на руководящую роль в школе, и прежние обвинения школы в толстовстве и даже нигилизме давали ему повод вмешиваться в общее ведение школы. Ободряла его к этому, можно думать, и моя студенческая тужурка, которая, конечно, по воззрениям того времени, мало шла для лица, облеченного званием попечителя. Будь я тогда житейски опытнее, я нашел бы путь умерить ретивость батюшки, но я еще был наивен. Вокруг школы опять разгорелись интриги.

Екатерина Евгеньевна, опасаясь, что повторится история отстранения ее предшественницы, весной 1894 года предпочла сама оставить школу.

Приходилось вступать в открытый бой со всякого рода закулисными интригами. Решено было мне отказаться от попечительства в земской костинской школе, прекратив ассигнования, и одновременно открыть в Костине частную бесплатную школу в новом здании на территории нашей усадьбы с повышенной программой, ночлегом для школьников, живущих далеко, и столярной мастерской. Это, естественно, должно было повести к перечислению земских ассигнований на содержание школы в

Костине в другой какой-либо пункт и к переводу туда и преподавателей земской школы.

София Васильевна Сперанская, принужденная год тому назад оставить антаевскую школу из-за расстроенного после работы в голодные годы здоровья, кончила за границей курс лечения и охотно согласилась принять на себя должность старшей учительницы в новой школе. Второй учительницей намечена была опытная преподавательница меленковской (если не изменяет мне память) женской прогимназии Домна Давыдовна Мельникова.

Самое трудное было устроиться с преподаванием закона божия — предмета по тому времени совершенно и безусловно обязательного. Спасский батюшка, старичок о. Николай сначала было согласился взять на себя уроки закона божия в новой школе. Наша усадьба и часть самого Костина относились к приходу села Спаса, и потому такое устройство, вполне нормальное и согласное обычаям, не должно бы встретить возражения со стороны начальства. Однако о. Николай, подумав, отказался, опасаясь, что он и не скрывал, происков со стороны о. Константина. Кончилось тем, что мы пригласили в школу на место законоучителя не священника, а семинариста, который взял на себя еще и преподавание пения.

Из-за этих трений мне пришлось перезнакомиться со всем училищным начальством — уездным и губернским. Уездный предводитель дворянства, по должности председатель училищного совета; учитель городского училища, по должности делопроизводитель училищного совета; протоиерей собора, по положению член совета; благочинный, архиерей, инспектор и

директор начальных училищ! Со всеми пришлось говорить о школе и не один раз.

Все это училищное начальство производило впечатление людей забитых и запуганных, ежедневно ждущих неприятностей, робеющих при всяком, самом вздорном доносе.

Инспектор училищ А. Н. Казанский был человек с высшим образованием. Он окончил Петровскую академию и когда-то, несомненно, проявлял серьезный интерес к науке. После смерти его семья продала за приличную цену в Америку собранную им коллекцию бабочек. Очень занятый служебными обязанностями, он, вероятно, собрал ее еще до поступления на службу инспектором. Но и в это время, когда мне пришлось обращаться к нему как к инспектору, он держал у себя на полках, к примеру, «Птиц России» Мензбира. Совмещение в моем лице издателя этой книги, местного землевладельца, студента—слушателя Мензбира и попечителя подведомственной ему школы, вокруг которой сплетаются какие-то интриги, на первых порах его как будто озадачило.

Он, несомненно, искренне желал улучшить положение школы и хотел проявить себя просвещенным администратором перед профессорскими кругами, с которыми, как он видел, мы близки и перед которыми продолжал чувствовать некоторое благоговение. Но он беспомощно робел перед кляузником о. Константином и перед высшим училищным начальством. А служба наложила на него такую печать, что он, и не думая, конечно, ронять себя в моих глазах, рассказывал мне, как он, объезжая школы, приказывает ямщику подвязывать ко-

локольчик, чтобы внезапно нагрянуть в школу и врасплох захватить учителей.

ОБЩЕСТВО В КОСТИНЕ ЛЕТОМ 1894 ГОДА

Был четверг на страстной неделе, когда я, покончив со своими университетскими работами, вырвался из Москвы и в бодром весеннем настроении подъехал к костинскому большому дому с чемоданчиком вещей и книг и завернутым в рогожевый кулечек окороком для Якушкиных, живших во флигеле, у которых предполагал столоваться, так как своего хозяйства в Костине мы не заводили. В доме никого не было, и я поспешил во флигель, где, очевидно, находился у Якушкиных Сережа, приехавший в Костино накануне вместе с А. В. Сперанским. Я был встречен общим веселым смехом, и Евгений Евгеньевич Якушкин, встав из-за стола, за которым все пили чай, давясь от смеха и изгибаясь, как у него это бывало в смешливом настроении, взял у меня кулек с окороком. Оказывается, Сережа и А. В. Сперанский вчера каждый уже презентовали по окороку! Мой был третий!

Пока я здоровался со всеми, я заметил незнакомую мне девушку, в смущении наблюдавшую сцену моей встречи, не зная, принять ли ей участие в общем хохоте или скрыться в соседнюю комнату. Сидевший за ее спиной на подоконнике Сережа, по-видимому, ее чем-то смешил.

— София Яковлевна Лукина, новая костинская фельдшерица,— представила ее мне

Евгения Павловна Якушкина, принимая на себя роль хозяйки.

Вскоре беспроволочный телеграф, даром, что он еще не был к тому времени изобретен, уже докладывал сестрам моим, Кате и Нине, что у «мальчиков» в обществе, собравшемся в Костине, появилась молодая незнакомка, «замечательно жизнерадостная».

В Костине в то лето образовалась целая маленькая колония дачников. Екатерина Павловна Косменкова с семьей Якушкиных в так называемом Якушкинском флигеле. Там же жили С. Я. Лукина и юная, очень милая бонна Вера Николаевна при старшем сыне Якушкиных. У Софии Яковлевны гостили ее сестра, Людмила, и Инна Львовна Хитрово. В противоположном флигеле — управляющий Виктор Станиславович Ижицкий с женой. В большом доме — мы с Сережей, в старой школе — врач А. А. Котляревская с матерью и братьями. Там же, у учительницы Е. Е. Сорокиной, гостили А. Е. Грузинский с женой Анной Михайловной. Сверх того часто приезжали погостить знакомые: А. В. Сперанский, с которым Сережа, бросивший юридический факультет и перешедший на физико-математический, в это время особенно близко сошелся; С. В. Сперанский, С. П. Ордынский, Е. Н. Щепкин.

Все друг с другом были дружны. Днем каждый был занят своим делом, а вечером обыкновенно собирались вместе — либо на прогулку, либо на игры в парке.

Процветали кегли, но были любители поспорить в крокете. Обыкновенно Виктор Станиславович Ижицкий первым являлся в парк и подавал сигнал к сбору, катая шары. Публика

себя долго ждать не заставляла. Если я был дома, то откладывал своего Карла Маркса, которого в это лето читал, и спешил вниз. Если призывный шар заставал меня на стройке, то я спешил в парк, не заходя домой. Сережа, помнится, изучал органическую химию по Зилову и много разговаривал с А. В. Сперанским по поводу пройденного.

В праздники ходили на охоту за тетеревами, а то и по грибы. В то лето было особенно много груздей. Евгений Евгеньевич Якушкин с увлечением ходил «брать грибы» и «ломать грузди» (не «собирать»). «Так говорят»,— настаивал он.

Лето было исключительно дождливое. Шли не ливни, а мелкие перемежающиеся дожди, не мешавшие, впрочем, работе на стройках. Мы редкий день не промокали на стройке и так свыклись с этой теплой мокротой, что не отказывались из-за дождя ни от игр в парке, ни от походов по грибы. Когда же усиливавшийся дождь загонял собравшуюся компанию под крышу, то за общим чаем устраивались другие развлечения. Котляревский преуморительно изображал своих университетских профессоров — номер, который демонстрировался всякому вновь приехавшему. А то три Сергея (Сабашников, Котляревский и Ордынский), предварительно сговорившись или экспромтом, начинали между собой спор, каждый нарочно отстаивая самые неожиданные взгляды. Женское общество, что и требовалось, приходило в волнение, попадались иногда и не посвященные в игру мужчины, вроде А. Е. Грузинского или И. А. Котляревского, и тогда, к пущему веселью, они, вступая серьез-



Якушкинский флигель

но в спор, придавали ему особо комический оттенок. Во время этих забав Сережа пустил реплику кому-то из своих женских оппонентов, взывавших к принципам:

— У нас только один, но зато незыблемый принцип — не иметь принципов!

Так за ними это определение «принципиальных беспринципников» на некоторое время и осталось.

Но главным нашим и увлечением, и заботой в это лето была постройка больницы и школы.

ПОСТРОЙКА БОЛЬНИЦЫ И ШКОЛЫ

Писемский в рассказе «Плотники» хорошо изобразил тот интерес, который в деревне представляет стройка. Мы всецело отдались ему и торчали на наших стройках, думается мне, больше, чем это требовалось существом дела. За нами и подрядчики наши — Пантюхин из Костина по плотницким работам и печник Сергей из Семенкова (в 7 верстах от нас) по каменным работам усердствовали изо всех сил.

Пантюхин был старый приятель. Еще при отце он в Жуковке производил всякие постройки. Детьми мы дружили с его плотниками, которые давали нам для игры стружки и чурки. Они гордо носили звание «владимирских плотников», бывавших «со своим Пантюхой» даже в Константинополе. Теперь Пантюхин обрюзг и отяжелел. Подбирая длинные полы темно-синего своего кафтана, он, не имея охоты

забираться на леса, посылал на место работы своего племянника Егора, честного и исполнительного малого, лишенного, однако, предприимчивости дяди.

Напротив, для Сергея было внове брать подряд. Капиталов у него не было, все его «расчеты» строились на необычайной сметливости и неутомимой работе. «Сбегать» в Покров за 12 верст пешком этому подрядчику-предпринимателю ничего не стоило.

Наш архитектор Н. Н. Голубев, специалист по отоплению и вентиляции, спроектировал печи для каждого помещения по специальному расчету, дав каждой печи особый чертеж. Сергей, печник с малолетства, сначала скептически относился к этим чертежам.

— Помилуйте, неужели нам не знать, как голландскую печь сложить! Не то что без чертежа — в темноте, без света отлично сложим!

Но когда он сложил основание первой печи по-своему, не заглядывая в данный ему чертеж, и Н. Н. Голубев заставил его кладку перебрать, Сергей проникся почтением к чертежной науке.

— Этот добьется своего! — сказал мне про него Н. Н. Голубев, уходя со стройки после разговора с Сергеем и затем, обращаясь к нему, поощрительно спросил: — Скоро, Сергей, дом себе в Москве заведете?

— И в гласные Думы тогда выбирайтесь,— добавил я. Сергей улыбался, и, казалось, эти пожелания не слишком далеки были от его честолюбивых мечтаний.

МОЯ ЖЕНИТЬБА

В августе 1896 года мы с Сережей уехали в Костино, чтобы поохотиться, вместе с Н. В. Сперанским посетить в Нижнем Всероссийскую выставку, справить свадьбу Е. А. Андреевой, выходившей за поэта Константина Дмитриевича Бальмонта. В Нижнем на выставке я схватил брюшной тиф, слег в Костине и пролежал там в нашей больнице более месяца на попечении Е. П. Космenковой, А. А. Котляревской и С. Я. Лукиной. Когда я встал, мне рекомендовали отправиться для восстановления сил на месяц в Крым.

Ту осень там жили А. Л. и Л. А. Шанявские, в Гаспре они снимали дачу. С величайшим радушием они пригласили меня к себе. Меня проводил в Крым ввиду моей слабости наш служитель Василий.

Мне запомнился наш переезд через Байдары. Мы ехали, как все тогда, в парной коляске. День был сильно облачным. Стелившиеся по земле облака проносились навстречу нам с моря сквозь Байдарские ворота. Они будто дымились. Проехав ворота, мы остановили лошадей на площадке, на которой останавливаются все проезжающие. В это время порыв ветра развеял облако, открыв перед нами знаменитый вид на море с Байдарских ворот. Надвигалась гроза. Сверкали молнии. Море бушевало и, действительно, казалось черным. Черная туча, нависшая над половиной неба, надвигалась грозно на землю. Было величественно и жутко. «Край света?» — спросил меня Василий. Это вышло очень выразительно.

Когда я болел в Костине брюшным тифом, у меня окончательно созрело решение сделать Софии Яковлевне предложение. Но я чувствовал себя очень слабым и решил отложить объяснение. По возвращении с юга я несколько раз посещал Костино, но объяснение состоялось лишь на масленице, во время прогулки на лыжах.

Зима была исключительно снежной — все окрестности погружены в сугробы. На березах и елях снег лежал большими подушками. Был солнечный февральский день. Один из тех, когда отраженные снегом весенние лучи солнца слепят глаза и греют щеки больше, чем падающие с неба лучи. Снег быстро рыхлеет, выветривается. Лыжному спорту наступают последние дни, быть может, часы. Ценные потому, что они последние, и потому, что исключительно прекрасны сочетанием снежного убранства зимы с яркостью весеннего освещения.

Мы быстро пересекли поле, отделявшее больницу от парка, и, перейдя речку, поднимались вдоль ограды парка, окруженного ветлами. Малиновые прутики красиво обрамляли темный парк, старые деревья которого не проявляли еще признаков весеннего пробуждения. Лишь выдававшиеся за ограду куртинки молодых березок ласкали глаз своими налитыми, теплых тонов, почками. София Яковлевна сорвала несколько веточек вербы с белыми маковками. Мы свернули в парк, и я заговорил наконец о том, ради чего приехал. Это было в пятницу, на масленице, 21 февраля 1897 года.

Трудно бывает сделать предложение, но нескладно бывает затем объявление о принятом решении. С Николаем Васильевичем Сперан-

ским и Сережей обошлось так. Вернувшись из Костина в Москву, я встретил у нас Николая Васильевича. Он тут же сообщил мне, что Сережа заболел, и стал передавать бывший у них в мое отсутствие разговор. В пересказе этом у Николая Васильевича была фраза: «Ведь Миша, насколько знаю, не собирается жениться». Я тут же, к большому его удивлению, опроверг это утверждение. Мы вместе двинулись к Сереже, который уже кричал нам из своей кровати:

— О чем это вы там шушукаетесь?

Сестрам я в тот же день написал. Один Евгений Евгеньевич Якушкин, оказалось, предвидел наше решение.

В эти дни мне пришлось посетить Елену Ивановну Токмакову в ее квартире в доме Борщева по Власьевскому переулку. Провожая меня и сев в передней на сундук, пока я надевал шубу и галоши, она спросила меня, верно ли, что я собираюсь жениться. Встряхнув своей стриженой головкой — такая у нее была привычка, она задумчиво сказала, устремив на меня свои сияющие добротой глаза:

— Какая она должна быть хорошая, раз вы ее выбрали!

Чистосердечная Нелли была далека от намерения говорить комплименты, это было ей совершенно чуждо, но можно ли было сказать что-либо более лестное и в более изысканной форме?

В том же 1897 году, на Троицын день я уехал к невесте в Фатеж знакомиться с матерью ее, Софией Николаевной, служившей там начальницей женской прогимназии.

11 июля состоялась наша свадьба в Пол-



С. Я. Лукина

таве. София Яковлевна жила у своей тетки Любови Николаевны Дилевской, муж которой, Александр Игнатьевич, был управляющим князя Кочубея в Диканьке. На свадьбу приехали сестра Катя с Симой и Васей, брат Сережа.

Справили без затей. Настолько без затей, что священник, венчавший нас, вообразил, что в бракосочетании, им совершенном, кроется какое-нибудь беззаконие. Особенно он уверился в этом, когда получил от меня денег больше, чем рассчитывал.

— Ну, теперь все сделано честь честью, как полагается, так скажите же мне хоть на ухо, в чем же состоит беззаконие? — спрашивал довольный батюшка Александра Игнатьевича, взывая к дружеским, доверительным отношениям, бывшим между ними.

Из Полтавы мы с Софией Яковлевной поехали на две недели на юг, в Одессу, оттуда пароходом в Севастополь, дальше лошадьми в Ялту. В конце июля мы были уже дома.

В феврале 1898 года мы поехали за границу. Сначала в Париж. Там лежала в послеродовой горячке Е. А. Бальмонт. За ней ухаживали ее сестра Маргарита Алексеевна Сабашникова и моя сестра Нина, жившая в Париже с детьми и Ольгой Андреевной Граковой. Все жили в пансионе, где и мы устроились.

Положение Екатерины Алексеевны было очень серьезное, и это накладывало тень на жизнь нашего кружка. Поддерживала настроение ежедневно навещавшая пансион бодрая и жизнерадостная Глафира Алексеевна Абрикосова, которая давно осела в Париже, кончив курс медицинских наук и защитив у Шарко диссертацию по истории истерии в средние

века. Она казалась истой парижанкой, сохраняя в то же время обаяние чисто русской, скажу более, московской непосредственности. Женщина умная, деятельная, она в Париже нашла свое счастье с выдающимся парижским невропатологом, хорошо известным по книгам и у нас в России. Надо перенестись в обстановку того времени, чтобы оценить, сколько независимости характера требовалось, чтобы решиться на это. Он уже был женат на француженке и брака своего не расторгал, поэтому их с Глафирой Алексеевной отношения никак не могли быть узаконены. Она сохранила свою девичью фамилию, называла его «отец моих детей» и вообще в столь щекотливом положении проявляла много такта и умения жить.

Константина Дмитриевича* мы застали в отчаянном состоянии. Много недель у постели его жены шла борьба между жизнью и смертью. Константин Дмитриевич не был рожден для испытаний и длительной борьбы. Вся природа его протестовала против такого порабощения несчастию. Мне иногда даже казалось, что он, как ребенок, способен возненавидеть и даже прогнать и врачей и всех нас, своим присутствием постоянно напоминающих ему об опасности, угрожающей Екатерине Алексеевне, тогда как ему так хочется, так нужно, чтобы она была спасена, здорова, счастлива. О какой-нибудь творческой работе он и не думал, даже простое чтение давалось ему трудно.

В этих обстоятельствах я не находил в себе твердости отказать ему вечером, перед сном, сходить в какое-нибудь кафе, каких в

* К. Д. Бальмонт.— *Ред.*

Париже так много на всех перекрестках. Обыкновенно все обходилось очень скромно, и мы через часок шли уже домой, за мирной беседой уничтожив неизменный demi longuet с соусом и несколько рюмок коньяка. Бальмонт рассказывал о том, что́ за день прочел интересного, я делился своими парижскими впечатлениями. Часто разговор вертелся вокруг плана «сорока полковников», как мы в шутку называли обсуждавшийся нами в издательстве план выпуска в свет в образцовых переводах произведений мировой литературы, к чему предполагалось привлечь лучшие силы.

Бывали случаи, что Константин Дмитриевич вдруг как бы срывался с цепи. Непреодолимо устремлялся он тогда из одного кафе в другое. Обычная порция коньяка вызывала внезапное опьянение. Сговориться с ним становилось невозможным. Не находя способа отвести его домой и не желая оставить в таком положении, я вовлекался в бестолковое шатание из одного угла Парижа в другой, пока от ходьбы да свежего воздуха внезапное опьянение не исчезало.

С братом Федором мы в этот мой приезд в Париж виделись мало. К этому времени дороги наши совсем разошлись. Мы не переписывались, знали друг о друге только по доходившим стороной слухам да по редким встречам, когда он приезжал в Москву или мы бывали у Николая Васильевича Сперанского в Париже. Тогда я обыкновенно навещал брата по приезде в Париж и перед отъездом. Теперь я несколько раз заходил к нему, но не заставал дома или находил его замкнутым и неразговорчивым. Раз он позвал нас всех обедать, но устроил

обед не у себя на квартире, а в ресторане. Он переживал в это время трудные обстоятельства, о которых я узнал только впоследствии.

Мало воспользовались мы в этот свой приезд Парижем. В театрах и на концертах почти совсем не бывали, проводя вечера в большинстве случаев дома с сестрой. Днем, впрочем, ежедневно либо бывали в музеях, либо осматривали город и памятники.

На память о Лувре мы купили большую поясную фотографию Венеры Милосской, которая до сих пор хранится в рамке под стеклом.

Из Парижа мы поехали в Милан, соединившись дорогой с сестрой Софии Яковлевны, Людмилой. Втроем мы посетили Милан, Венецию, Вену и в апреле вернулись в Москву.

Ввиду беременности Софии Яковлевны лето решили провести в Москве, сняв дачу в Гущенках по Нижегородской железной дороге. Ежедневно я ездил в Москву утром и возвращался вечером на дачу. Вечерами читал вслух Софии Яковлевне Толстого, которого мы тогда том за томом перечитали полностью. Для себя, Сережи и конторы я снял три квартиры в М. Толстовском переулке, куда мы осенью и переехали.

30 ноября 1898 года по старому стилю в доме Лисицина родился первенец наш, названный по брату моему Сергеем.

ФЕДИНО РАЗОРЕНИЕ

Сереже в 1900 году пришлось ехать на выручку брата Федора в Париж. Федор оконча-

тельно разорился. Сережа застал его окруженным бессовестными ростовщиками и весьма сомнительными «друзьями». Все, каждый на свой лад, требовали от Федора денег, и должных и не должных, устраивали сцены, грозились, пробовали шантажировать.

Федор, разорившийся, как говорится «в пух и прах», растерялся, лишился обычного присутствия духа и находчивости, путался в ответах, давал людям наговаривать на себя несуразные небылицы и жестоко пил.

В стае хищников, сорвавшихся с какой-нибудь Лысой горы и набросившихся с остервенением на Федора, особенно выделялись двое — старик отец и сын, молодой человек. Игру они вели одну, но выступали всегда врозь.

И вот этот молодчик будто бы продал Федору какую-то драгоценную вещь. Но Федор ее не оплатил и не получил, так как молодой человек ее без денег, конечно, не отдал. Он заложил ее по продажной цене уже от имени Федора у своего папаши и деньги удержал себе. Когда пришло время выкупать вещь, то выяснилось, что она выданных под нее денег не стоит. Папаша кричал о мошенничестве. Мошенничество тут, конечно, было махровое! Но эти наглые проделки были юридически хорошо оформлены, и вывести отца с сыном на чистую воду Сереже далось нелегко.

По Фединым делам Сережа обратился за консультацией к одному из виднейших парижских юристов. Совет юриста был самый категорический: «Юристу здесь делать нечего, да и вам тоже. Умные уже, конечно, поняли, что губка выжата до отказа и отстанут. Глупые и мошенники все же попробуют проделать все

законные процедуры воздействия на вашего брата. Через это неизбежно пройти. Советуйте ему уехать из Парижа, а я вам рекомендую homme d'affaires *, которому ваш брат вполне может доверить отвечать и действовать за него».

Так и пришлось сделать. Федор дал себя уговорить и уехал, впрочем все же не сразу, в Турин к Piumati **. Сережа, получив от меня по телеграфу изрядную сумму, им востребованную, и ликвидировав Федины «долги чести», вернулся в Москву.

Через год, будучи в Париже, я зашел к упомянутому homme d'affaires. Этот внушительного вида мужчина с большой черной бородой, узнав, по какому делу я пришел, разразился смехом и, потирая руки, воскликнул:

— А здорово ваш младший брат разгадал это семейство со шкатулкой! Они тогда ускользнули и продолжают орудовать в том же духе. Но теперь я за ними слежу, и уж они мне попадутся!

Вскоре затем мы получили известие, что Федя в Турине вскрыл себе в гостинице вены. Его спас пришедший к нему в номер Piumati. Было ясно, что Федю надо лечить. Иван Михайлович Сабашников, очень любивший Федю, охотно взял бы его к себе в Творки (психиатрическая лечебница под Варшавой, в которой он состоял директором). Он располагал обширной директорской квартирой и уверял, что Федя его нисколько не стеснит. Так

* Поверенный в делах *(фр.)*.— *Ред.*
** Джиованни Пиуматти.— *Ред.*

оно впоследствии и устроилось. Но в данный момент Федя отклонил приглашение доброго Ивана Михайловича, надо думать, не желая являться в его семью в тогдашнем своем упадочном состоянии. По рекомендации В. К. Рота мы устроили Федю в Риге в санаторий. В Риге мы поочередно Федю навещали. Когда он оправился, то переехал в Творки к Ивану Михайловичу, в семье которого и прожил несколько лет.

Мы не сразу остановились на санатории в Риге. Из рекомендованных В. К. Ротом санаториев (поблизости к Петербургу, где у Феди были друзья) нам сначала казался более подходящим санаторий доктора Ольдероге в Финляндии.

Ольдероге меня совершенно очаровал. Это был стройный, приятной наружности военный врач. Военный мундир необыкновенно шел к его сухопарой фигуре. Остриженные бобриком седые волосы и спокойный, проницательный взгляд. Мне было приятно думать, что Федя попадет на попечение такого внешне выдержанного человека. За его знания и опытность ручался В. К. Рот. Но Владимир Карлович, по-видимому, не был информирован о характере санатория доктора Ольдероге. Санаторий предназначался специально для алкоголиков и был устроен при полнейшей изоляции пациентов от всех соблазнов и возможностей потребления вина, при одновременном соматическом лечении. Ольдероге утверждал, что в громадном большинстве случаев приверженность к спиртным напиткам имеет своей причиной какой-нибудь органический недостаток у пациента (например, слабость сердца), который

пациент, иногда бессознательно, компенсирует вином.

При лечении поэтому надо воздействовать на эту первопричину менее вредными, чем вино, средствами.

Для строжайшей изоляции пациентов от вина и прочих соблазнов доктор Ольдероге, принимая во внимание обычную у алкоголиков расслабленность воли, поместил свой санаторий на предоставленном ему для этого правительством необитаемом острове у берегов Финляндии.

Пациент, решивший порвать со своей несчастной страстью, должен был удалиться на остров, где вина нет и получить нельзя.

Мне стало ясно, что санаторий доктора Ольдероге не отвечает тому, что нужно для Феди, расстройство которого имело свои объективные внешние причины.

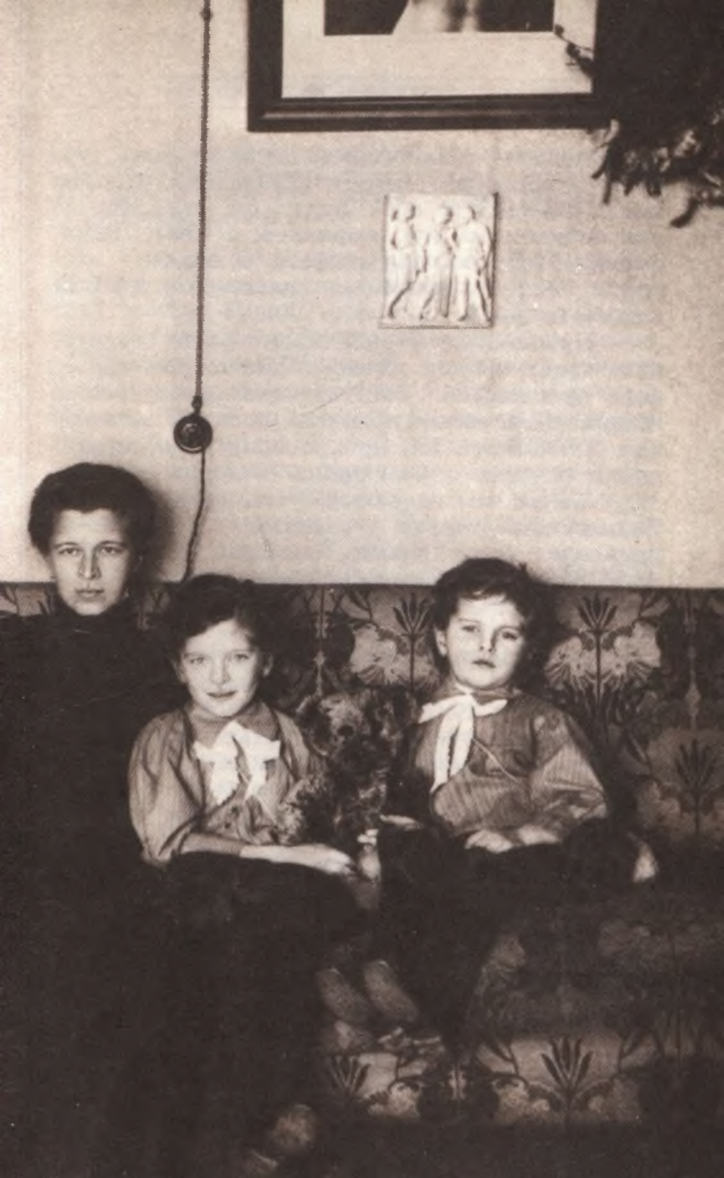
1901 год

14 января 1901 года в Москве в доме Холмских, по Трубниковскому переулку, на Поварской у нас родилась девочка, которую мы назвали Ниной — по имени Нины Яковлевны Павликовой и моей сестры Нины Васильевны...

В марте 1901 года в высших учебных заведениях прошли студенческие волнения, закончившиеся в Петербурге избиением студентов у Казанского собора. Это произошло в самое бойкое время и на самом бойком месте столицы.

Рассказывали, что проезжавшие сановники и влиятельные люди не только оказались





свидетелями столкновения, но были даже втянуты в водоворот, что управляющий уделами князь Вяземский спас будто бы студента из рук избивавших его дворников, а Савва Тимофеевич Морозов, пытавшийся остановить эксцессы, был сам вынужден спасаться в воротах какого-то дома.

Правительство вынуждено было реагировать каким-нибудь жестом. Министром народного просвещения был назначен престарелый генерал Ванновский (бывший военный министр при Александре III) при рескрипте «о сердечном попечении обучающейся молодежи».

«И на что надеются? Чему радуются? В Ванновском видят спасителя своего!» — удивлялся брат Сережа, сообщая в письме к А. И. Чупрову о возлагавшихся некоторой частью общества надеждах на новый будто бы курс правительства.

В связи со взбудораженным настроением, создавшимся в Петербурге, был выслан из столицы поэт К. Д. Бальмонт, произнесший на одном многолюдном литературном вечере свое стихотворение «Маленький султан»:

То было в Турции, где совесть — вещь пустая.
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький Султан.

Во имя вольности, и веры, и науки
Там как-то собрались ревнители идей.
Но, сильны волею разнузданных страстей,
На них нахлынули толпой башибузуки.

Они рассеялись. И вот их больше нет.
И тайно собрались избранники с поэтом:
«Как выйти,— говорят,— из этих темных бед?
Ответствуй, о поэт, не поскупись советом».

И тот собравшимся, подумав, так сказал:
«Кто хочет говорить, пусть дух в нем словом дышит,
И если кто не глух, пускай он слово слышит,
А если нет,— кинжал!»

Супруга Бальмонта, у которой незадолго до того родилась девочка, названная в честь моей сестры Ниной, переехала к своей сестре Анне Алексеевне Поляковой в Баньки, около ст. Павшино под Москвой. Однако это было признано властями слишком близким местом к Москве (где в то время генерал-губернатором был великий князь Сергей Александрович).

Мы поспешили пригласить супругов Бальмонт удалиться в изгнание к нам в Курскую губернию, в наше имение Никольское, где мы жили рядом с сестрой Ниной.

В апреле, во время пребывания Бальмонтов в Баньках, в Москву приезжали Мережковский и Гиппиус, желавшие нащупать почву для своих литературных и издательских замыслов. Бальмонты предложили собраться поговорить. Был обед в отдельном кабинете ресторана «Эрмитаж»: Мережковский, Гиппиус, Бальмонты, А. А. Андреева, сестра Нина, С. А. Поляков, В. Я. Брюсов и мы с братом Сережей.

Мережковский издалека завел речь о бедности нашей в крупных характерах и стал превозносить Победоносцева как эстетически и психологически ценное по своей силе явление в нашем поражающем безлюдии. Это, очевидно, должно было направить беседу на серьезное обсуждение предлагаемой Мережковским платформы...

В этом году брат Сережа на лето ездил в Сибирь. Софию Яковлевну я уговорил первую половину лета провести в Крыму с детьми и с

Софией Николаевной Лукиной. После отъезда Сережи я их отвез в Ялту и устроил там на даче. Задерживаться самому было некогда и, устроив семью, я поспешил в Суджу на земское собрание.

На пути я совершил очень приятную прогулку по берегу Крыма, которая и теперь, по прошествии стольких лет, вспоминается с удовольствием. Из Ялты до Судака я проехал пароходом и из Судака в Феодосию прошел пешком по шоссе с посещением Нового Света и Кизильташского монастыря.

До того мне пришлось на лодке проехать из Ялты в Гурзуф и пешком пройти из Гурзуфа в Алушту. Береговая кордонная тропа очень живописна, и было удивительно, что я не встречал туристов.

Посещение Нового Света вышло очень занятно. Про это имение князя С. М. Голицына около Судака я был наслышан как об образце виноделия. Подходя к нему со стороны Судака, я был поражен почти полным отсутствием зелени. Ярко-синее море да ослепительные на солнце светло-желтые скалы. Не видно нигде ни кипарисов, ни других декоративных деревьев, обычных на Южном берегу. Все кругом, насколько может охватить глаз, разделано под виноградники. Длинными рядами торчат колья, около которых чуть виднеются зеленые листы винограда. Только одна небольшая куртинка деревьев, из-за которой виднелась крыша небольшого домика садовника или конторы, как я заключил. Очевидно, князь действительно поставил дело по-коммерчески, не поддаваясь эстетике.

Рабочий, которого я спросил, где можно

получить разрешение на осмотр виноделия, справившись, кто я и откуда, попросил меня обождать и скрылся в упомянутой куртине деревьев.

Не более как через минуту или две передо мной предстал лакей в безукоризненном фраке и белом галстуке со словами:

— Князь ожидает на террасе!

Моя фамилия была названа, отступления не было, и я, пыльный и потный, дал себя отвести к террасе, где радушно был принят хозяевами, как жданный гость.

Князь, как выяснилось, знал моих сестер. Пошли расспросы о них и о Москве. Князь был словоохотлив и принадлежал к тем говорунам, которым нужны лишь слушатели. При моей молчаливости это было на руку. Когда мне удавалось вставить слово, я старался свести речь к виноделию. Князь тогда «в отместку» говорил об изданных нами книгах, так как следил за книгами по биологии, выходящими на русском языке. Преимущественно же предавался он рассказам анекдотического характера — потешные инциденты на всемирных выставках, на которых он неизменно был в жюри по присуждению наград за лучшие вина; как он выпустил неожиданно для министра двора «коронационное» шампанское, как принимал у себя царя, как опоил экскурсантов из Никитского сада, как на Тверской, почти рядом с домом генерал-губернатора, в своем винном магазине собирается с осени устроить политический five o'clock *, но не чайный, а винный, на который приглашал и меня заглядывать...

* five o'clock *(англ.)* — чай между вторым завтраком и обедом; здесь: «устроить чай». — *Ред.*

Время на княжеской террасе мчалось незаметно, и так же незаметно опорожнялись стаканчики то одного, то другого вина. При моей непривычке много пить я боялся оскандалиться, однако все мои попытки прервать беседу и дать тягу ни к чему не вели. Князь решительным жестом всякий раз усаживал меня на место. Мы, мол, только еще приступили к изучению его вин, остается испробовать такие-то и такие-то вина, а затем пойдем осматривать хозяйство, когда спадет жара.

Наконец подали обедать. После кофе с ликерами мы тронулись в путь по хозяйству. Самое замечательное, что мы осмотрели,— это подвал. Он вырублен в скале узкими, длинными, вьющимися, как мне показалось, коридорами. Они вызвали во мне воспоминание о киевских пещерах. В самом деле, при входе нам дали огарки.

Время от времени коридор расширялся, но в этих местах стояли не гробы с мощами, а полки с лежащими бутылками.

Иногда на особых столиках стояла откупоренная для пробы бутылка со стаканчиками. Затейливая мысль князя задумала, чтобы этот подземный лабиринт имел выход в прибрежном гроте, у самого морского прибоя. Уже при лунном свете, прислушиваясь к всплескиванию волн и пению рабочих, мы по дорожке поднялись назад к дому. Я заночевал у князя во флигеле.

В отведенной мне комнате висели две головки Греза, столы и полки были уставлены ценным фарфором.

Утром в княжеской пролетке меня отвезли в Судак. В ноги мне положили кулечек с

бутылками. Мои доводы, что я иду пешком и не могу нести такого подарка, были тщетны. Да и настаивать было опасно: с князя стало бы почтой выслать мне этот подарок.

В Никольском я застал прибывших в мое отсутствие К. Д. Бальмонта и Л. Я. Лукину. Они без меня уже познакомились. Мы зажили втроем, каждый занимаясь своим делом и не стесняя друг друга. Людмила Яковлевна отдыхала от учебных занятий, гуляла и читала романы. Константин Дмитриевич трудился над переводом Кальдерона для нашего издательства.

Мы втроем ужинали на террасе, после чего садились на ступеньки и начинали разговаривать на самые разнообразные темы. Константин Дмитриевич как-то мало интересовался связью явлений. Рассуждения о причинах и следствиях его как будто утомляли. Личное, хотя бы мимолетное, пусть даже ложное (возможность чего для него, впрочем, как будто не существовала) впечатление от вещи или события, связанное с этим переживание представляло для него единственный интерес. В беседе он был истым импрессионистом. Меткие эпитеты, сарказмы и самые нежные слова неожиданно сменяли друг друга. Разговор искрился, но постоянно перескакивал по ассоциации с темы на тему.

Людмила Яковлевна часто после общего разговора переспрашивала меня о высказываниях Константина Дмитриевича. Готовясь быть врачом и приучая себя к последовательному, отчетливому, логическому мышлению, она старалась внести порядок и ясность и в его рассуждения. Толковать поэтов — дело не про-

стое, и я часто чувствовал затруднения, стараясь разъяснить Константина Дмитриевича, который сам о себе пишет:

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры.
Не кляните, мудрые. Чтó вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

В работе Константина Дмитриевича меня поразило то, что он почти не делал помарок в своих рукописях. Стихи в десятки строк, повидимому, складывались у него в голове совершенно законченными и разом заносились в рукопись. Если нужно было какое-либо исправление, он заново переписывал текст в новой редакции, не делая никаких помарок или приписок на первоначальном тексте. Почерк у него был выдержанный, четкий, красивый. При необычайной нервности Константина Дмитриевича почерк его не отражал, однако, никаких перемен в его настроениях. Мне, у которого почерк менялся до неузнаваемости в зависимости от настроения, это казалось и неожиданным, и удивительным. Да и в привычках своих он казался педантично аккуратным, не допускающим никакого неряшества. Книги, письменный стол и все принадлежности поэта находились всегда в порядке гораздо бóльшем, чем у нас, так называемых деловых людей. Эта аккуратность в работе (что, впрочем, я оценил лишь впоследствии) делала Бальмонта очень приятным сотрудником издательства. Рукописи, им представляемые, всегда были окончательно отделаны и уже не подвергались изменениям в

наборе. Корректуры держались четко и возвращались быстро.

Недоумение вызывало во мне удивительное сочетание в нем беззаботной рассеянности и бессознательной наблюдательности. На каждом шагу приходилось удивляться его незнанию отношений между окружающими, понятных иногда даже ребенку. И одновременно он интуитивно улавливал каким-то путем то, что, быть может, и не осознавалось окружающими. Это наблюдение мое относится, впрочем, к другому времени. Когда я как-то под свежим впечатлением выразил ему свое удивление, он с гордостью ответил мне:

— Миша, недаром же я поэт!

Поэт он был от рождения.

К концу лета он уже имел готовыми переводы из Кальдерона. Когда София Яковлевна приехала из Крыма, а Екатерина Алексеевна* из Банек, Константин Дмитриевич прочел нам свои переводы. Эти вечера на круглой террасе, на которые приезжала сестра Нина, доставляли всем нам большое удовольствие. Особенно понравилось «Жизнь есть сон».

Мне приходилось часто бывать на подобных чтениях. После окончания чтения наступает неловкое для всех состояние. Каждый считает нужным сказать комплимент автору. Всегда находятся желающие проявить свою начитанность и свой вкус. Впечатление от чтения вытесняется этими светскими выступлениями. Но у нас были только свои близкие, и царила полная непринужденность.

Когда впоследствии мне приходилось в Москве устраивать чтение Леоновым своих

* Жена К. Д. Бальмонта.— *Ред.*

первых вещей, я, приглашая гостей, особенно старался избегнуть светского тона и ограничивался кругом близких мне друзей, любителей литературы. Но достигнуть полной непринужденности и интимности беседы было труднее, потому что с самим Леонидом Максимовичем мы едва только познакомились. Чувствовал ли тогда Леонид Максимович, как много любви к его молодому дарованию скрывалось за сдержанными похвалами и расспросами его слушателей? Но я забежал более чем на двадцать лет вперед!

В июле я вторично ездил в Крым, чтобы проводить оттуда в Никольское семью.

Я застал своих в Обиточном, Бердянского уезда, у Павликовых — Василия Максимовича и Нины Яковлевны. При встрече надо мной подшутили. Нина Яковлевна и София Яковлевна вышли встретить меня, поменявшись своими младенцами: Нина Яковлевна взяла на руки нашу Ниночку, а София Яковлевна — Верочку Павликову. Когда я, спрыгнув на ходу с брички, подбежал к Софии Яковлевне с предполагаемой мною Ниночкой на руках, раздался дружный хохот всех присутствующих:

— Попался, попался, не распознал собственной дочки! — дразнили меня долго спустя.

Хочется сказать несколько слов про В. М. Павликова и Обиточное. Василий Максимович Павликов кончил Московскую земледельческую школу. Это среднее учебное заведение было едва ли не третьим по значению в тогдашней России сельскохозяйственным учебным заведением после Петровской академии и Александровского института. Преподавание было поставлено на практическую ногу, и

Владивосток, "Отель Централь".

1916.IV.25.

Миша,

Поглощенный впечатлѣніями своей поѣздки по Россіи и Сибири, я только теперь отсылаю тебѣ тот матеріал, касающійся Руставели, который хотѣл передать тебѣ при отъѣздѣ из Москвы. А именно: 1. Договор о Руставели. 2. Предисловіе к Руставели и сопровождающіе его очерки и изъясненія. 3. Листок поправок.

Я очень прошу тебя ускорить набор, дабы, вернувшись в столицу через мѣсяц, я мог безотлагательно прочесть корректуры. В Грузіи очень ждут появленія этой книги и всей моей работы.

Если возникнут какія-нб. техническія затрудненія из-за печатанія имен с придыханіем (Т'амар, Руст'авели), предоставляю тебѣ просто уничтожить эту форму правописанія, в примѣчаніи же, на 1-й страницѣ, прибавить слова: "не мѣняю обычая". Пожалуй, лучше уничтожить придыханія. Больше недоразумѣній, и для глаза некрасиво.

Будь добр, послать мнѣ телеграфически, до востребованія, 300 рублей, в Владивосток. Я уѣзжаю сегодня в Японію, вернусь сюда к 15-му мая.

Радуюсь Калидасе. Как идет он?

Жму руку. Всего наилучшаго.

Преданный тебѣ

К. Бальмонт.

Письмо К. Д. Бальмонта М. В. Сабашникову.
Автограф

кончившие школу считались хорошо подготовленными и обыкновенно легко и скоро устраивались. Многие из них делали успешную карьеру на частной службе и достигали солидного положения.

По окончании школы Василий Максимович попал на службу в имение братьев Кутлер, людей незаурядных, один из которых стал впоследствии широко известен, когда он в бытность его товарищем министра при Витте выдвинул проект земельной реформы. Он же в Советской России был призван к организации Государственного банка.

Затем Василий Максимович служил в свеклосахарных хозяйствах Кенига, которые были передовыми и богато обставленными хозяйствами, образцовыми, являвшимися рассадниками образованных, опытных управляющих и сельскохозяйственных деятелей. Одним словом, с самого начала своей деятельности Василий Максимович попал в исключительно благоприятные для продвижения в жизни условия. Но он принадлежал к типу, довольно распространенному среди интеллигентов, вышедших на работу в 80-е годы. Вопроса карьеры и материального устройства и преуспевания ни для него, ни для Нины Яковлевны как будто не существовало. От сельскохозяйственной деятельности он перешел на более скромную, педагогическую, и когда министерство стало открывать особого типа низшие сельскохозяйственные школы для подъема знаний в крестьянской массе, Василий Максимович нашел свое жизненное призвание в этой работе, в отношении личного устройства ничего ему не сулившей.

К. Д. Бальмонтъ

СОЛНЕЧНАЯ ПРЯЖА

ИЗБОРНИКЪ



ПУШКИНСКАЯ
БИБЛІОТЕКА



К. Д. Бальмонт.
Солнечная пряжа:
Изборник.
1921

Он взял на себя должность заведующего намеченного к открытию Обиточенского сельскохозяйственного училища и с увлечением юноши стал заводить в голой, нераспаханной степи все необходимое для постановки школы и хозяйства при ней.

В 1901 году, когда я к ним приехал, все главное было уже устроено, и Василий Максимович с чувством удовлетворения показал мне постройки и все обзаведение, рассказал о постановке учебы в школе. Скромно и деловито поставленное Обиточное произвело на меня самое лучшее впечатление.

Я, впрочем, сильно сомневался, чтобы цели министра земледелия могли быть достигнуты: преподать воспитанникам школы сельскохозяйственные знания и не оторвать их от крестьянской среды, когда всякий, сколько-нибудь выдвинувшийся крестьянин прежде всего спешит вырваться из тисков общества с его бесправием, земским начальником, волостью, судом волостным и прочими «привилегиями» крестьянства!..

* * *

...Раз как-то ко мне в издательство явился старичок в длиннополом сюртуке с громадным портфелем, битком набитым бумагами. Усевшись в кресло у письменного стола и обстоятельно высморкавшись в цветной платок, он сказал мне, что обращается в наше издательство по делу, лично интересующему К. П. Победоносцева, обер-прокурора синода. Впрочем, дело настолько важно, что не нуждается в рекомендации. Притом в Кяхте он, мол, был

знаком с моими родителями и потому чувствует себя человеком, не посторонним нашему издательству. Сделав попытку перейти на фамильярный тон и видя, что это не выходит, старичок извлек из портфеля и предъявил мне подписанную К. П. Победоносцевым бумагу, несколько уже замусоленную и потертую в местах перегибов. Обер-прокурор без всякого обращения удостоверял, что дело, возбужденное таким-то, имеет громадное значение и заслуживает всевозможной поддержки.

Я, наконец, попросил изложить, чего желает от нас старичок. Оказалось, что он ратует за повсеместное введение в православных церквах электрического освещения. Обер-прокурор этому сочувствует, но митрополиты противодействуют, боясь лишиться доходов от синодального свечного завода. Надо в ряде книг и брошюр поднять кампанию за реформу.

— Не думайте, что это вопрос одного лишь церковного ритуала,— добавил старичок.

С предполагаемой реформой связывается полное преобразование нашего сельского хозяйства. Каждая сельская церковь будет иметь свою электрическую станцию. Энергия со станции пойдет на обслуживание сельскохозяйственных работ. Церковь окажется проводником величайших усовершенствований хозяйства и вернет себе господствующее положение в стране. В каждом приходе будут поп, пастырь душ, и псаломщик, распорядитель электрической энергии. Псаломщиков надо будет обучать. Наряду с духовными семинариями надо создать сеть электротехнических училищ для подготовки образованных технически псаломщиков.

— Я даже название для них имею: «электропсаломщик»! — воскликнул с пафосом старичок.

Я не выдержал и рассмеялся самым откровенным образом. Это произошло непроизвольно, но я увидел, что и старичок мой ударился в добродушный смех до слез, которые потребовалось утирать опять цветным платочком.

Ответ мой был ясен и без слов, что старичок отлично понял. Насмеявшись вдоволь и собрав бумаги в портфель, он распрощался со мной самым добродушным образом.

1902—1903 годы

В 1902 году образовался «Союз освобождения» — нелегальное политическое сообщество, ставившее себе целью добиваться введения в России представительного строя. П. Б. Струве эмигрировал за границу и стал издавать в Штутгарте журнал «Освобождение», контрабандно ввозившийся в Россию и нелегально распространявшийся. Сережа вступил в члены «Союза».

Вскоре затем я был принят в члены «Союза» Вячеславом Евгеньевичем Якушкиным и Петром Дмитриевичем Долгоруковым.

Мы с Сережей приняли участие в земских выборах по Покровскому уезду и были избраны уездными гласными. В Покровском уезде, при оскудении в нем дворянского землевладения и при промышленном его характере, определяемом колоссальной Орехово-Зуевской мануфактурой, особенно наглядно выявлялись не-

сообразности произведенной Д. Толстым реформы земского положения. По расписанию, гласных от дворян полагалось больше, чем оказывалось в уезде цензов дворянских! Так называемые выборы от дворян сводились к тому, что все съехавшиеся на выборы дворяне в полном составе зачисляли себя, а заодно и не прибывших дворян в гласные, после чего все же оставался еще недобор земских гласных от дворян. Напротив, гласных от так называемых городских избирателей было назначено слишком мало. Они избирались на собрании в г. Покрове под председательством городского головы. В основной своей массе это собрание состояло из покровских лавочников, очень мало, вернее, совсем не заинтересованных в земских делах (в Покрове было самостоятельное городское самоуправление) и поэтому являвшихся на собрания вяло и от случая к случаю.

Рабочие как таковые не имели совсем своих представителей.

Наша небольшая группа гласных от городских избирателей, не претендующая ни на какие места в уезде, в сущности, одна только представляла собой независимую общественность на земском собрании. Дворяне так или иначе были заинтересованы службой в уезде (кто предводителем, кто председателем, кто в канцелярии губернатора, кто земским начальником) и в большинстве своем были связаны между собой родством или свойством. Гласные же от крестьян чувствовали себя весьма зависимыми от уездного начальства и от самостоятельных суждений воздерживались.

Выбран был я также в гласные по Суд-

жанскому уезду. Но успел в этом только благодаря агитации в мою пользу князя Петра Дмитриевича Долгорукова, бывшего в то время председателем уездной управы. По земским делам я теперь ближе познакомился с Петром Дмитриевичем. Он представлялся мне Нехлюдовым из повести Л. Толстого «Утро помещика», но Нехлюдовым, дожившим до «Вечера помещика», с земством, с Витте, с сельскохозяйственными комитетами, Кустарной выставкой, земской оппозицией и раздающимися время от времени раскатами надвигающейся революции. Филантропические заботы об отдельных мужиках и бабах сменились общественными и политическими обязанностями. В записной книжке князь аккуратно записывал стоящие на очереди общественные дела. И день, когда ничего в этом списке не приходилось вычеркнуть как исполненное, добросовестный князь считал потерянным без пользы. По своему рождению, связям, образованию (университетскому) и состоянию он имел блестящие жизненные перспективы — при дворе, на службе в столице, в заботах, наконец, о преуспеянии принадлежавших ему имений, но предпочел жить в глухом уезде, отдавая свои силы земской деятельности и поднятию общественной жизни.

Будущий вице-президент 1-й Государственной думы, под председательством которого проходили в Думе все прения по аграрному вопросу, в те годы развивал кипучую деятельность в малом масштабе своего уезда, организуя способные к общественной жизни силы, работая в сельскохозяйственном комитете и прежде всего в земстве. Он стал в губернии

очень популярен. В так называемом «третьем элементе», т. е. среди служащих земства, постоянно слышалось: «наш князь» или просто «князь сказал», «князь не согласен» и т. п.— совершенно необычные в этой радикально настроенной среде обороты речи.

Дополнительное наделение крестьян землей еще не было принято как лозунг реальной политики, и землевладельцы еще не видели в князе предателя их интересов. «Мелкобуржуазная» же стихия промышленников и торговцев, как теперь ее характеризуют и как тогда еще не говорили, была в общем настроена оппозиционно правительству и весьма сочувствовала независимому либеральному образу действий князя...

* * *

Оторваться от дел ради отдыха мне удобнее всего было постом. Здесь выпадало недель шесть относительного затишья, которыми я и старался пользоваться для поездок за границу, когда к тому не встречалось каких-либо помех. Сережа «брал отпуск» до меня, тоже обыкновенно пользуясь им для поездок за границу. Туда нас тянуло естественное желание время от времени погрузиться в культурную жизнь Западной Европы, с ее свободной печатью, общественными собраниями, живой политической борьбой, парламентскими установлениями, со всевозможными проявлениями прогресса, с богатейшими научными и художественными собраниями и музеями.

Была и другая приманка. За границей продолжал жить и работать Николай Васильевич Сперанский. Мы с ним поддерживали

общение деятельной перепиской, подкреплявшейся его ежегодными, обычно осенью, приездами в Москву, где он останавливался на квартире у Сережи. В свою очередь и мы, когда выпадало свободное время, тянулись к нему за границу. Он жил то в Дрездене, то в Мюнхене, но дольше всего в Париже. Благодаря ему я мог видеть повседневную жизнь интеллигентских парижских кругов, обыкновенно ускользающую от наблюдения туриста.

В 1902 году Николай Васильевич женился на Ольге Александровне Чупровой и весну проводил с Чупровыми в Пельи — небольшом уединенном местечке на северо-западном побережье Италии. Здесь в эту весну навестил их брат Сережа, сюда же затем направился и я. София Яковлевна из-за нездоровья детей не могла выехать и присоединилась ко мне лишь в конце моего путешествия на обратном пути в Россию.

Пожив в Пельи со Сперанскими и Чупровыми, я направился в Рим, где ни разу еще не был. Сережа, побывавший в Риме раньше, снабдил меня всякими полезными указаниями и рекомендовал остановиться в гостинице «Минерва». При выезде из Пельи я послал в эту гостиницу телеграмму с просьбой задержать мне номер. Однако когда в час ночи экспресс доставил меня в Рим, то на вокзале я узнал от выехавшего встретить ожидавшихся гостей комиссионера гостиницы «Минерва», что все номера у них разобраны за месяц вперед и гостиница эта меня принять не может, равно как и всякая другая, так как наплыв приезжих в нынешнюю пасху чрезвычайно велик. Комиссионер поэтому советовал мне не брезговать

железнодорожной гостиницей, в которой есть еще одна свободная комната. При всем нежелании моем устраиваться в Риме в таком заведении я на это решился, и юркий малый, схватив мой чемодан, отвел меня в свою гостиницу, расположенную в двух шагах от вокзала.

Заняв единственный свободный номер, я поспешил залечь спать в одну из двух находившихся здесь громадных двуспальных кроватей. Едва я начал дремать, как услышал в открытое окно шум подъехавшего экипажа и оживленный разговор у подъезда. Затем раздался стук в дверь моей комнаты. Какие-то американцы, тщетно объехавшие в поисках пристанища все гостиницы в городе и прослышавшие, что в моем номере есть незанятая двуспальная кровать, добивались, чтобы я их пустил. Но я отбросил всякое мягкосердечие и, уткнувшись в подушку, упорно не отвечал на стуки и мольбы, раздававшиеся за дверью. Долго бесприютные американцы ходили по коридору, громко разговаривая и негодуя на мое молчание. Несколько раз возобновляли они стук в мою дверь и несколько раз поручали это коридорному, взывавшему ко мне на разных известных ему языках (кроме, конечно, русского). Наконец американцы сели в свой экипаж и куда-то уехали, а я, нераскаявшийся грешник, немедленно заснул сном праведника.

На следующий день в римских газетах отмечался небывалый наплыв приезжих, причем сообщалось, что миллиардеры-американцы, ради отдыха в Риме перебравшиеся через громадный океан, принуждены были провести ночь в извозчичьем экипаже.

Утром, оглядевшись в своем номере, я

увидел, что это просто отведенный под жилье чердак с единственным окном, выходившим на плоскую крышу дома. В нормальное время помещение это, очевидно, занималось прислугой. Вешалка с платьями и обилие башмаков, выставленных в ряд у окна и, очевидно, собранных от всех жильцов для чистки, подтверждали мою догадку. Было неуютно. Я решил пользоваться номером как можно меньше, приходя в него только для спанья, и, чтобы не портить себе настроения, совсем не заходить в гостиницу днем. Я не стал даже кофе пить ни в гостинице, ни на вокзале и, заперев номер на ключ, с раннего утра пошел бродить по Риму.

— Что вы наделали! Что вы наделали, синьор!—такими восклицаниями встретили меня в гостинице, куда я вернулся поздно ночью.—Вы заперли дверь и унесли с собой ключ! Мы не могли подать утром платья и башмаки нашим клиентам! Подумайте только!

Имея в своем распоряжении всего лишь десять дней для осмотра Рима и вместе с тем рассчитывая вновь посетить его в будущем, я еще в Пельи решил в этот первый свой визит в вечный город не разбрасываться и преимущественное внимание уделить памятникам античного мира. Возрождение меня в то время меньше привлекало. Однако когда я в первое утро вышел из гостиницы и погрузился в римские улицы, то совершенно забыл всякие расписания и маршруты.

Поколению, вступившему в жизнь после великой войны и революции, трудно представить себе наше отношение к античной древности и наши переживания при посещении Рима, Афин и других центров античного мира. Сквозь

дым великой войны и революции свидетелям и участникам этих событий отдаленная древность, естественно, должна казаться поблекшей в своих красках и очертаниях. Умалившимся должно представляться в будущем ее значение и для внуков наших. Наконец, образование теперь совсем другое. Мы же получили гуманитарное воспитание. Греция, Рим, Италия эпохи Возрождения и Франция века Просвещения и Великой французской революции, наконец, Англия выковали основы гражданских свобод, которым мы были преданы, создали культ личности, который мы разделяли, открыли пути к научному мышлению, которое на наших глазах преобразовывало мир. Это были наши культурные предки, которым мы были благодарны и которыми восхищались. Современные успехи цивилизации и налет некоторого модернизма, который на многих из нас в то время был, нисколько этому не мешали. При всем скептицизме и при всей деловитости мы не были чужды пиетета перед древним миром и оставшимися от него реликвиями. И это в путешествии настраивало на приподнятый лад. А тут еще обаяние южной природы, удовольствие путешественника, утоляющего свою любознательность, эстетические волнения, наконец. В частности, скульптуру мне приходилось до того видеть лишь в Эрмитаже и в Лувре. Но там были отдельные статуи. Здесь в Ватикане, Термах, Капитолии и в городе я нашел целое население статуй. Это была какая-то нация скульптурная. Как очарованный пробродил я весь первый день по городу, всецело отдавшись необычайному возбуждению, овладевшему мною.

В таком состоянии я в конце дня неожиданно набрел в Капитолийском музее на знаменитую статую умирающего галла:

А он — пронзенный в грудь,— безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...
И молит жалости напрасно мутный взор:
И кровь его течет — последние мгновения
Мелькают,— близок час...

Сознание не покинуло умирающего, и физические страдания не подавили в нем духовной жизни. Лицо его показалось мне исполненным напряженной мысли. Мне стало как-то вдруг, внезапно, очень жалко и этого галла, отдаленного предка современных нам французов, и замучивших его римлян, предков снующих кругом итальянцев. Пусть смерть — природная, непреложная спутница жизни, но неужели неизбежны также эти постоянно причиняемые людьми друг другу страдания, эта непрекращающаяся борьба и это взаимное истребление! Эти тоскливые размышления нахлынули на меня внезапно, застигли врасплох, неподготовленным.

В глубокой задумчивости вышел я из Капитолийского музея. Вечерело. По лестнице, устроенной Микеланджело, мимо конной статуи императора и философа Марка Аврелия спустился я в оживленное Корсо. Чтобы удалиться от царящей сутолоки, я свернул в какой-то глухой переулок. Вспомнив, что весь день ничего не ел, я зашел в простонародную таверну, где занял место в полутемном углу, попросив не зажигать у моего столика газового рожка. Я заказал себе макароны с сыром, и мне без моего заказа подали к ним флягу кьянти. У дверей стояло несколько римских

работниц с красивыми, классически строгими чертами лица. Я был рад, что в таверне полутемно... ибо спазмы душили меня и слезы невыразимой жалости к ничтожной доле людской неудержимо лились из моих глаз. Под прикрытием темноты таверны я долго плакал и долго не мог прийти в себя.

Только после нескольких дней пребывания в Риме я научился располагать свои прогулки по обдуманному заранее маршруту и восхитительные римские закаты проводить не в полутемной таверне, плача от усталости и умиления, а на Пинчо, или у памятника Гарибальди, или на Палатине, любуясь, как золото и пурпур заката озаряют предающийся отдыху после трудового дня великий город...

* * *

19 июля (по старому стилю) 1903 года родилась у нас младшая наша дочь Таня. Роды прошли гладко. Как всегда, София Яковлевна стала кормить младенца грудью, и тут произошло одно из тех жизненных осложнений, которые являются экзаменом для матери, испытанием семьи, для лиц посторонних протекают иногда совершенно незамеченными, а у участников оставляют надолго незабываемые впечатления.

Старшая наша девочка Нина во время кормления Тани заболела дифтеритом. София Яковлевна решилась не прекращать кормления грудью Тани, но и не упускать из-под своего наблюдения уход за больной Ниной. Девочки были, разумеется, отделены друг от друга. Все поведение Софии Яковлевны было тщательно, во всех мельчайших подробностях обдумано с

Виктором Оттоновичем Миллером, отличным терапевтом, с которым мы близко сошлись. Выработанный режим был затем в течение всей болезни Ниночки без малейших отступлений и послаблений выдержан Софией Яковлевной. Нужны были настойчивость и преданность своим материнским обязанностям Софии Яковлевны, чтобы выдержать этот искус. Все прошло наилучшим образом, и нужно было видеть радостные лица Софии Яковлевны и Виктора Оттоновича, когда они по окончании Нининого дифтерита приступили к дезинфекции помещения и уничтожению вещей, подозрительных в отношении переноса заразы. По отношению к неодушевленным предметам никакого сентиментализма проявлено не было!

В июле у нас в семье стало три семейных праздника: 5-го — Сережины именины, 11-го — наша свадьба и 19-го — Танино рождение. Мы справляли их обыкновенно в тесном семейном кругу.

К Софии Яковлевне со всей округи постоянно обращались с просьбами об отпуске цветов, будь то по случаю праздника, свадьбы, похорон и т. д. И она всегда лично выбирала в таких случаях, резала, вязала огромные букеты, корзины, венки или гирлянды. Когда появились у нас дети, то культ цветов был усвоен и ими. Перед именинами Сережи, рождением Тани, именинами самой Софии Яковлевны еще накануне, с вечера, готовились всякие цветочные украшения. Затем утром все, кроме виновника торжества, вставали очень рано и каждый в доме собирал свой букет в подношение. Виновник торжества, встававший в эти дни умышленно позже, должен был угадывать сре-

ди букетов, расставленных на чайном столе перед его прибором, кем каждый букет сделан. И ведь угадывали обыкновенно безошибочно, настолько выявились вкусы каждого!

По некоторому капризу я настоял на том, чтобы за оградой сада у въезда в наши ворота сохранена была мальва, разросшаяся здесь за годы запустения усадьбы громадной куртиной. Провинциальная мальва как-то шла к соломенной крыше глинобитной конюшни и кухни и как будто вросшему в землю старосветскому домику нашему и в то же время давала контраст пышным розам и другим цветам в клумбах перед домом.

София Яковлевна — уроженка Курской губернии, любила этот край, который ей казался и более красивым и более здоровым, чем наше северное Костино. Я же первое время скучал по кулисам северных лесов. Открытые курские поля и выгоны, где глазу бывает не на чем остановиться; постоянные ветры, надувающие головную боль; проникающая буквально всюду мельчайшая черноземная пыль, от которой ничем не обережешься, первое время наводили на меня тоску. Но со временем я к этому ко всему привык и научился находить свою прелесть в курских просторах и безостановочно сменяющихся картинах неба. В самом деле, небо с постоянно то образующимися у вас на глазах, то быстро тающими, то проносящимися мимо вечно подвижными облаками занимает в курском пейзаже первенствующее место. София Яковлевна, пристрастившаяся к моментальной фотографии, делала замечательно красивые снимки облаков, и у нее до сих пор сохранилась коллекция таких фотографий.

1904—1905 годы

В 1904 году на Россию обрушилась война с Японией. Этого следовало ожидать. После японо-китайской войны великие державы вместе с Россией не дали Японии воспользоваться плодами ее побед.

Думаю, не только для громадного большинства населения, но и для так называемого «общества» война с Японией упала как снег на голову. Когда Япония отозвала своего посла, я, встретившись с В. Ф. Джунковским, задал ему вопрос: «Мы, стало быть, воюем?» Он решительно отрицал эту возможность, выражая, очевидно, то, чему верили или хотели верить правящие круги.

А затем он же в злополучный январский день с ветром и мокрым снегом заехал к нам на квартиру, чтобы сообщить, что в Порт-Артуре японцы ночью напали на наши стоявшие на якорях суда и вывели из строя ряд военных кораблей.

Так началась, должно быть, самая непопулярная война, какую мы когда-либо вели. Ряд тяжелых неудач ознаменовал эту войну. Потрясающее впечатление произвела гибель напоровшегося на мину «Петропавловска» с адмиралом Макаровым и художником Верещагиным на борту. Отправляясь в Маньчжурию, чтобы стать во главе армии, генерал Куропаткин сказал провожавшим его москвичам:

— Терпение, терпение и терпение!

Но и оно ничего не принесло, а со временем само истощилось. Естественно, что

неудачная война придала революционному движению еще большую силу. 15 июля 1904 года брожение проявилось террористическим актом — убийством министра внутренних дел В. К. Плеве. Он считался оплотом реакции и был крайне непопулярен. Кроме того, многие, по-видимому, винили его в том, что по соображениям внутренней политики он не предотвратил японской войны.

После Плеве министром внутренних дел был назначен князь Святополк-Мирский. Осведомленные лица объяснили это назначение решением «сфер» пойти навстречу общественным настроениям. Заговорили о «политической весне». Действительно, репрессии прекратились. Многие вернулись из ссылки и заключения. Печать стала держать себя посвободнее. Открылись и возобновились некоторые газеты. Осмелели сатирические журналы, в которых выдвинулись многие талантливые карикатуристы. Одним словом, освобожденное из-под пресса общество быстро стало разминать свои закоченевшие при Плеве члены.

После длительных переговоров со Святополком-Мирским в Петербурге 6—8 ноября состоялось (хотя и без разрешения министра, но с ведома его) «частное совещание земских и городских деятелей». Оно единодушно высказывалось за введение у нас народного представительства. При этом большинство требовало для этого представительства законодательной власти, меньшинство же, возглавляемое Д. Н. Шиповым, держась до известной степени славянофильских традиций, желало лишь законосовещательного собрания. Резолюции совещания с двумя мнениями были вручены затем

Святополку-Мирскому для доклада царю. Они были подхвачены в обществе с величайшим сочувствием, преимущественно — требование большинства.

Мне памятно оживление, царившее на Суджанском уездном земском собрании, состоявшемся в конце декабря 1904 года. Вернулся отстраненный Плеве князь Петр Дмитриевич Долгоруков. Он принимал участие во всех совещаниях и оказывал бесспорное влияние на нового председателя собрания, из правых.

Ко времени земского собрания в Суджу съехались земские врачи на врачебный совет и земские учителя и учительницы со всего уезда на совещание. Они наводнили места для публики в зале земского собрания, а на совещаниях выносили резолюции, идущие дальше частного совещания земцев.

Группа суджанских гласных, принадлежащих к «Союзу освобождения», решила собрать по уезду подписи под ноябрьским постановлением «частного совещания».

Мы ездили в Касторную к знакомым крестьянам. Они оказались гораздо более ориентированными в вопросе, чем мы ожидали. Читали «Русское слово» или даже «Русские ведомости», безусловно сочувствовали идее народного представительства и всяким связанным с ним теориям, решительно высказывались только за законодательное собрание. Все очень охотно согласились дать свои подписи. Я не заметил, чтобы кто-либо уклонился.

Неграмотные крестьяне просили разрешения вместо фамилии ставить крест. Это дало бы повод доказывать, что неграмотные и не понимают, что требуют, и не подготовлены к

представительному строю. Все же, ввиду настойчивого желания некоторых неграмотных подписать резолюцию большинства, я согласился, чтобы они вместо подписи ставили кресты. При этом кто-нибудь из грамотных удостоверял своей подписью, кем поставлен крест.

История с крестами вскрыла, что крестьяне придавали сбору подписей присоединяющихся к резолюции частного совещания земских деятелей весьма реальное значение. Крестьяне учитывали, что против участников земского совещания могут быть приняты правительством репрессивные меры, которые распространились бы затем и на присоединившихся. Важно было, чтобы число их стало возможно большим.

Целый день провели мы в Касторной за политическими разговорами. В избу приходили все новые и новые люди на смену подписавшимся. Уже смеркалось, когда в избу вошел крестьянин, приехавший со станции. Там была получена телеграмма о сдаче Порт-Артура. Все смолкли. Стало тяжело. Мы простились со своими собеседниками и поехали домой.

Смешанное чувство большого несчастья и несомненного облегчения испытывалось мною и, по-видимому, всеми, с кем приходилось говорить в этот вечер. Это было новое наше поражение, совершенно неизбежное и давно предвиденное, ослаблявшее наше положение в Маньчжурии и усиливавшее противника. Вместе с тем легче было за остаток гарнизона, избавлявшегося от напрасных страданий.

Положение князя Святополка-Мирского было весьма непрочно и вскоре окончательно пошатнулось. Как стало впоследствии изве-

стно, царь, которому Святополк-Мирский доложил постановление «частного совещания земских и городских деятелей», созывал несколько совещаний, после которых поручил князю составить манифест в соответствующем духе. Однако в последнюю минуту восторжествовало противоположное мнение, и манифест, по совету Витте, был подписан и опубликован без самой существенной его части, говорившей о введении народного представительства.

Добавлю, что столь быстро отмененная «весна» Святополка-Мирского была допущена под влиянием убийства Плеве. Князь Святополк-Мирский вновь подал в отставку. Правительство вернулось к репрессиям. «Патронов не жалеть»,— провозгласил генерал Трепов. Но ни революционное, ни общественное движение не затихали.

О кровавом столкновении 9 января в Петербурге мы в Москве узнали лишь на следующий день. Впечатление было гнетущее. Всюду собирали деньги на помощь пострадавшим. По делу я должен был ехать в Петербург, и мне дали отвезти туда собранные деньги. Лица, которым надо было их вручить, могли быть арестованы. В таком случае следовало передать деньги кому-либо из редакторов газет «Наша жизнь» или «Сын Отечества». В Петербурге я узнал, что редакция «Нашей жизни» закрыта, но редактора можно в 7 часов вечера застать на квартире.

Когда я в указанное время явился, у подъезда сидело двое мужчин, присутствие которых мне показалось подозрительным. Но мне только что сообщили, что в квартире все благополучно. Взошел на третий этаж и позво-

нил. Мне отворил полицейский — я попал в засаду! В передней множество шуб. Кабинет полон людей. За письменным столом жандармский офицер просматривает находящиеся в столе бумаги. По прочтении он одни возвращает на место, другие откладывает в сторону. Все стулья и диваны заняты безмолвной публикой, изредка перешептывающейся между собой. Потеснились и дали мне сесть. Я чувствовал себя преглупо. Хозяина я никогда не видел и не мог установить поэтому, находится ли он среди нас. Какое дать объяснение моего прихода и наличности при мне изрядной суммы денег? Ну, да к редактору газеты мало ли зачем приходят!

Записку с адресами лиц, через кого можно было передать пожертвования, я поспешил разжевать и проглотить. Так просидели мы до утра. Покончив с письменным столом, жандармский офицер произвел обыск всех присутствующих и на каждого составил протокол. Я был последним и, прослушав опросы всех, увидел, что хозяина между нами нет. Около 7 часов офицер удалился. Невысокий пожилой господин в очках, очевидно, друг хозяина, чувствовавший себя менее принужденно, чем мы все, предложил ввиду неудобного часа для возвращения домой перейти в столовую и закусить чем бог послал. В буфете нашелся хлеб и сыр. Мы подзаправились и в восьмом часу стали расходиться.

Белевский — как назвался господин, взявший на себя роль хозяина, отведя меня в сторону, спросил:

— Вы из Москвы? Издатель? «Северный вестник» ваша сестра издавала? А «Полет

птиц»? Вам очень нужен редактор? Он арестован, но я смогу передать, что нужно.

Но я не решился довериться совершенно мне не известному человеку.

Несколькими часами позже, придя в редакцию «Сына Отечества», чтобы передать деньги по последнему, еще действовавшему адресу, я опять встретил Белевского в кабинете редактора.

— Ну я на минутку выйду,— предупредительно засмеялся Белевский,— Михаилу Васильевичу очень нужно переговорить наедине.

С Белевским после этого мы свели знакомство. Он оказался бывалым, много видевшим, наблюдательным и вдумчивым человеком. Он отлично владел пером. Впоследствии Н. В. Сперанский, когда заведовал иностранным отделом в «Русских ведомостях», познакомившись с Белевским через меня, устроил его корреспондентом в Париже. Его живо написанные корреспонденции, подписанные псевдонимом «Белорусов», охотно читались и всегда вызывали к себе внимание удачным выбором тем и свежим подходом к изображаемому.

В Москве всю зиму царило необычайное оживление. Редкий вечер не было где-либо заседания или собрания — открытого или частного. Оживились и отдались политике общества и организации, скромно до того работавшие в отведенной им уставами сфере и даже едва влачившие существование. Складывались новые объединения. Одним словом, все ринулись в политику, побуждаемые к тому кто сознанием долга и убеждением, кто расчетом, а кто честолюбием или даже тщеславием. Всякий

общественный вопрос, всякое собрание неизменно упирались в политические требования. Если когда-то говорили об «увенчании здания» реформ Александра II, а потом писали, что «нужны не реформы, а реформа», то теперь уже без обиняков требовали конституции. Учредительное собрание, одна или две палаты, всеобщее, прямое, равное и тайное голосование, так называемая четыреххвостка, аграрная реформа стали темами светских разговоров. Кто стал изучать Великую французскую революцию, кто — государственное устройство передовых западных демократий.

По приглашению брата Сережи у него на квартире состоялось совещание нескольких издательств по вопросу скорейшего выпуска в свет книг по теории и практике народного представительства ввиду бедности русской литературы по этим вопросам, выдвинувшимся теперь на авансцену ходом событий. Насколько припоминаю, кроме нас, были И. Д. Сытин, С. А. Скирмунт («Труд»), В. М. Антик (Универсальная библиотека), Н. П. Ложкин (Вятское товарищество), Д. И. Шаховской (Ярославское земство). Все представленные издательства уже готовили книги этого порядка, поделились своими предположениями и разобрали между собой издания, рекомендованные к переводу.

Мы выпустили «Тексты конституций», Боржо «Учреждение и пересмотр конституций», Беджгот «Государственный строй Англии», Еллинек «Права меньшинства» и другие книги, внешне объединенные лишь синим цветом обложек.

В конце мая намечался объединенный

съезд земских и городских деятелей, в котором должен был участвовать и Сережа.

РАНЕНИЕ БРАТА СЕРЕЖИ

Лето 1905 года предвиделось хлопотливое. Предстояли всякие разъезды. Из-за участия нашего в общественном движении ни Сережа, ни я не хотели надолго отрываться от Москвы. Мы с Софией Яковлевной решили устроить детей на лето в близком от Москвы Костине. В начале мая мы перевезли их туда с бабушкой Софией Николаевной.

Сережа, избранный в гласные Московской городской думы, был очень занят. В мае подготовлялся съезд городских и земских деятелей, и Сережа несколько раз ездил в Петербург для переговоров с тамошними гласными. Вернувшись из последней поездки, он сказал мне, что в Москву из Парижа приехал доктор Валле, знакомый брата Федора, имевший к Федору денежную претензию. Валле желал с нами говорить. Было условлено, что я приму его 23 мая. Но по какому-то делу я был вызван на этот день в Петербург. Чтобы не затягивать приема, Сережа уведомил доктора Валле, что будет ждать его у себя на квартире в условленное время — 3 часа дня 23 мая.

Мой отъезд, однако, был отложен, я остался в Москве и в 12 часов 30 минут 23 мая мы с Софией Яковлевной завтракали у Сережи. Он был очень бодр и весел. Мы много говорили и почти не заметили, как приблизился час, назначенный доктору Валле. Сережа шутливо выпроводил нас со словами:

— Глупо будет, если доктор Валле вообразит, что мы собрались всей семьей его принимать.

София Яковлевна пошла к Скибневским, я отправился в контору.

Около четырех часов в конторе меня вызвали к телефону. Швейцар дома, в котором мы жили, звал немедленно приехать:

— С Сергеем Васильевичем очень неблагополучно!

Разумеется, я кинулся со всею возможной поспешностью. Швейцар Петр, будто поджидая меня, стоял у подъезда. Пока я взбегал по лестнице наверх, двери в квартирах приотворялись, и оттуда выглядывали испуганные лица.

Сережина квартира была на самом верхнем этаже. Дверь была настежь открыта. Сережу я нашел распростертым на полу столовой, в луже крови, с изрезанными пальцами рук и несколькими револьверными ранами в голову.— Доктора! Доктора!— твердил он.

Но растерявшиеся кухарка и швейцар доктора еще не вызвали. С чужого телефона я сейчас же пригласил хирурга С. М. Руднева, имевшего поблизости хирургическую лечебницу в Серебряном переулке.

Через полчаса мы с С. М. Рудневым в карете медицинской помощи везли Сережу в Серебряный переулок, принимая все предосторожности, чтобы избежать тряски.

Перед тем как покинуть Сережину квартиру, я заглянул в соседнюю со столовой комнату — Сережин кабинет. На полу лежал труп доктора Валле. Разъяснений не требовалось. Получив от Сережи подтверждение того, что ему давно было известно,— что брат Федор

разорен окончательно, Валле набросился на ни в чем не повинного Сережу с ножом и с револьвером. Совершив непоправимое, он покончил с собой, приняв яд и выстрелив себе в висок.

Как я впоследствии узнал, доктор Валле по приезде в Москву посетил психиатра Н. Н. Баженова и известного адвоката О. Б. Гольдовского. На них, как они потом говорили, он произвел впечатление маньяка.

Однако никому из них не пришло в голову предупредить Сережу о состоянии доктора Валле, несмотря на то, что как раз в эти дни они неоднократно встречались с Сережей по случаю предстоявшего съезда земских и городских деятелей.

Убийство с последующим самоубийством было тщательно подготовлено доктором Валле. Был ли этот план задуман им самим или внушен маньяку кем-либо из других парижских кредиторов Федора Васильевича, темных дельцов, которые обирали его и помогали ему разоряться? Они ведь могли ожидать себе определенных выгод от этого злодейства. В случае смерти Сережи, при отсутствии завещания, часть его состояния по наследству перешла бы к брату Федору, т. е. была бы разверстана между его кредиторами. Сережа, видимо, тоже подумал об этом.

В лечебнице Сережу отнесли прямо в операционную. Оказав пострадавшему неотложную помощь, С. М. Руднев шепнул мне:

— Трещина в основании черепа. Опасность очень большая. Он хочет составить завещание. Не откладывайте ни на минуту исполнения его желания. Он очень волнуется.

По телефону я вызвал нашего юрисконсульта А. В. Шилова с нотариусом В. А. Лебедевым, которые, выслушав распоряжения Сережи, немедленно составили завещание. Затем В. А. Лебедев, бледный, с трясущимися руками, дрожащим голосом прочел Сереже текст завещания в присутствии А. В. Шилова и приглашенных свидетелей.

Сережу также беспокоили находившиеся у него на квартире конспиративные бумаги «Союза освобождения». София Яковлевна, наклонившись к больному, получила его указания и поспешила в Гагаринский переулок. Она застала на квартире Сережи пристава за составлением протокола. Ей удалось незаметно вынести указанные документы.

По моей просьбе София Яковлевна уведомила о случившемся Екатерину Алексеевну Бальмонт. Я послал телеграмму Кате, Нине и Николаю Васильевичу [Сперанскому].

Наступила ночь. Опасаясь ежеминутно катастрофы, мы с Софией Яковлевной просидели в лечебнице до утра на ступенях парадной лестницы. Из палаты доносились стоны и хрип больного. Он часто бредил.

Весть о происшедшем в тот же день обежала весь город. На следующее утро были сообщения в газетах. Друзья и знакомые по телефону и лично справлялись о положении раненого. Оно оставалось опасным. Только через неделю, уже по приезде в Москву сестер и Николая Васильевича, приступил С. М. Руднев к операции — извлечению пуль. Одна, застрявшая у позвоночника, была вынута под кокаином. Чтобы вынуть пулю, застрявшую в задней части черепа, пришлось опериро-

вать под хлороформом. Во время этой операции обнаружилось присутствие гноя в ране, и Руднев удалил часть сосцевидного отростка.

Сначала после операции казалось, что состояние раненого значительно улучшилось, однако через три недели температура вновь поднялась. Где-то продолжался гнойный процесс, встал вопрос о новой операции. По совету М. И. Берлинерблау, мы по телеграфу вызвали из Берлина профессора Краузе, который в то время стал известен своими необычайно смелыми и удачными операциями мозга и черепа. Сделанная им операция, казалось, принесла пользу, но через несколько недель снова поднялась температура. Мы вторично пригласили профессора Краузе. Сделав новую (третью) операцию черепа и предвидя возможность осложнений и возобновления гнойного процесса в костях черепа, профессор Краузе посоветовал перевезти Сережу в Берлин, где больной был бы под постоянным его наблюдением. Так мы и сделали, и в конце августа Николай Васильевич в сопровождении доктора И. А. Машина перевез Сережу в Берлин. Туда же поехали Катя с Ниной.

В промежутках между операциями в Москве Сережа держал себя удивительно бодро, возбуждая своим мужеством и присутствием духа общее восхищение. Он охотно принимал в своей палате многих посещавших его друзей и знакомых. Кроме родных и Николая Васильевича, постоянно дежуривших у его постели, раненого ежедневно с трогательным постоянством навещал В. Е. Якушкин.

Часто бывали М. Я. Герценштейн, Н. Н. Львов, Д. И. Шаховской, В. И. Вернад-

ский, С. Н. Трубецкой. Они подробно осведомляли его о ходе общественной и политической жизни. Постоянно забегали товарищи, в том числе М. Г. Лунц. У постели больного, при его живейшем участии, происходили совещания об учреждении Университета Шанявского, о чем я расскажу особо.

УНИВЕРСИТЕТ ШАНЯВСКОГО

В лето 1905 года жизнь приняла трагический оборот и у Шанявских. Альфонс Леонович уже давно серьезно страдал аневризмом аорты. Постепенно от ее пульсаций произошло прободение грудной клетки, и аорта выпятилась наружу. Продолжать жить можно было только с соблюдением величайших предосторожностей. Малейшего кашля, случайного усилия или быстрого движения, волнения или испуга было достаточно, чтобы произошел разрыв аорты и мгновенная смерть.

Лидия Алексеевна окружила страдальца уходом, какой только могли предписать врачи. Никто к Альфонсу Леоновичу не входил, кроме самой Лидии Алексеевны и Эмилии Робертовны Лауперт, из преданности к больному сочетавшей свою работу чтицы с обязанностями сиделки. Звонок у парадного был снят. Мостовая перед домом устлана соломой, чтобы смягчить грохот проезжавших экипажей. Приходящие по делам принимались Лидией Алексеевной, которая в случае необходимости излагала затем Альфонсу Леоновичу дела, требовавшие его решения, выбрав для этого время и после соответствующего приготовления.

Живя отшельниками, в постоянном присутствии подстерегавшей Альфонса Леоновича смерти, супруги решили использовать последнее оставшееся у них время для предсмертных распоряжений. Пригласив меня к себе, Лидия Алексеевна сообщила, что, по соглашению с ней, Альфонс Леонович хочет отдать все свое состояние на устройство в Москве вольного университета. Высшее образование для женщин в России получило признание, пояснила она. Теперь надо добиваться не особых высших учебных заведений специально для женщин, а права женщин поступать в высшие учебные заведения наравне с мужчинами. Таким образом, поборники женского высшего образования, всю жизнь за него ратовавшие, совершенно последовательно, в сознании достигнутых успехов, ставили новые задачи. Их новый университет должен был быть открыт для лиц обоего пола, для всех желающих и могущих восприять высшее образование, независимо от прохождения средней школы, наличия диплома, от знания, наконец, пресловутых классических языков.

Лидия Алексеевна просила меня совместно с Владимиром Карловичем Ротом обдумать и разработать пути к скорейшему осуществлению этого дела. Я подал мысль, что в создавшихся условиях лучше всего опереться на какое-нибудь уже существующее учреждение и принести ему дар на определенных условиях, с тем чтобы оно уже выхлопотало у правительства разрешение и организовало университет. Мне казалось самым подходящим передать немедленно ассигнованные Альфонсом Леоновичем на университет средства Мос-

ковской городской думе. В то время она стояла впереди в общественном движении.

Я просил разрешения обсудить дело с братом Сережей и Н. В. Сперанским и находившимся в то время за границей А. И. Чупровым. В горячем сочувствии его новому начинанию я не сомневался. Привлечение его к этому делу должно было содействовать успешному осуществлению замысла Шанявских, по тому времени поистине грандиозного. Одобрив мои соображения, Лидия Алексеевна просила меня написать также М. М. Ковалевскому, в те годы устроившему в Париже с большим успехом Русскую высшую школу.

Перейдя затем с Новинского бульвара в Серебряный переулок, я рассказал Сереже и неотлучно при нем находившемуся Н. В. Сперанскому про предложение Шанявских. Оно было встречено с величайшим сочувствием.

У постелей двух обреченных страдальцев любовно и деловито разрабатывалась организация просветительного предприятия, которое должно было осуществиться уже после них, но правильному направлению которого они оба отдавали свои умственные силы. Я был связующим звеном, участвуя в обсуждении дела на Новинском бульваре с самими Шанявскими и в Серебряном переулке — с их советниками.

Ответы А. И. Чупрова и М. М. Ковалевского не заставили себя долго ждать. М. М. Ковалевский предлагал создать не университет, а Высшую школу общественных наук. Развивая в письме к Александру Ивановичу свои доводы в пользу такого решения, он выдвигал и соображения материального свойства. Преподавание общественных наук не тре-

бует дорогостоящих лабораторий, без которых нельзя сколько-нибудь серьезно поставить занятия по естественным наукам.

Однако Шанявские, как истинные шестидесятники, именно естественные науки ставили в основу своего плана. Да и мы, их сотрудники, признавая справедливость соображений М. М. Ковалевского и оценивая громадную потребность в школе общественных наук, особенно при ожидавшемся введении у нас народного представительства, все же решительно стояли за основательную в первую очередь постановку естественных наук. Притом мы были совершенно уверены, что правительство к высшей школе общественных наук отнесется с сугубой подозрительностью и ни в коем случае ее не разрешит.

Ко времени отъезда Сережи с Николаем Васильевичем в Берлин основные черты задуманного Шанявским университета и план действий к его осуществлению были намечены.

В августе приехал в Москву М. М. Ковалевский. После всестороннего обсуждения с ним предложений Альфонса Леоновича Лидия Алексеевна просила меня устроить совещание из руководящих гласных Московской городской думы и некоторых общественных деятелей, с тем чтобы затем уже обратиться в Думу с официальным заявлением о пожертвовании на устройство университета. Это совещание состоялось у меня на квартире. В нем приняли участие гласные Думы В. К. Рот, С. А. Муромцев, Н. М. Перепелкин, Н. И. Гучков, М. Я. Герценштейн, а из прочих общественных деятелей М. М. Ковалевский, князь С. Н. Трубецкой, В. Е. Якушкин, Н. В. Сперанский и я.

Лидия Алексеевна приехала заблаговременно. Она страдала глазами и не могла сидеть за общим столом при ярком электрическом освещении. Я устроил ее в соседнем кабинете, в котором зажег лишь две свечки под зеленым матерчатым абажуром.

Гости по мере прибытия заходили к ней в полутемный кабинет поздороваться и переговорить лично об интересующем ее деле, а затем размещались в большой комнате за столом, покрытым оливковым сукном, специально купленным по настоящему случаю Софией Яковлевной. На столе в вазочках были разложены фрукты, печенье и конфеты. Когда все оказались в сборе и разместились вокруг стола, Аксюша, наша горничная, разнесла чай.

Обсуждение проходило в самых сочувственных новому начинанию тонах. Наибольшие затруднения вызывал выдвинутый, помнится мне, Н. М. Перепелкиным вопрос о взаимоотношениях между университетом и городом. В общем предложения Шанявских были приняты и поддержаны всеми собравшимися. Городской голова князь В. М. Голицын не был на совещании, но В. К. Рот переговорил с ним по просьбе Лидии Алексеевны отдельно и заручился полным его сочувствием. Можно было давать делу официальный ход!

15 сентября Альфонс Леонович подписал заявление в Московскую городскую думу с просьбой принять от него «для почина» в дар дом на Арбате «для устройства и содержания в нем или из доходов с него Народного университета». Университет в заявлении был назван «народным» по тактическим соображениям, так как боялись словом «вольный» затруднить его

разрешение. В отправленном одновременно письме к министру народного просвещения генералу В. Г. Глазову Альфонс Леонович называл проектируемый им университет «вольным».

Итак, делу был дан официальный ход, и 15 сентября 1905 года оно двинулось все ускоряющимися темпами: 20/IX Городская дума передала заявление Альфонса Леоновича на заключение в комиссию.

25/X.05 Дума по докладу комиссии принимает пожертвование и благодарит жертвователя.

26/X.05 Альфонс Леонович составляет духовное завещание, которым все свое имущество завещает в пожизненное пользование Лидии Алексеевне, после смерти которой оно должно поступить на усиление средств университета.

3/XI.05 градоначальник извещает о неимении препятствий к принятию городом пожертвования.

5 ноября Альфонс Леонович выдал Лидии Алексеевне доверенность на заключение от его имени дарственной в пользу Думы на жертвуемый им городу дом. 7 ноября эта дарственная совершилась утром приглашенным на квартиру нотариусом, а вечером Альфонса Леоновича не стало: он скончался от кровоизлияния. Альфонс Леонович умер, сделав решительно все от него зависящее, чтобы обеспечить осуществление задуманного им вольного университета. Умирая, он знал, что начинание его вверено в надежные, опытные, твердые руки Лидии Алексеевны.

Перед кончиной он назначил душеприказчиками своими: профессора В. К. Рота, бухгалтера и доверенного своего И. Я. Волкова и

меня. В учрежденную Думой при принятии его пожертвования Комиссию по составлению устава университета Альфонс Леонович назначил: Л. А. Шанявскую, В. К. Рота, М. М. Ковалевского, С. А. Муромцева, К. А. Тимирязева, В. Е. Якушкина, А. Н. Шереметьевскую, А. Н. Реформатского, Н. В. Сперанского и меня.

Городской думой, в свою очередь, уже после кончины Альфонса Леоновича были избраны в комиссию: А. С. Алексеев, А. С. Вишняков, А. Н. Генерт, М. Я. Герценштейн, князь В. М. Голицын, А. И. Гучков, А. А. Мануйлов, Н. М. Перепелкин, С. В. Пучков и И. К. Спижарный.

Попечительный совет образован был в следующем составе: по назначению Альфонса Леоновича — Л. А. Шанявская, В. К. Рот, С. В. Сабашников, М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, К. А. Тимирязев, А. Н. Шереметьевская, А. Н. Реформатский, Н. В. Сперанский и я, а по избранию Городской думы: В. А. Морозова, графиня Е. А. Уварова, А. С. Алексеев, А. А. Мануйлов, князья В. М. Голицын и Е. Н. Трубецкой, А. С. Вишняков, Н. М. Перепелкин, С. А. Федоров, Н. М. Кулагин.

На этих людей легла ответственность за открытие в Москве вольного университета. Это им удалось. Справедливость требует отметить выдающуюся роль Лидии Алексеевны в борьбе за разрешение университета и исключительную помощь, оказанную делу всем русским обществом.

В брошюре Н. В. Сперанского «Возникновение Московского городского Народного уни-

верситета им. А. Л. Шанявского. Историческая справка» (Москва, Городская типография, 1913) живо рассказано, с какими затруднениями пришлось встретиться при открытии университета.

Добавлю лишь несколько штрихов и личных наблюдений. Альфонс Леонович в своем завещании, предвидя обычную у нас волокиту, отказывал все свое состояние (сверх пожертвованного им еще при жизни арбатского дома) в пожизненное владение Лидии Алексеевны, а по смерти ее университету с одной весьма важной оговоркой: в случае если университет не будет открыт в трехлетний срок после его заявления, т. е. к 3 октября 1908 года, то средства, им завещаемые, должны поступить Петербургскому женскому медицинскому институту. И этого трехлетнего срока едва хватило, так как открытие университета состоялось только накануне рокового для начинания Шанявских дня, т. е. 2 октября 1908 года.

В оставленных Лидией Алексеевной бумагах сохранились следы ее неутомимых и настойчивых «демаршей» (как говорили в светском обществе, избегая слова «хлопоты» или, еще хуже, «ходатайства», вносивших представление о личной как бы заинтересованности) перед петербургскими сферами. В действительности большой разницы не было, и так называемое «общее благо» приходилось отстаивать в Петербурге теми же приемами, какими любой предприниматель домогался нужных ему концессий, ссуд, тарифов и пр. Попросту говоря, помимо официального направления дела, надо было его продвигать, обивая пороги. Однако облекалось это «хождение» в весьма благооб-

разные, светские формы. Достаточно приглядеться к пачке писем, билетов, черновиков, памятных записок, визитных карточек, расписок, оставшихся после этой нервной, напряженной, неблагодарной, в сущности, работы!

Министр народного просвещения Шварц собственноручным письмом лицемерно заверяет Лидию Алексеевну, что не имеет никаких «злокозненных» намерений относительно университета имени ее супруга.

Лидия Алексеевна личным своим посещением П. Н. Дурново сумела вырвать у этого столпа правых обещание не выступать в Государственном совете против университета. Так когда-то она добилась от К. П. Победоносцева обещания не являться на заседание, на котором должна была решаться участь Женского медицинского института.

Однако П. Н. Дурново накануне заседания Государственного совета освободил себя от данного им обещания следующим характерным письмом, приводимым мною дословно:

Милостивая государыня,
Лидия Алексеевна!

Несколько дней тому назад Вам угодно было посетить меня, и во время нашей беседы о Народном университете я сказал Вам, что не буду говорить в заседании Государственного совета по этому делу. Очень сожалею, что мне приходится в настоящее время изменить свое первоначальное предположение, и я считаю себя обязанным сообщить Вам, что завтра намерен представить Государственному совету свои соображения по интересующему Вас делу,—соображения мои склоняются к

тому, чтобы проект был отвергнут. Пожалуйста, не посетуйте на меня за такое мое намерение и благоволите принять уверения в моем совершенном почтении и преданности.

П. Дурново

Собственно говоря, это письмо не требовало ответа. Но не в интересах университета было оставлять впечатление разрыва отношений, и сохранился собственноручный черновик ответа Лидии Алексеевны:

Только что вернувшись от всенощной, получила Ваше письмо — очень мне прискорбно Ваше решение, но каждый человек поступает по своему убеждению, и мне остается Вас поблагодарить за Ваше рыцарское предупреждение: „Иду на Вы с войной“.

С глубоким уважением и совершенной преданностью.

Здесь каждое слово взвешено. Упоминание о всенощной должно было показать, что задуман университет не безбожниками какими-нибудь, а признание «рыцарства» имело цель, насколько возможно, смягчить остроту предстоявшего выступления против университета.

Хлопоты Лидии Алексеевны в Петербурге увенчались успехом. Положение о Московском городском Народном университете имени А. Л. Шанявского благополучно прошло и Государственную думу и Государственный совет.

Положение об университете получило силу закона 26 июня 1908 года, когда собственною его императорского величества рукою написано было: «Быть по сему».

Даже после этого Шварц еще раз затормозил было дело, не признав ранее избранный (13 июня 1906 года) попечительный совет с его председателем, несмотря на то, что выборы в свое время не были опротестованы градоначальником. Но в данном случае министр народного просвещения уже был бессилен. Дума перебаллотировала своих представителей в попечительный совет; Совет переизбрал профессора В. К. Рота своим председателем, который и был утвержден министром 2 сентября 1908 года.

Оставался ровно месяц на организацию преподавания в университете. Правление (в составе председателя Н. В. Давыдова, А. Н. Реформатского, Н. М. Кулагина, Н. В. Сперанского, В. М. Хвостова и несколько позже П. А. Садырина) сумело с честью справиться с выпавшей на него задачей. 1 октября 1908 года в помещении Городской думы было отслужено, как полагалось в то время, молебствие и состоялся акт открытия университета. Актовую речь произнес профессор П. Г. Виноградов. На следующий день, 2 октября, накануне рокового срока, прочтена была А. Ф. Фортунатовым первая лекция.

За протекшие два с лишком года попечительный совет занят был не одними заботами об уставе университета. Для того чтобы показать объем деятельности совета за это подготовительное время, привожу выдержку из «Русских ведомостей» с отчетами о заседаниях совета. (Заседания происходили несколько раз в здании Городской думы, в большинстве же случаев у меня на квартире, что давало воз-

можность принимать в них участие и больному брату Сереже.)

Последнее заседание Попечительного совета Университета Шанявского, на котором сверх членов Совета присутствовали приглашенные в качестве консультантов профессоры П. П. Петров и Я. Я. Никитинский, представляло выдающийся интерес. Предметом обсуждения служила организация проектируемого при университете химического института, на который, кроме общих средств университета, должно пойти сделанное В. А. Морозовой пожертвование в 50 000 руб.

Докладчиком явился член Совета,директор практической академии, приват-доцент А. Н. Реформатский. Определяя задачи нового учреждения, докладчик развивал ту мысль, что институт этот не должен ограничиваться одними учебными целями в узком смысле слова. В России давно назрела потребность в лабораториях для вольных работников в области химических вопросов, и на потребность эту не раз указывалось в печати. Одним из самых горячих поборников этой идеи был, между прочим, покойный профессор В. В. Марковников. Подобные учреждения имеют, несомненно, великую важность, во-первых, для развития самой химической науки. Сколько научных мыслей, которые родятся в головах людей, не принадлежащих к составу наших ученых корпораций, остаются втуне по невозможности их разработать. Но еще настоятельнее сказывается потребность в вольных химических лабораториях в прикладной области. Вся мощь западноевропейской экономической культуры основывается на том, что техника и наука вошли там в самый тесный союз друг с другом. А что у нас для этого сделано, если не считать немногих лабораторий при кое-каких крупных заводах и мануфактурах, где притом в силу царящей кругом атмосферы тоже не развивается никогда достаточно напряженная научная работа? Более же мелкие предприятия, промышленные и сельскохозяйственные, совершенно лишены возможности научно отвечать на возникающие перед нами практические вопросы.

,,А потому,—так заключил докладчик,—в вольном народном университете от города Москвы, центра России, надо создать такой химический институт, где бы могли найти себе приют не только начинающие изучение химии, но и ученые химики-теоретики и химики-практики. Надо создать институт, куда бы мог прийти всякий желающий

работать, куда бы могли обращаться за разрешением своих вопросов с химической их стороны (по водоснабжению, вентиляции, канализации и т. п.) общественные учреждения (города, земства), куда бы мог обратиться русский самоучка-изобретатель и вообще всякий русский гражданин, нуждающийся в могучем содействии нашей науки".

Вполне присоединяясь к идеям доклада, П. П. Петров и Я. Я. Никитинский дополнили их следующими соображениями. П. П. Петров указал на полную беспомощность кустарей, занятых разными производствами химического характера, и на проистекающее отсюда великое расточение человеческого труда и здоровья.

„Должно же быть, наконец, создано место,— говорил он,— где бы кустарь наш мог чему-нибудь по прикладной химии научиться. Одними книжками и чтениями здесь не поможешь. Тут человеку надо *показать*. Так отведите у себя хоть маленький уголок, где бы пришедшему к вам за советом простому человеку можно было показать то, что его интересует, и одним этим вы сослужите России большую службу". Я. Я. Никитинский, с своей стороны, сказав несколько горячих слов на тему: „Мы бедны, так как мы не знаем сил и ресурсов окружающей природы и не умеем создавать из них богатства",— добавил, что если при институте возникает такое учреждение, куда промышленник-ремесленник пойдет с доверием и охотой за советом, то этим Университет Шанявского сослужит службу не только деревенскому подмосковному люду, но и самому городу Москве, где множество ремесленников нуждается в поддержке со стороны науки. Это свое положение профессор иллюстрировал рядом интересных примеров, заимствованных из собственной практики.

Председатель совета, профессор В. К. Рот, с своей стороны, указал, что все высказанные идеи находятся в строгом соответствии с намерениями обоих жертвователей — А. Л. Шанявского и В. А. Морозовой.

„Я считаю, что в переживаемое нами тяжелое время одной из главных наших задач должно являться привлечение симпатий широких народных масс к науке и просвещению"— так писал в записке, поданной в Думу, А. Л. Шанявский. А чем же наука может успешнее привлечь к себе симпатии народных масс, как не помощью, которую она им окажет в труде их ради снискания куска хлеба.

ТРЕВОЖНОЕ ВРЕМЯ

В октябре 1905 года вся Россия была охвачена забастовкой, той исторической, небывалой, всеобщей политической забастовкой, вынудившей Николая II издать 17 октября манифест о созыве народного представительства и призвать к власти С. Ю. Витте.

О манифесте 17 октября в Москве узнали в тот же день поздно вечером. Я был на собрании в доме братьев Долгоруковых. Заседание уже кончилось, и многие разошлись. Тем не менее престарелый Митрофан Павлович Щепкин сказал на радостях слово на тему «ныне отпущаеши»... Это было несколько театрально, но наступила эра массовых движений, при которых некоторые жесты уместны и даже необходимы. Прочувственное слово, сказанное стариком в полутемном зале (вследствие забастовки электричество не действовало), было притом задушевно и искренно. Расходиться по домам было невозможно. Решили идти в Литературно-художественный кружок (на Дмитровке). Несмотря на позднее время, темень на улицах и полное отсутствие всяких средств передвижения, в Литературно-художественном кружке собралось много народу. Говорили речи. Два члена стачечного комитета явились объявить, что постановлено прекратить забастовку.

В один из вечеров М. Л. Мандельштам (известный юрист, защитник Каляева), думая, что у меня имеется револьвер, просил меня одолжить ему его на один день.

— Не для нападения? — спросил я. М. Л. Мандельштам поручился, что только для самообороны. Я дал ему тот самый револьвер (единственный мой), который по настоянию Сережи я возил с собой во время поездки в Сибирь (из отвращения к этим вещам ни разу не вынув его из чемодана) и который затем лежал у Сережи заряженный на столе в злополучный день 23 мая, не принеся ему никакой пользы. Через несколько дней Мандельштам сообщил мне, что револьвер этот был им передан Бауману, отправлявшемуся во главе группы манифестантов освобождать заключенных из Бутырской тюрьмы. Известно, что Бауман был убит тогда на пути к тюрьме человеком, вооруженным ломом.

Похороны Баумана вылились во внушительную демонстрацию, в конце чуть не поведшую к кровопролитию между казаками, стоявшими в манеже, и демонстрантами, возвращавшимися с кладбища.

В ответ на красную демонстрацию черные проявили злобное раздражение. Говорили, что с Каменного моста толпа сбросила в реку студента-«социалиста». По домам разбрасывали погромные листки. На дверях частных квартир какие-то личности, по-видимому загримированные, ставили мелом непонятные знаки.

Черносотенные газетки, которые тогда появились, недвусмысленно призывали к действиям. Евреи стали опасаться погрома, дела в Москве небывалого.

Узнав о тревожном настроении супругов Энгель (муж был музыкальным критиком в «Русских ведомостях»), София Яковлевна пригласила их с детьми и М. Я. Лунца временно

перебраться к нам на квартиру. И вот, придя как-то вечером домой, я нашел на диванах и на сложенных вместе креслах импровизированные постели, в которых мирно спали детишки Энгель. Но у родителей на душе не было покоя. Когда я в парадной внизу проходил мимо швейцара Петра, обычно приветливого и веселого, как и полагается швейцарам, он меня угрюмо спросил, много ли у нас будет спать лишнего народа. Было ясно, что прибытие семьи Энгель им замечено. М. Я. Лунц, часто запросто бывавший у нас и у Сережи, тоже заметил какую-то перемену в швейцаре. Решив не перегружать нашу квартиру, мужчины — Энгель и Лунц — поздно вечером ушли от нас в «Русские ведомости», оставив у нас только madame Энгель с детьми.

НОЯБРЬСКАЯ ПОЕЗДКА В БЕРЛИН

В ноябре я получил от Николая Васильевича известие, что Краузе находит нужным сделать Сереже новую операцию, в высшей степени серьезную, и что профессор желал бы, чтобы я приехал в Берлин, если это возможно. Смысл этого сообщения был слишком ясен. Мы тотчас же выехали, оставив детей на попечение бабушки.

В Берлине мы сошли с поезда в Шарлоттенбурге и пешком пошли прямо в Вестсанаториум.

Сережу я нашел по-прежнему мужественно переносящим свои невзгоды и готовым на

операцию, серьезность которой он хорошо оценивал. Кроме Н. В. Сперанского и Ольги Александровны, в Берлине мы нашли Катю с Ниной и Е. А. Бальмонт. Я, конечно, все время проводил с братом.

Ближе присмотрелся я к Краузе в эту и предыдущую свою поездку в Берлин и еще более стал его уважать. Он работал много, очень много. Операции начинались в 7 часов 30 минут утра. В день их было несколько. В большинстве случаев операции были исключительной трудности и требовали ответственности, часто такие, что только он один и решался их предпринимать.

Пациенты стекались к нему со всех концов Старого и Нового Света. Но ни о чрезмерном обременении, ни об усталости и переутомлении не говорилось. Слово «некогда» не произносилось. Когда являлась надобность, у Краузе всегда находилось время. Назначался день и час, но нужно было быть аккуратным, ибо время было размерено по минутам. Громадная работа, требовавшая большого нервного напряжения, не мешала ему заниматься автомобильным спортом, собирать у себя ежедневно вечером знакомых, музицировать с любителями, исполняя партию виолончели, читать вновь выходящие книги даже не по своей специальности. Так, тогда выходили мемуары Бисмарка, впечатлениями от которых он охотно делился. К удовольствиям стола он был совершенно равнодушен.

В этот, а может быть, в предыдущий приезд мой в Берлин посетили мы с Николаем Васильевичем Иоллоса и с большим интересом провели у него вечер. Его корреспонденции «Из

зала рейхстага» в свое время читались с большим вниманием и, конечно, много содействовали распространению в русском обществе идей конституционных. Но в данную минуту не Берлин, а Москва и Россия привлекали к себе внимание. Мне пришлось самому больше рассказывать, чем слушать. Помню, как многое Иоллосу казалось странным и непостижимым. Когда он затем переехал в Москву и на некоторое время занял место редактора «Русских ведомостей», мне иногда казалось, что этот опытный журналист как-то чувствует себя чуждым тому, что у нас творится.

Операция прошла благополучно. Но результаты ее могли выясниться лишь через некоторое время. Нельзя было в Берлине забывать совет, данный нам перед отъездом в неустроенном нашем отечестве: «Не засиживайтесь». Надо было спешить домой. Обратную дорогу совершили втроем: София Яковлевна, сестра Катя и я.

* * *

После 1905 года, года катастроф личного и общественного характера, следующий, 1906 год должен казаться относительно спокойным. Таким сравнительно он и был, объективно говоря. Субъективно же он мне дался очень нелегко. Прежде всего, тяжелым камнем на сердце лежало ранение Сережи. Доктор Краузе сделал, что мог, и, находя дальнейшее пребывание Сережи в хирургической лечебнице излишним, посоветовал ему в феврале переехать на Ривьеру, лето провести в Германии (в Бадене), а затем осенью вернуться в Россию. В январе

мы с Софией Яковлевной ездили в Берлин повидаться с Сережей.

Весной, приготовляясь к возвращению Сережи в Москву, мы с Софией Яковлевной подыскали новые квартиры для него и для себя так, чтобы Сережа попал в Москву в совершенно новую обстановку, не напоминающую кошмарное нападение на него. Мы остановились на двух смежных квартирах на третьем этаже дома Коробковой по Тверскому бульвару, № 6. Они были соединены внутренним ходом. Впоследствии в полуподвальном этаже этого же дома мы сняли помещение для конторы книгоиздательства. Удалось снять и обширное помещение, специально приспособленное под книжный склад арендатором Скирмунтом (издателем и владельцем книжного магазина «Труд») в Калашном переулке.

В начале 1906 года происходили выборы в 1-ю Государственную думу, по довольно сложной куриальной и двустепенной системе, далекой от требовавшейся тогда оппозиционными партиями «всеобшей, прямой, равной и тайной».

Я принял участие в выборах по двум уездам: Суджанскому — Курской губернии и Покровскому — Владимирской губернии. Последним я был избран в выборщики и в этом качестве участвовал в избирательном собрании во Владимире. Меня очень уговаривали баллотироваться, особенно настойчиво — В. Е. Якушкин. Однако при сложившихся семейных обстоятельствах я чувствовал, что едва-едва справляюсь с делами, на мне лежавшими, и решительно отказался от баллотировки.

От Думы тогда ждали многого, и день ее открытия представлялся началом новой эры

для России. В Москве, как и в Петербурге, в этот день стояла чудная погода. Мы с Софией Яковлевной, забрав детей, уехали на весь день в Петровский парк. Расположившись на траве около одной из башен Петровского дворца, чтобы закусить взятыми из дома бутербродами, я старался занять детей рассказами из русской истории, воображая про себя, что они, дожившие до зрелых лет, вспомнят этот великий день открытия русского парламента, так необычно ими проведенный. Теперь это вызывает улыбку, но ведь я хочу описывать все как было, не уклоняясь от истины.

СКАРЛАТИНА У ДЕТЕЙ

В августе София Яковлевна, оставив детей в Костине на попечении бабушки Софии Николаевны, приехала в Москву, чтобы перевезти нашу и Сережину обстановку на новые квартиры, с Гагаринского переулка на Тверской бульвар. Она привезла мне несколько очень удачных фотографических снимков детей и бабушки под вековыми елями костинского парка. Некоторые и до сих пор сохранились, восстанавливая картину нашей жизни того времени. Разборка вещей на новой квартире была в полном разгаре, когда от Софии Николаевны пришла телеграмма, что Ниночка заболела скарлатиной. Этой болезни мы особенно боялись из-за коварных последствий, иногда отражающихся на всю жизнь.

В то время врача в нашей костинской больнице временно замещала Ольга Константи-

новна Лукина, супруга Мстислава Яковлевича. При всем нашем доверии к ее знаниям, опытности и вниманию нам все же хотелось, чтобы диагноз подтвердил и поставил лечение специалист по детским болезням. София Яковлевна поспешила к Сергею Ивановичу Веревкину, который после смерти Н. Ф. Филатова лечил обыкновенно наших детей. Но Сергей Иванович оказался в отъезде, на Балтийском побережье, и София Яковлевна уехала к детям одна, предоставив мне найти детского врача и привезти его на консультацию в Костино.

По совету Е. П. Косменковой, служившей тогда в Москве в должности школьного врача, я обратился к молодому сравнительно врачу городской Морозовской детской больницы Молоденкову. Он согласился ехать со мной в Костино и взял с собой противоскарлатинную сыворотку, только что тогда найденную и, как он говорил, с успехом применявшуюся в Морозовской больнице.

С этим драгоценным спасительным средством мы ночью того же дня ввалились в Костино. В Якушкинском флигеле мы нашли Софию Яковлевну и Ольгу Константиновну с двумя больными девочками — нашей Ниночкой и Лидушей Лукиной. Здоровые дети с Софией Николаевной были отделены и находились в большом доме, который хотя и занимался под школу, но ввиду каникул пустовал.

Молоденков подтвердил диагноз Ольги Константиновны, одобрил ее лечение и меры, принятые Софией Яковлевной, для изоляции больных и предложил сделать девочкам впрыскивание сыворотки, на что обе матери согласились.

Но мы не имели представления, на какое мучение обрекались наши девочки! Густая сыворотка, впрыскиваемая в громадных дозах, с насилием вдавливалась в их маленькие тельца, образуя большие вздутия и причиняя нестерпимую боль. Самолюбивая Ниночка держала себя маленьким героем. Сжавши кулачки и стиснув зубы, в продолжение всей мучительной операции она не проронила звука, и только градом лившиеся из глазенок слезы выдавали ее страдания.

Совсем иначе держала себя Лидуша. Она дралась, кусалась, кричала. Приходилось держать ее за руки и ноги, выслушивая обращенные к нам упреки: «Дурачонки, дурачонки! Какая же ты мать, коли так дочь свою мучаешь!» и т. д.

Страдания не ограничились одной операцией. Затем началась бурная реакция. По всему телу высыпала сыпь, начался нестерпимый зуд. Это стоило мук самой операции. Тут уж и терпеливая Ниночка теряла волю над собой! Одним словом, когда через восемь дней заболел Сережа, а через восемнадцать дней после него Таня, то София Яковлевна решила к сыворотке не прибегать. Врачей из Москвы мы не приглашали, и София Яковлевна с Ольгой Константиновной отлично выходили всех четырех больных детей.

Это была трудная осень для Софии Яковлевны, но все прошло совершенно благополучно и без осложнений.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕРЕЖИ В МОСКВУ

Дети еще болели скарлатиной, когда от Николая Васильевича Сперанского пришло известие о предстоящем приезде его с Сережей в Москву в сопровождении сиделки. Сестра Катя поспешила приехать в Москву, чтобы устроить Сережину квартиру и встретить его. С волнением мы ожидали наших путников. После жесточайших осложнений и серьезнейших операций, в результате напряженной борьбы за жизнь Сережа возвращался домой в сопровождении сиделки. Полное восстановление здоровья не достигнуто. Мы знали, что Сережа не может ходить без посторонней помощи и не владеет одной рукой. Как сложится теперь его жизнь, как сделать, чтобы она была содержательна и достойна его выдающегося интеллекта?

Некоторые зловещие признаки в состоянии Сережи внушали подозрение, что гнойный процесс в организме только затих, но не прекратился окончательно. Оставалась опасность рецидива болезни со всеми его последствиями.

По возвращении в Москву Сережа поселился на Тверском бульваре в квартире, смежной с моей и имеющей с ней внутреннее сообщение. Таким образом, мы, живя обособленно, находились в постоянной близости.

Сережа держал себя изумительно стойко: никогда никаких жалоб, никакого уныния. Мужественное отношение к постигшему его бедствию внушало общее к нему уважение. Сережа много и серьезно читал. Немедленно по приезде вошел в наши дела и принял на себя

часть работы. С величайшим вниманием вникал во все заботы сестер. Всегда ласково занимал детей моих, заходивших к нему ежедневно, утром и вечером. На столе рядом со своим креслом он всегда держал для угощения маленьких посетителей коробочку конфет. Шутки ради он ее иногда прикрывал газетой или куда-нибудь прятал, и старшие не решались напомнить об угощении, а маленькая Таня, набравшись смелости, спрашивала:

— Дядя Сережа, а где же конфеты?

Внимательно следил Сережа за ходом общественной жизни, всегда высказывал по поводу происходящих событий что-либо дельное. Удобное центральное расположение квартиры на Тверском бульваре, почти на углу Никитской, на пути в Думу, в университет, в «Русские ведомости», облегчало заход к нему. Вскоре установились встречи за пятичасовым чаем его друзей и знакомых. Между ними припоминаю Д. И. Шаховского, В. Е. Якушкина, В. Н. Львова, В. И. Вернадского, Е. Н. Трубецкого, В. А. Розенберга, А. А. Мануйлова. Ежедневно бывал у него, проводя часть дня, Николай Васильевич Сперанский, поселившийся с женой в Б. Николопесковском переулке и работавший в редакции «Русских ведомостей». По делам Университета Шанявского у меня на квартире собирались заседания попечительного совета, в которых Сережа всегда деятельно участвовал. У него сходились на совещания В. К. Рот, Н. В. Сперанский и я.

Лето 1907 года предполагалось провести в Крыму. Я должен был ранней весной отвезти туда свою семью и брата Сережу, с тем чтобы затем вернуться в Москву и наезжать в Крым

на побывку, когда позволят отлучиться дела. Сестры Катя и Нина разделили между собой лето так, чтобы неотлучно быть при Сереже.

Но пришлось всякие мечты об отдыхе в Крыму оставить и устроиться под Москвой на даче Смирнова в Кунцеве, откуда я мог каждый день ездить в Москву.

С нами в Кунцеве на лето поселился для ухода за братом Сережей молодой врач М. Ф. Владимирский. Когда он впоследствии эмигрировал за границу, то в продолжение ряда лет сотрудничал в нашем издательстве, исполняя переводы с французского. Так произошло наше знакомство с будущим председателем Ревизионной комиссии ВКП(б).

ПОЕЗДКА В РИМ И НЕАПОЛЬ

Осенью 1907 года Сережа уговорил меня «взять отпуск» и съездить с Софией Яковлевной за границу. Николай Васильевич вызвался на время нашего отсутствия перебраться на квартиру к Сереже. Сговорившись, как всегда, с бабушкой о переезде ее к детям на время нашего отъезда, мы заблаговременно взяли билеты в Рим. Там проводили осень Александр Иванович Чупров с сыном, и мне хотелось встретиться с ними до переезда их на зиму в Мюнхен.

Рим встретил нас ненастно. Серое небо. Облачно. Моросит дождь. В окно вагона громадный купол Св. Петра можно было в тумане принять за его петербургское подражание — Исаакия. На вокзале нас встретил Александр Александрович Чупров вопросом, имеем ли мы

зонты, и, так как мы, конечно, отправляясь в Рим, зонтов не взяли, тут же с вокзала проводил нас в магазин, где мы и купили необходимое. Чупровы стояли в гостинице «Виндзор», где свободных номеров не было. Мы остановились поблизости в отеле «Eden».

Наскоро расположившись, мы пошли в «Виндзор» к Чупровым, где и провели остаток дня до поздней ночи, за разговором, совсем как у себя на родине, слыша, как дождь барабанит по оконным стеклам. С Александром Ивановичем мы давно не виделись. Он показался мне сильно постаревшим, но не утратившим своей живости. Он засыпал меня расспросами про Сережу, Николая Васильевича, про сестер моих, про Москву.

В конце концов разговор зашел о путях эволюции земледелия, средствах к подъему сельского хозяйства, о судьбах мелкого земледелия. Этими вопросами Александр Иванович усиленно занимался последние годы, придавая разрешению их громадное значение для будущности России. Я подробно должен был рассказывать Александру Ивановичу, который очень ценил конкретные данные, взятые из действительности, и как редко кто умел расспрашивать и слушать.

Узнав, что София Яковлевна любит скульптуру, Александр Иванович предложил на следующий день вместе пойти в Ватикан. Ему хотелось представить ей своих любимцев. Так и сделали. Особенно надолго остановился там Александр Иванович перед статуей, несомненно портретной, Демосфена.

Вместе также побывали мы на городском кладбище. Почти у каждой могилки курился

фимиам. Огни особенно занимали детей, которых на кладбище было множество.

Все же плохая погода побудила нас переехать в Неаполь. А когда дней через десять мы снова вернулись в Рим, то уже не застали там Чупровых. Мне не довелось больше видеться с Александром Ивановичем. Через несколько месяцев он скоропостижно умер в Мюнхене. Тело его было перевезено в Москву и погребено на Ваганьковском кладбище. На погребении собралось множество почитателей этого столь популярного тогда в Москве человека.

А. А. Чупров и Н. В. и С. В. Сперанские решили озаботиться изданием под их редакцией литературного наследия покойного. Московский университет взял на себя выпуск научных трудов и университетских лекций в 3 томах. Мы же издали, тоже в 3 томах, «Речи и статьи». С тех пор как это писалось, многое в корне изменилось, и книги эти теперь, думается мне, могут быть интересны лишь для истории того времени. Тогда это было не так. Наша Ниночка, прочитав «Крестьянский вопрос» Чупрова, так им увлеклась, что под влиянием прочитанного решила сделаться агрономом, согласно чему по окончании гимназии она в университете пошла на агрономическую химию.

Впрочем, пора мне вернуться к нашей заграничной поездке. В Неаполе погода нам благоприятствовала. Мы осмотрели достопримечательности города, знаменитую зоологическую станцию Дорна, взбирались на Везувий, осмотрели Помпеи, съездили на Капри и, невзирая на сильное волнение, побывали в голубом гроте. Меня очень подмывало продвинуться дальше на юг в Пестум, где еще стоял тогда в





большой сохранности древнегреческий храм с дивной колоннадой. Но надо было возвращаться в Москву, поэтому мы были связаны временем и к тому же боялись разбросаться.

Вскоре затем землетрясение разрушило этот единственный в своем роде памятник древнегреческого зодчества. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

При вторичном нашем приезде в Рим погода нас побаловала, и мы отлично провели время, целыми днями гуляя по городу, посещая памятники и музеи. Обычно мы обедали в своем отеле. После обеда, пользуясь удобным расположением гостиницы, приходили к закату солнца на Monte Pinchio, к моменту, когда сюда, как в Петербурге на Стрелку, выезжал весь римский фешенебельный свет. Тут же, в парке, среди зелени играли в своих ярких сутанах — желтых, зеленых, фиолетовых, коричневых и других цветов — семинаристы разных национальностей и весьма различного возраста. В этот сезон, кроме игры в мяч и другие игры, было всеобщее увлечение игрой в «дьяболо», похожее на какую-то психическую эпидемию. Дамы и мужчины, дети и старцы, светские и духовные то там, то здесь стояли в смешной позе, задрав голову и вытянув руку вверх, вертя отчаянно палочку, на которую надо было насадить какую-то штучку. Появилась даже от неумеренного увлечения этой игрой особая «профессиональная» болезнь!

Когда солнце скрывалось, мы вместе со всей публикой спускались на знаменитое римское Corso, узенькую прямую улицу, в это время обыкновенно наводненную публикой. Но мы не всегда занимали места в кафе, а предпо-

читали проводить вечер в своем номере за чтением книг о Риме или сидеть в магазине фотографической фирмы Alinari, рассматривая и выбирая себе на память фотографии.

Стоит сказать несколько слов об этих художественных фотографических фирмах, имевших мировую известность. Их было несколько. Надо думать, ими пересняты буквально все художественные и исторические памятники Италии полностью и в деталях, с разных сторон и при разном освещении. За 40 сантимов можно было купить фотографию любой картины, статуи, здания, вида. Фирмы эти издавали каталоги своих снимков, по которым можно было из Москвы выписывать фотографии, указывая лишь номера каталога. Я этим широко пользовался. Постепенно у меня образовалось большое собрание фотографий, которые мы наклеивали на картон и хранили в особо сделанных для того ящиках, как колоды карт. Рассматривание такой коллекции доставляло большое удовольствие.

Бывало, кто-нибудь из знакомых попросит посмотреть наше собрание фотографий, когда нас дома не будет, чтобы им не стесняться нашим присутствием и нас не стеснять своим. И вот, сговорившись, София Яковлевна перед отходом из дома постелит на обеденный стол сукно оливкового цвета, закажет Дуняше самовар со всеми к нему обычными приложениями — печенье, варенье, хлеб с маслом, сыр, а я поставлю на стол наши ящики с фотографиями и на всякий случай выложу из библиотеки разные справочные книги по искусству и по истории культуры, которые, по моим соображениям, могут потребоваться при рассмотрении





фотографий. Нередко, возвращаясь домой после полуночи, мы заставали еще друзей за рассматриванием собрания. И тут начинался обмен впечатлениями и воспоминаниями, споры о вкусах и многое еще другое, одним словом, разговор часа на два.

Начало нашему собранию положила вывезенная нами из поездки в Рим и Неаполь коллекция. В ней, между прочим, был хороший подбор помпейских фресок. Раньше я был с ними знаком как с чисто декоративного характера живописью.

Я был неожиданно поражен в Неаполе и в Помпеях, найдя, что эти провинциальные репродукции творений великих мастеров александрийской школы не чужды больших замыслов, высокодраматических и глубокопсихологических мотивов. Сошлюсь хотя бы на Медею, воспроизведенную у нас в «Балладах — посланиях Овидия» («Памятники мировой литературы»).

КОНЧИНА СЕРЕЖИ

Зима 1908/09 года прошла для Сережи плохо. Неоднократно бывали вспышки температуры, свидетельствовавшие о новой активизации гнойного процесса. Сережа, однако, попрежнему продолжал вести весьма деятельную жизнь, руководил конторскими делами, читал рукописи для издательства, держал корректуры, много и серьезно читал, беседовал с посещавшими его друзьями. Но значение тревожных болезненных симптомов ему было ясно.

Раз как-то, когда мы с ним были одни в квартире, он меня подозвал к себе и тихо, но твердо сказал, что в случае какого-нибудь ухудшения в его здоровье просит предоставить все естественному течению, не «спасать» его и не предпринимать операций.

— Довольно, я больше не могу и не хочу. Это совершенно серьезно, и ты это знай и этим руководись,— кончил он.

Трагическая развязка наступила, однако, внезапно. 21 марта поздно вечером в постели Сережа держал трудную корректуру брошюры Зиммеля, а утром 22-го внезапно в постели он скончался от паралича сердца, вызванного гнойником в мозгу.

Сережа был самым значительным членом нашей семьи и по природным дарованиям, и по подготовленности своей к жизненной деятельности, даром что он был самый младший. Быть может, именно благодаря этому.

В самом деле, между сестрами и Федей разница в годах была недостаточно значительна. По кончине родителей сестры не представляли для Феди безусловного авторитета. Мы же с Сережей в детские годы всецело росли под влиянием сестер. Когда подошли годы юности, перелома характера и обычных проявлений строптивости, мы уже были до некоторой степени дисциплинированны. Федя же такой тренировки не получил.

Исключительно благотворно было для Сережи влияние Николая Васильевича Сперанского, встречу и постоянное с юных лет общение с которым надо считать главной, быть может, единственной несомненной и значительной уда-

чей, в его, так несчастливо сложившейся жизни.

С Катей, с которой Сережа был очень похож лицом, у него было много общего в характере. Ясное, реалистическое мышление. Исключительная строгость к себе. Чрезвычайная добросовестность. Твердость в решениях. Постоянство в отношениях.

Его впечатлительность, музыкальность и некоторая нервная возбудимость роднили его с Ниной.

У него не было того внешнего блеска, которым умел при первом знакомстве обворожить Федя, вызывая нередко в первую половину жизни своей восторженные восклицания: «Какой многообещающий молодой человек!», а во вторую: «Как жалко, что Федор Васильевич так плохо окружен!»

Жизнь Сережи пресеклась на 36-м году. Прожив на 30 лет больше его, я должен признать, что Сережа сумел больше моего проявить свою личность и отразить ее во внешнем мире. А ведь жизнь в этом и состоит!

Очень жалко, что не сохранилась переписка Сережи с Николаем Васильевичем. По случайно сохранившимся нескольким письмам Сережи к А. И. Чупрову можно судить о ее значительности. В «Союзе освобождения» и Московской городской думе Сережу сразу оценили. Кроме ясного ума, положительности, работоспособности и основательного образования, в нем ценили еще редкий в такие молодые годы деловой опыт, полученный им в Костине на голоде и холере.

Для памятника на могиле Сережи мы обратились к скульптору Андрееву, автору Го-

голевского памятника на Пречистенском бульваре, а впоследствии памятника Островскому на Театральной площади. Сережино надгробие ему удалось, и все находили барельеф передающим черты брата. Надо при этом сказать, что на таком грубом материале, как серый, крупчатый финляндский гранит, наши великорусские лица, лишенные резких черт, конечно, передаются нелегко. Андреев долго работал над барельефом. Делал он его в гипсе, отливал в бронзе, раньше чем высекать в граните.

Мы с Софией Яковлевной часто бывали в его мастерской. Он приглашал и сестер моих, желая уловить фамильные особенности в наших лицах. Мастерская Андреева находилась в Староконюшенном переулке вблизи Арбата, в обширном владении Орлова, в глубине двора, и к ней вела чуть заметная тропинка. Перед самой мастерской были разбросаны обломки каменных глыб, среди которых высоко росли лопухи. В двух шагах от арбатской пыли и сутолоки это производило освежающее впечатление.

Раз как-то зимой мы проходили, направляясь в мастерскую, этот двор среди сугробов снега. Двое рабочих громадными молотками разбивали наваленные в снежные кучи гипсовые головы, среди которых я признал громадный бюст Льва Николаевича Толстого, незадолго перед тем так понравившийся мне на вечере в память Льва Николаевича в Большом зале Консерватории. Войдя в мастерскую, я сказал художнику, что в снег на разлом, очевидно, по ошибке вынесен и бюст Толстого.

— Да что же мне с ним делать? Ведь такие этюды меня из мастерской выживут!

Я так энергично защищал бюст от уничтожения, что получил его в подарок и на следующий день водворил его у себя на квартире. Все, бывшие у меня, любовались этим эскизным бюстом. Места он действительно занимал много.

Когда Университет Шанявского построил себе собственное здание, я подарил бюст этот университету. Он был установлен на высоком деревянном постаменте в верхней аудитории, которую и стали называть по бюсту Толстовской. Мне казалось, что бюст таких размеров и такой выразительности будет очень эффектен на воле, где-нибудь, например, в костинском парке. Я говорил с Андреевым о заказе такого бюста из какого-нибудь материала, выдерживающего влияние погоды, но план установки бюста в костинском парке не состоялся.

Вскоре затем мне пришлось посещать мастерскую другого московского скульптора — Волнухина. Для вестибюля нового здания Университета Шанявского ему был заказан бюст Альфонса Леоновича. Мне думалось, что в университете надо поставить двойной бюст или выпуклый горельеф обоих супругов Шанявских, соединенных в одной общей композиции. Но уговорить Лидию Алексеевну не представлялось возможным. Заказ был дан Волнухину по ее желанию, так как ей очень нравился его Иван Федоров у Китайской стены. В подобных случаях в суждениях близких людей бывает большая разноголосица относительно сходства художественного изображения, будь то портрет, барельеф или бюст.

Мне припоминаются горячие дебаты, которые велись в комиссии по сооружению па-

мятника на могиле С. А. Муромцева, председателя 1-й Государственной думы. Когда Трубецкой представил нам в гипсе свой бюст Муромцева для этого памятника, то многие находили его недостаточно похожим. Н. В. Тесленко прямо высказался за то, чтобы отвергнуть проект Трубецкого. Серову и князю Щербакову пришлось энергично выступить в защиту работы Трубецкого, украшающей теперь кладбище при крематории, при бывшем Донском монастыре. Это одна из лучших в Москве скульптур, а сколько она вызвала волнений!

После установки памятника на могиле Сережи в Москву неожиданно приехал брат Федор. Последние годы он проживал под Варшавой у двоюродного брата нашего, Ивана Михайловича Сабашникова, старшего врача (директора) психиатрической лечебницы в Творках. После катастрофы с Сережей мы с Федей совершенно не виделись, и эта новая встреча была тягостна для обоих.

Федя пожелал съездить вместе на могилы наши в Сетунь. Памятна мне эта поездка. Мы ехали на извозчике в глубоком молчании, прерывая его время от времени безразличными замечаниями о переменах в окрестностях, происшедших со времени нашего детства, когда мы, бывало, этой дорогой ездили на дачу в Жуковку.

О Сереже мы не говорили... Оставив извозчика в стороне от церкви, мы подошли к ней пешком. Вид старых отцовских могил и стоящего рядом с ними нового памятника вывел Федю из состояния равновесия. Мы долго оба рыдали, но не было между нами единения. Наконец, ища какой-то исход, Федя предложил

отслужить панихиду. Священник был новый, псаломщик же тот самый, что был при отце.

После панихиды Федя сказал несколько слов похвальных новому памятнику, изящество и простота которого ему импонировали. Выходя из ворот Сетуньской церкви, он сказал, что в Варшаве городское кладбище находится в предместье Воля и что там, *на воле,* ему и суждено лечь на вечный покой.

На обратном пути Федя много говорил, видимо желая подойти к вопросу, который он хотел мне задать, но не решался этого сделать. При встрече с Катей за границей он уже спрашивал ее, считаем ли мы его виноватым в катастрофе, разразившейся над Сережей. И всегда правдивая и прямая Катя высказала ему свое осуждение. И теперь, ожидая, что Федя и мне готовится задать тот же вопрос, я никак не мог остановиться на формулировке ответа, беспомощный перед неизбежной и в то же время бесполезной его жестокостью.

При пересечении двух шоссе, Можайского и Рублевского, Федор, проведя рукой в направлении убегающего к Москве Рублевского шоссе с его красивой перспективой и белой шатровой Троицкой церковью в глубине ее, предложил свернуть в Кунцево. Очевидно, разговор был неизбежен, и Федор желал провести его до возвращения в город.

В Кунцеве мы долго молча ходили по тенистым дорожкам и сидели на скамейке у обрыва над рекой. Перед нами расстилалась излучина Москвы-реки с заливными лугами на той стороне и обнимающим их лесистым нагорием нашего берега. Какое там бывало на лугу оживление в сенокос, когда сотня-другая кос-

цов в красных рубахах пересекали рядами всю луговину и при каждом взмахе сверкали и звякали их косы!

Когда мы проходили по широкой дорожке, усаженной желтой акацией, около главного дома, Федор наконец решился и сказал, что хочет задать мне важный вопрос. Мы остановились. Наступила тишина необычайная. Я слышал биение крови в ушах и потрескивание лопающихся стручков акации, разбрасывающей кругом свои семена. Вопрос, наконец, был задан, и я мгновенно дал тот ответ, которого никак не мог, при всех усилиях мысли, заранее приготовить. Это вышло как бы экспромтом:

— Я сам себя виню в том, что допустил это злосчастное свидание Сережи с Валле с глазу на глаз, тогда как при малейшей предусмотрительности надо было обставить его свидетелями и, главное, самому на нем быть. Тебя же я виню в том, что своей неискренностью и вздорными мечтаниями ты всех окружавших тебя и связанных с тобой вводил в заблуждение относительно твоих дел и подавал повод к неосновательным каким-то ожиданиям, вмешивая при этом нас с Сережей и ставя нас в какое-то ложное положение в глазах этих людей.

Больше мы к этому никогда не возвращались. Да это и было последнее свидание с Федей. Вернувшись в Варшаву, он нашел приглашение от своего друга Piumati приехать пожить в Турин, куда вскоре затем и поехал. Я посылал ему туда ежемесячно деньги, пока война не прервала всякие сношения. Избранный Турином в почетные граждане за издание рукописей Леонардо да Винчи, Федя во время

войны пользовался бесплатным пансионом от этого города. Он умер в Турине 17 апреля 1929 года и погребен там же.

Федя был человеком незаурядных способностей. В лучшие его годы редко кто, встретившись с ним впервые, не поддавался, по первому впечатлению, его обаянию. Многие остались преданными ему друзьями и тогда, когда он уже как личность находился в упадке. Не только любвеобильный и благодушный Иван Михайлович Сабашников или благодарный ему товарищ по работе над Винчи Piumati, но и такой разборчивый и строгий к себе и людям человек, как Дубовской, или чуткая и чувствительная Марианна Ивановна Дубовская, и многие другие находили интерес в общении с Федей даже в те годы, когда со стороны можно было бы думать, что они оказывают ему внимание только из жалости.

В характере его было что-то женское. Он необыкновенно чутко улавливал настроения окружающих и с большой тонкостью умел подходить к ним и понравиться. Но он не склонен был принимать на себя хотя бы малейшую обузу ради того, чтобы удержать за собой столь легко полученное расположение. Ему скучно было преодолевать неизбежные во всяком деле технические трудности, и потому он часто оставался как бы дилетантом, пасуя иногда перед невежественной бездарностью. Чрезвычайно самолюбивый, он чаще бывал побуждаем своим самолюбием к тому, чтобы воздержаться из боязни неудачи от того или иного выступления, нежели к тому, чтобы сделать максимальное усилие для достижения успеха. По какой-то странной застенчивости,

затевая какое-нибудь дело, он был способен иногда положиться на первого услужливого знакомого или прислушиваться к советам случайных встречных, а не обратиться к авторитетному специалисту. Чрезвычайно импульсивный, он в лучшее свое время был притом находчив, ловок и смел. В детстве дважды спас он меня, вытащив из воды в последнюю, можно сказать, минуту. Уже в зрелом возрасте он в Неаполе бесстрашно бросился в море спасать упавшего при переходе с парохода в лодку Егора Ивановича Барановского, рискуя быть раздавленным бившимися друг о друга судами.

Он имел пристрастие к азартным, рискованным делам, где успех ожидается преимущественно от случая, а не от работы и где опасность побуждает к максимальному напряжению. Фатально для него сложилось, что за смертью отца и двух старших братьев он оказался старшим мальчиком в семье. Не менее роковой оказалась его почти детская попытка к самоубийству. Отрицательную роль сыграла и полная его материальная обеспеченность: не было стимулов тренироваться в работе, создалась привычка считать себя в исключительном положении.

Брак с умной женщиной, которая имела бы на него влияние, мог бы компенсировать эти недостатки. Я уверен, что Федя был бы хорошим семьянином. Но несмотря на то что мальчиком и юношей он, по-видимому, многим нравился и обычно имел успех в женском обществе, мне неизвестно, была ли у него серьезная и длительная привязанность. Во всяком случае, он жил всегда холостяком. Не

знаю, когда стал он пить. В последний период его жизни алкоголь сделался настоящим бичом его, сокрушавшим могучий организм и разлагавшим волю. Прекрасно зная пустоту и ничтожество окружавших его в Париже господ, он давал им себя эксплуатировать. И эта топь все глубже и глубже затягивала его, побуждая лучших его друзей сторониться, чтобы как-нибудь не быть вовлеченным в нее тоже. Хотя Федя ни в чем, казалось, себе не отказывал, много путешествовал и жил в Париже, в те годы бесспорном мировом центре наук, искусств и общественной жизни, жизнь его прошла как-то неярко.

Им с Piumati было задумано и начато большое культурное дело, самим своим началом создавшее ему почетную известность. Оно могло бы дать жизни Феди громадное внутреннее содержание, как сотрудничество в нем скрасило жизнь его друга Piumati. Но несчастное тяготение к алкоголю и компания беспутных завсегдатаев, окружавшая его в Париже, лишили его выгод его положения. И получилась несообразность, столь обычная в жизни. Имея громадные и разнообразные возможности, он ими не воспользовался и жизнью удовлетворен не был. Лично знавшие его люди сожалели о нем, а для не знавших его лично он был уважаемым исследователем и издателем гениального генуэзца, так им и останется для будущих поколений.

...Из газетной вырезки: «17 апреля 1929 года в Турине скончался Федор Васильевич Сабашников, известный издатель рукописей Леонардо да Винчи.

Родом из Кяхты, уроженец Москвы, где провел детство и юность, исключенный из Петербургского универ-

ситета в связи со студенческими беспорядками, он для окончания образования переехал в Германию, где и окончил Боннский университет. Там он познакомился и сдружился на всю жизнь с молодым итальянцем Piumati. Молодые энтузиасты, увлекшись историей искусств, задумали опубликовать собрание неизданных рукописей Винчи. За выпущенное Ф.В.С. издание гор. Турин избрал его своим почетным гражданином».

...Много лет после написания этих строк, уже в 1940 году, мне указали на следующее упоминание о брате Федоре во вновь вышедшей советской детской книге:

«В 1868 году граф Манцони разыскал и приобрел рукопись Леонардо под названием: «Кодекс о полете птиц». По смерти Манцони эту рукопись купил русский издатель Ф. В. Сабашников и в 1893 году напечатал ее, а подлинную рукопись подарил городу Винчи, родине гениального Леонардо» (Котельников Г. История одного изобретения. М.: Детиздат, 1939, с. 19).

ПОСТРОЙКА ЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ШАНЯВСКОГО

После настойчивой и долгой борьбы существование Университета Шанявского было юридически обеспечено. Материальных средств для начала дела было достаточно. Университет был открыт и стал энергично развивать свою деятельность.

Наряду с двумя систематическими академическими отделениями (естественным и гуманитарным) были созданы научно-популярные курсы и научно-исследовательские лаборатории. Непрерывно из года в год увеличивалось число кафедр, умножалось число преподавателей и слушателей. Создавались временные спе-




ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ

циальные курсы. Все это было отражено в печатавшихся университетом планах, программах, отчетах. В дополнение к ним укажу на две изданные нами книги Н. В. Сперанского: «Борьба за школу» (1910) и «Кризис русской школы» (1914), в которых он объединил печатавшиеся им в прессе, преимущественно в газете «Русские ведомости«, статьи по вопросам народного просвещения. Они хорошо рисуют те задачи, которые ставил себе университет, и те препятствия, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Деятельность университета так быстро развивалась и разрасталась, что вскоре стала чувствоваться настоятельная потребность в собственном здании для помещения аудиторий, лабораторий, библиотек и прочих учреждений университета. Неутомимая Лидия Алексеевна приступила ввиду этого к реализации собственных своих средств и весной 1910 года от имени лица, «пожелавшего остаться неизвестным» (так она всегда делала), внесла университету 225 000 руб.— специально на постройку.

Принимая во внимание другие пожертвования, поступившие с этим же назначением, и хороший участок, отведенный городом университету, открывалась возможность возведения значительного здания. Попечительный совет избрал строительную комиссию, которая немедленно же приступила к подготовительным работам. В качестве ее председателя мне пришлось на освящении здания по окончании постройки выступить с речью, в которой я изложил собравшимся историю постройки и дал краткий отчет в произведенных расходах.

Отмечу здесь особо, что в те годы в



Д. И. Митрохин

Москве одновременно открылись четыре высших учебных заведения исключительно на частные средства, а именно: Университет Шанявского, Высшие женские курсы, Коммерческий институт и Педагогические курсы. Тогда же возникли Леденцовское научное общество с миллионным капиталом и сооруженный на частные же пожертвования научный институт на Миусской площади. Частный почин в деле обеспечения высшего образования являл себя в Москве столь же внушительно, как двадцать лет назад, когда им же был создан Клинический городок на Девичьем поле.

21 июля 1911 года в 11 часов утра на Миусской площади была совершена торжественная закладка здания городского Народного университета имени А. Л. Шанявского.

Когда был прочтен текст закладной доски, городской голова Н. И. Гучков положил первый кирпич, второй кирпич — В. К. Рот, а затем градоначальник, губернатор, попечитель учебного корпуса и другие лица.

Попечитель учебного округа А. А. Тихомиров произнес следующую речь:

«Идея народных университетов выражается англичанами в двух словах: «University Extension» *. Счастлива та страна, которая имеет так много ученых деятелей, что может уделить часть научных сил народным массам. Но во всяком деле есть опасная сторона. Университет по своей природе есть лаборатория мысли, место, вырабатывающее научные воззрения. В научных вопросах правда и заблуждения чередуются. Я не хочу высказывать

* Популярные лекции и занятия, организуемые для лиц, не являющихся студентами.— *Ред.*

20 октября 1913.

Многоуважаемый Михаилъ Васильевичъ!
Посылаю Вамъ надписи, вложивъ ихъ въ томъ Овидія,
который Вамъ возвращаю, т. к. получилъ все-таки
первый, посланный Вамъ. Еще разъ благодарю Васъ
за эту великолѣпную книгу. Жду списка
слѣдующихъ подписей.
Примите увѣреніе въ совершенномъ
моемъ къ Вамъ уваженіи
Д. Митрохинъ

СПб, В.О., 5 л., 66, к. 155.

Записка Д. И. Митрохина М. В. Сабашникову.
Автограф

никаких опасений и призываю деятелей Университета Шанявского помнить, что они отвечают перед Богом за те омрачения, которые могут произойти от их деятельности, и надеюсь, что в Университете Шанявского этого не будет».

«Приветствие» попечителя округа А. А. Тихомирова «в духе настоящего министерства народного просвещения», как его характеризовала одна из газет, звучало скорее угрозой. Публика тотчас же пустила по этому случаю словечко: «Джунковский сегодня **положил** первый камень в фундамент Народного университета, а Тихомиров **бросил** в него первый камень».

Для нас тут ничего неожиданного не было, тем более что при личной беседе со мной, когда я нанес ему визит, приглашая на закладку, А. А. Тихомиров говорил очень пространно, как со своим бывшим **слушателем** («Я не говорю: **учеником,** так как вы занимались в кабинете М. А. Мензбира»,— оговорился он), об опасности распространения высшего образования в массах.

Проект сооружаемого здания был составлен профессором А. А. Эйхенвальдом, а главный фасад и отделка здания — по проекту архитектора И. А. Иванова-Шиц. Постройка и оборудование здания должны были обойтись в полмиллиона рублей.

Когда устав Университета Шанявского проходил описанные мною выше мытарства по своему утверждению, в министерстве народного просвещения находили, что представленный Московской городской думой проект устава совсем как бы игнорирует министерство. Еще



Диль Ш. Византийские портреты.
(«Страны, века и народы»).
1914

бы! Ведь проект устава составлен был С. А. Муромцевым, и, конечно, будущий председатель 1-й Государственной думы накануне ее созыва очень мало заботился о прерогативе министерства народного просвещения, предоставив учреждаемому вольному университету возможно широкую автономию. Настроение в стране было таково, что даже реакционный министр Шварц не решился на коренную переработку устава, ограничившись лишь частичными изменениями, правда весьма существенными. На этих-то именно началах нам пришлось конкретно оценить как ширину предоставленных университету прав, так и значение внесенных министром изменений в устав его.

При образовании правления университета мы провели в секретари правления Павла Александровича Садырина. Человек исключительной энергии, большой работоспособности, прирожденный организатор и администратор, опытный в обращении с людьми и способный всецело отдать себя на нелегкую работу в университете, П. А. Садырин для *практического* осуществления первого русского вольного университета оказался настолько же ценным и нужным, насколько такой знаток истории народного образования в Западной Европе и у нас, как Н. В. Сперанский, был полезен для *теоретического* обоснования принципов вольного университета.

Между тем Садырин был перводумец, после роспуска 1-й Думы участвовал в Выборгском совещании, был привлечен за это к суду, приговорен к тюремному заключению, которое и отбыл. Выборжцы были ограничены в общественных правах, и в ряде губерний дворянские

собрания шли дальше суда и правительства, с шумом исключая их из своей среды. Не может быть сомнений, что такого человека министерство не утвердило бы в должности. Но Шварц при пересмотре устава внес лишь требование утверждения председателя попечительного совета (со стороны министра) и председателя правления (со стороны попечителя учебного округа). Члены правления вступали в должности без утверждения, и благодаря этому Садырин мог отдать свои недюжинные силы молодому университету с первых почти дней его функционирования.

Несколько лет спустя другой, еще более реакционный министр народного просвещения — Кассо, вызвавший в 1911 году своими произвольными действиями небывалый массовый выход из Московского университета виднейших профессоров, не утвердил В. К. Рота председателем попечительного совета, а Н. В. Давыдова попечитель округа не допустил к утверждению в должности председателя правления. В. К. Рот и Н. В. Давыдов в течение ряда лет с самого открытия Университета Шанявского с честью несли эти должности и в них министерством утверждались. Немудрено, что даже московский градоначальник Адрианов, которого никто в либерализме не заподозрит, характеризовал неутверждение В. К. Рота как «акт личной мести» со стороны Кассо, негодовавшего на Рота за его уход из Московского университета вместе с другими протестовавшими профессорами и гневавшегося на Университет Шанявского за приют, предоставленный некоторым из них.

На этот раз никакие хлопоты успеха не

имели. Университету Шанявского пришлось избрать других лиц. Председателем попечительного совета был избран бывший московский городской голова князь В. М. Голицын, а председателем правления — я.

Университет Шанявского в те годы приютил у себя нашего знаменитого физика П. Н. Лебедева, импровизировав для продолжения им его замечательных исследований специальную лабораторию в Мертвом переулке.

«ПАМЯТНИКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

После смерти брата Сережи я продолжал наше издательство, по-прежнему пользуясь постоянной дружеской помощью Н. В. Сперанского. В отдельных случаях, от раза к разу, мы советовались (привлекали к работе по их специальности) с нашими давними постоянными сотрудниками — М. Н. Сперанским, М. О. Гершензоном, В. Н. Львовым и М. А. Мензбиром.

Издательство уже давно вышло из того дилетантского состояния, в котором мы начинали его, не имея никакого аппарата. Коммерческую часть вел брат Софии Яковлевны — М. Я. Лукин, до поступления в наше издательство заведовавший в продолжение ряда лет книжным магазином Филимонова на Б. Никитской. Бухгалтерией, при особом счетоводе, ведал Н. А. Скибневский, корректуру поручили опытной корректорше Х. Б. Сперанской, на которую можно было вполне положиться в самых сложных случаях. Под контору издательства

ПѢСНЬ О ГАЙАВАТѢ



Лонгфелло У. Песнь о Гайавате.
Пер. и предисл. И. А. Бунина.
(«Памятники мировой литературы»).
1916

сняли отдельное помещение в полуподвале дома № 6 по Тверскому бульвару, в котором я жил, а под книги продолжали держать просторный, хорошо оборудованный склад, бывший Скирмунта, снятый мною еще в 1906 году. Мы сохранили прежнюю, уже получившую известность фирму, печатая на выпускаемых книгах «Издание М. и С. Сабашниковых» и ставя на обложке исполненную Митрохиным марку-монограмму.

Приступая к подготовке издания «Памятников мировой литературы», надо было ориентироваться в имеющихся уже русских переводах древних писателей, в первую очередь античных классиков. Литература эта оказалась довольно обширной. Переводы зачастую печатались в журнале министерства народного просвещения и отдельными книгами совсем не выходили. Выпущенные же в свет отдельными изданиями, в книжных магазинах считались распроданными и с трудом находились у букинистов, тогда как в действительности значительная часть тиража иногда лежала у издателей, не находя сбыта.

Такая участь постигла, например, прекрасное издание речей Цицерона (перевод Зелинского) и «Истории» Фукидида (перевод Мищенко), выпущенных Кузнецовым, главой чайной фирмы, известным пионером чайных плантаций на Кавказе. В громадном, многомиллионном предприятии эти меценатские издания были, можно сказать, забыты самими хозяевами. Молодой приказчик в магазине Карбасникова на Моховой разыскивал для меня эти книги как большую редкость, тогда как они в большом количестве лежали на складе фирмы в рядах на

Письмо И. А. Бунина М. В. Сабашникову.
Автограф

Красной площади, куда с Моховой рукой подать.

Это обнаружилось, когда один из директоров фирмы, увидя у меня на столе Фукидида, полюбопытствовал, почему я эту книгу читаю. Впоследствии, перед выпуском нашего Фукидида, пришлось скупить остаток кузнецовского издания!

Одно время мне помогал по справочной части молодой филолог В. О. Нилендер. Зиму 1911/12 года он приходил ко мне ежедневно в 8 часов 15 минут утра, и мы за утренним чаем занимались до 9 часов 30 минут, когда мне нужно было идти в контору. Владимир Оттонович наводил библиографические справки, покупал нужные книги, подсчитывал объем текстов писателей, намечавшихся к переводу, исполнял разные поручения. Постепенно мы с ним собрали порядочную коллекцию русских переводов классиков.

У Владимира Оттоновича была собственная работа — «Собрание греческих лириков в переводах русских писателей», которую он хотел устроить у нас. (Труд этот правильнее было бы озаглавить: «Собрание русских переводов древнегреческих лириков».) Сохранилась переписка по этому вопросу с Зелинским, Коршем, Церетели. В гранках сохранилась и написанная по этому поводу статья Корша. В большинстве своем прежние переводы оказывались неприемлемыми к переизданию либо потому, что устарели, либо из-за плохого русского языка. Но все же ознакомиться с ними мы считали необходимым. В общей сложности прежними переводчиками была проделана большая работа, и игнорировать ее не следовало.

М. В. САБАШНИКОВЪ.

Письмо М. В. Сабашникова М. О. Гершензону. Автограф

Временно работала в издательстве Т. Л. Хитрово, принимая ответственные поручения и умело и удачно с ними справляясь (например, во время моего отъезда с М. Я. Лукиным на фронт в 1916 году).

К работе для «Памятников мировой литературы» надо было привлечь петербургских филологов, в первую очередь такую мировую знаменитость, как Ф. Ф. Зелинский, затем Малеина, Жебелева и др. Для этого я ездил в Петербург. Наши предложения встречены были там с величайшим сочувствием, но и с некоторым недоумением. Питерцы боялись неудачи, даже провала. Рекомендовали величайшую осторожность. Советовали выпускать небольшими, дешевыми книжками. Ссылались на провал выпущенного издательством «Просвещение» тома Еврипида.

«Классицизм* никогда не пользовался у нас сочувствием публики, теперь же борьба с ним особенно обострилась. Кто же станет покупать классических писателей! Мы опоздали на несколько лет»,—рассуждали питерцы. Я возражал: «Правда, мы идем как будто против течения. Но это только кажется. В России, кроме специалистов-филологов, никто классиков в оригинале не читал и не читает. Переводов нет в продаже. Классиков просто не знают. То, что перестанут муштровать гимназистов грамматическими упражнениями по древним языкам, послужит только на пользу нашему делу! Не будет к классикам предвзятого отношения».

Все это приходилось говорить с большой осторожностью, чтобы не задеть чьего-либо

* Речь идет об античной классике.— *Ред.*

РУССКІЕ
ПРОПИЛЕИ

ТОМЪ 6

МАТЕРІАЛЫ
ПО ИСТОРІИ
РУССКОЙ МЫСЛИ
И
ЛИТЕРАТУРЫ

СОБРАЛЪ И ПРИГОТОВИЛЪ КЪ ПЕЧАТИ
М. ГЕРШЕНЗОНЪ



МОСКВА
ИЗДАНІЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХЪ
1919

Русские пропилеи. Т. 6.
1919.
Обложка

самолюбия. Никаких общих совещаний не было, с каждым я говорил отдельно.

В разговоре с Зелинским сразу наметились и переводчики, и редакторы, и даже готовые к изданию переводы: Эсхила поручить Вячеславу Иванову, Софокла — Зелинскому, Еврипида — готовый перевод приобрести у наследников Иннокентия Анненского, Фукидида — поручить Жебелеву, Тацита — В. Я. Брюсову, «Энеиду» — ему же, Светония — Малеину, Овидия «Баллады — послания» — приобрести готовый перевод у Зелинского.

Последняя вещь уже издавалась «Пантеоном», но мы решили не останавливаться перед этим. Одним словом, обращение в Петербург дало отличные результаты.

По совету М. О. Гершензона, я в первую очередь обратился к Ф. Ф. Зелинскому и хорошо сделал. Ф. Ф. Зелинский отнесся к нашим начинаниям в высшей степени сочувственно. Мы с ним оживленно проговорили весь вечер. Как мне рассказал Ф. Ф. Зелинский, три друга, филологи-поэты — он сам, Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский,— дали когда-то друг другу слово перевести трех греческих трагиков: Эсхила — В. Я. Иванов, Софокла — Ф. Ф. Зелинский, а Еврипида — Иннокентий Анненский, и некоторая работа в этом направлении уже сделана. Нам теперь оставалось договориться с переводчиками и включить эти переводы в наше собрание «Памятников». Софокл устраивался, таким образом, очень просто — за него брался Зелинский. Кроме того, Ф. Ф. Зелинский просил оставить за ним Аристофана, которого он надеялся дать в сотрудничестве с одним своим учеником.

СЛОВО
О ПОЛКУ ИГОРЕВѢ

Снимокъ съ перваго изданія 1800 г. гр. А. И. Мусина-Пушкина
подъ ред. А. Ө. Малиновскаго

Съ приложеніемъ статьи проф. М. Н. Сперанскаго
и факсимиле рукописи А. Ө. Малиновскаго

МОСКВА
Изданіе М. и С. Сабашниковыхъ
1920 г.

Слово о полку Игореве.
1920.
Факсимильное издание

Вячеслава Иванова я знал как кунктатора, нерешительного и мнительного человека и опасался предоставить ему такую большую работу, как перевод всего Эсхила: возьмется, свяжет нас и не сделает, говорил я. Я бы предпочел отвести ему что-нибудь менее громоздкое. Но Ф. Ф. Зелинский уговорил меня остановиться на Вячеславе Иванове как на единственном в своем роде кандидате, обещая, со своей стороны, всячески побуждать его не затягивать работу.

После этих моих поездок в Петербург Зелинский стал у нас самым деятельным сотрудником по изданию «Памятников мировой литературы». Я часто ездил к нему, чтобы посоветоваться; сохранилось немало его ко мне писем.

Большие затруднения предвиделись в приобретении готовых уже переводов Еврипида. Сам переводчик И. Анненский незадолго до этого умер. Предстояло сговориться с его наследником, с которым у самого Зелинского произошла какая-то размолвка. Между тем другого, равного по силе переводчика Ф. Ф. Зелинский назвать не мог. Ведь покойный Анненский был одаренный поэт и притом филолог, многие годы работавший над Еврипидом. Некоторые вольности, допущенные в переводе, могут быть либо устранены редакцией, либо особо оговорены.

Остановились на том, что я вступлю в переговоры с наследником и постараюсь получить переводы (хотя бы в копиях) для прочтения в редакции, затем передам их Ф. Ф. Зелинскому для окончательного заключения и уже после обсуждения дела вновь с Ф. Ф. постара-

Ф. ЗЕЛИНСКИЙ

АТТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

IV

КАМЕННАЯ НИВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
М. и С. САБАШНИКОВЫХ

**Ф. Зелинский. Каменная нива:
Аттические сказки.
1922**

юсь договориться с наследником. Однако выполнить эту программу оказалось не так-то просто. Не сразу решился наследник предоставить мне копии переводов для прочтения, и не скоро пришлось вновь посетить Зелинского, чтобы принять окончательное решение.

Когда я в назначенное время пришел к Ф. Ф. Зелинскому, мне передали его просьбу перейти в соседнюю квартиру, где Ф. Ф. проводит весь день по случаю семейного детского праздника. Там меня радушно приняли, угостили чашкой шоколада. Но разговаривать о деле в переполненной гостями маленькой квартире оказалось затруднительно. Ф. Ф. Зелинский предложил, благо погода хорошая, выйти на бульвар перед домом и там на скамейке и переговорить. Так и сделали.

С исключительной щепетильностью отнесся Ф. Ф. Зелинский к решающему заключению о работе покойного своего друга. Представив все pro и contra *, Ф. Ф. Зелинский высказывался за использование в «Памятниках» уже готовых переводов И. Анненского. Отбрасывая всякие соображения об интересах переводчика или издательства, Ф. Ф. Зелинский решил так, имея целью наилучшее удовлетворение читателя.

Оставалась самая трудная задача — мне договориться с наследником. В конце концов договорились.

И мы со временем выпустили два тома Еврипида. Но этим история злополучных переводов И. Анненского не кончилась. В 1930 году наше издательство лишилось своего помещения. Мы, однако, оставили в проходной, темной комнате шкаф с архивом и рукописями на

* За и против *(лат.)*.— *Ред.*

Многоуважаемый
Михаилъ Васильевичъ,

Спешу послать Вам обратно подписанное мною условие.

Сию же минуту принимаюсь за работу и радуюсь что книги Сен Виктора суждено наконец появиться на русском языкѣ.

Жму Вашу руку

Максимилианъ Волошинъ

Письмо М. А. Волошина М. В. Сабашникову. Автограф

хранение нашего артельщика, сохранившего свою комнату за собой. В декабре мне пришлось ненадолго уехать. Когда же, вернувшись домой, я поспешил проверить шкаф с архивом, то нашел шкаф вскрытым. Содержимое никого не могло соблазнить, тем не менее некоторые пакеты пропали. Пропал и подготовленный к печати перевод Еврипида (том 3). Это, казалось, небольшая беда, так как рукописи были перепечатаны и один экземпляр находился на квартире Ф. Ф. Зелинского, уехавшего к тому времени за границу, а другой — на квартире К. В. Аркадакского. Надо же было случиться, чтобы и там эти тексты затерялись!

Не повезло и Эсхилу. Насколько знаю, Вячеслав Иванов перевел «Орестею» и, вероятно, увез с собой за границу рукопись. По крайней мере, «Агамемнона», бывшего у меня, он вытребовал через Ю. Н. Верховского чуть ли не в день своего отъезда. Вероятно, рассчитывал издать за границей.

Упомянутые выше Малеин и Жебелев, как и Ф. Ф. Зелинский, сочувственно отнеслись к нашим «Памятникам». Под редакцией С. А. Жебелева мы выпустили Фукидида. А. И. Малеин приготовил для нас Светония, но рукопись взял обратно, так как к тому времени мы уже не могли взяться за такое издание.

После отъезда Ф. Ф. Зелинского я договорился с Адрианом Пиотровским о переводе всего Аристофана. Две комедии в его переводе («Лисистрату» и «Всадники») мы даже выпустили в маленьком издании. Очень жалко, что дело на этом оборвалось, так как А. Пиотровский очень удачно справился и с переводом, и с комментариями. Не его ли имел в виду

N. ROUBAKINE

[illegible]

SECTION

DE LA

PSYCHOLOGIE BIBLIOLOGIQUE

L'INSTITUT J.-J. ROUSSEAU (GENÈVE)

ET

L'INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE (BRUXELLES)

[illegible]

LAUSANNE

Лозанна, 1 мая, 1927 г.

В Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых

Москва.

Глубокоуважаемый Михаил Васильевич,

Надеюсь, Вы получили мое письмо от 9-го марта. Простите, что снова тревожу Вас просьбой, от имени нашей Секции, прислать по примеру прошлых лет, список наиболее выдающихся книг, вышедших в СССР в 1926 г., а также Ваши издания этого года, для их изучения и помещения в Международный Список Международного Института Интеллектуального Сотрудничества. Запоздание с присылкой уже напечатанного списка 1924 г. произошло вследствие того, что все издание разошлось по разным странам почти моментально. 2-е издание печатается и Вам будет прислано. В нем Ваши издания, как и в списке 1925 г., фигурируют. Список за 1925 г. нами тоже печатается и тоже будет Вам выслан. Список 1926 г. нами составляется и должен быть сдан в вышеупомянутый Институт не позже 1 июня. Очень обяжете, исполнив нашу просьбу к 15 мая.

Искренне преданный Н. Рубакин

Письмо Н. А. Рубакина М. В. Сабашникову. Автограф

Ф. Ф. Зелинский, когда просил оставить Аристофана за ним в сотрудничестве с его учеником?

В. Я. Брюсов перевел для нас «Энеиду» Вергилия, но издать нам ее уже не пришлось. Она была выпущена Государственным издательством. Приступил ли В. Я. Брюсов к переводу Тацита, не знаю. Во всяком случае, он охотно за него брался. В сохранившихся его письмах он анализирует свои данные для этой работы.

Но мы не собирались ограничиться одними античными писателями, исподволь готовясь к более широкой программе, что смущало некоторых наших сотрудников. Возражали против включения в программу «Памятников» наряду с античными писателями также отделов «Народной словесности», «Творений Востока», что, однако, входило в нашу общую концепцию всего предприятия. М. Н. Сперанский опасался, что мы устной русской словесностью перегружаем «Памятники» тяжелым и неинтересным для наших читателей материалом, и советовал издать «Былины» отдельно, не включая их в «Памятники».

В сохранившихся письмах востоковеда Алексеева (ныне академика) и Бальмонта отразились опасения их, как бы мы не последовали этим советам. И. Линдеман вспомнил об этих спорах в шуточном стихотворении, обращенном ко мне по случаю 35-летия издательства в 1926 году:

Когда же Асвагошу
Ввели в свой книжный круг,
Соперников в калошу
Всех посадили вдруг.

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА

Весной 1914 года мы всей семьей отправились за границу. Софии Яковлевне давно нужно было серьезно заняться своим здоровьем. По настоянию доктора Федора Александровича Гетье мы решили провести лето в горах Тироля, где София Яковлевна могла бы освободиться от привязавшейся к ней лихорадки и подышать горным воздухом. Брали мы с собой детей — Сережу 15 лет, Нину 13 лет и Таню 11 лет. С нами также ехала Мария Федоровна Трейман, впервые тогда приглашенная к детям для преподавания немецкого языка.

Затем было оговорено, что по прибытии нашем в Тироль и устройстве там в одном из намеченных пансионов к нам присоединится Надежда Николаевна Львова со взрослой дочерью. Пробыв положенное время в горах, мы намерены были поехать в Венецию. На обратном пути в Россию я хотел задержаться на несколько дней в Лейпциге или его окрестностях, чтобы посетить открывавшуюся в этом городе выставку типографского и издательского дела.

В это лето как-то особенно много знакомых направлялось в Тироль и Италию. Катя ехала в Северную Италию лечить свой ревматизм. Николай Васильевич и Ольга Александровна Сперанские предполагали провести свой отпуск на озере Гарда. Б. Я. и О. И. Лукины отправлялись в Швейцарию и на итальянские озера. Со всеми мы предполагали так или иначе встретиться за границей. С Катей и Николаем

Васильевичем [Сперанским] мы хотели специально съехаться, чтобы втроем на досуге обсудить интересовавшие нас вопросы, устроив, таким образом, как бы конференцию. Это было первое предпринятое всей нашей семьей заграничное путешествие, и мы были полны самых радужных ожиданий.

Выехали курьерским из Москвы на Варшаву и Вену. В Вену приехали, как всегда из России, ранним утром. Это невыгодное время для приезда в незнакомый город. Улицы пусты, магазины частью закрыты. В окнах квартир спущены шторы. Город кажется неприязненным и скрытным, и сам себе кажешься одиноким, выброшенным на улицу и не знаешь, куда деваться и что предпринять. Мы проехали прямо в гостиницу и не спеша позавтракали, прежде чем начинать осмотр города. Весело вышли мы на улицу, и веселье это не покидало нас затем в течение всего трехдневного пребывания в Вене. Это настроение поддерживалось разными эпизодами, вызывавшими неудержимый смех, особенно у Тани, в детстве отличавшейся смешливостью.

Для первоначального беглого осмотра города мы взяли на углу открытый автомобиль, и я, заняв место рядом с шофером, руководил маршрутом и, оборачиваясь назад, давал детям всякого рода разъяснения. По нашему непринужденному обращению шофер решил, что мы славяне из какой-нибудь глухой провинции, и стал покровительственно давать нам свои разъяснения. Проезжая мимо гостиницы, в которой мы остановились, шофер многозначительно сказал мне, что это одна из лучших гостиниц,

но nur fur feine Leute*. Когда же я в тон ему спросил, в каком загородном ресторане можно прилично пообедать с семьей в саду, он вызвался свезти нас в ресторан, где тесть угощает его по большим праздникам. Нельзя было отказать себе в удовольствии по такой рекомендации проникнуть в столь респектабельное заведение. М. Ф. Трейман, мало знавшая нас до того, заливалась смехом до слез, прибавляя: «Вы с Софией Яковлевной действительно чужды всякого снобизма!» Нам не пришлось раскаяться. Ресторан был совсем демократический, гастрономия непритязательная, но все свежее, все доброкачественно, чисто. Притом можно было присмотреться к своеобразным обычаям и нравам.

Относительно Вены у каждого из нас была своя, особая программа. Мне хотелось посетить старого своего любимца — собор Св. Стефана, София Яковлевна хотела показать детям Ring, Сережа — проехаться по подземной железной дороге, Нина — посмотреть сохранившийся от средних веков обрубок дерева, в который посвященные в кузнецы мастера по обычаю вбивали гвозди. Она только что прочла описание этой церемонии и знала от М. Ф. Трейман, что около собора Св. Стефана это бревно до сих пор сохраняется. Таня домогалась сделать оборот на громадном выставочном колесе, с которого открывался вид на весь город. М. Ф. Трейман намеревалась показать детям Уранию. Но Урания была закрыта, все же остальные желания были удовлетворены.

* Только для избранных *(нем.).— Ред.*

Дорога от Вены до Боцена чрезвычайно красива. При выборе поезда надо обращать внимание на то, чтобы не проехать ночью самые красивые места, Те, кто знаком с Кавказом и Швейцарией, все же и в Тироле найдут, чем любоваться.

Боцен сначала встретил нас не совсем приветливо. Те пансионы, которые были нам рекомендованы в Москве, либо ремонтировались за неоткрытием еще сезона, либо показались нам малопривлекательными по преобладанию в них туберкулезных больных. Мы остановились в гостинице в центре города, около вокзала. Образцово поставленная, она привлекла нас тем, что не носила характера санатория и была в это время не заполнена, что дало возможность выбрать отличные комнаты на солнечную сторону, с балконом и чудным видом на горы. Поблизости от гостиницы было немало садов, где София Яковлевна могла проводить с детьми дни.

Мы же с Марией Федоровной стали объезжать окрестные горные местечки в поисках пансиона или виллы в горах для устройства на более продолжительное время. Нам сначала не повезло в поисках. Рекомендованный еще в Москве Николаем Васильевичем [Сперанским] уединенный в горах пансиончик Rappersbüchl между конечной станцией Rosmersholm Обербоценской узкоколейной горной железной дороги и Обербоценом оказался законтрактованным на лето венгерской семьей. Сам Обербоцен казался нам слишком бойким. Мы остановились на его филиале, отдельной маленькой дачке, в стороне от главного отеля. Однако, когда мы на следующий день повезли в горы всю семью

показать облюбованную дачу, хозяин гостиницы с тысячью извинений сообщил нам, что военный министр, посетивший Обербоцен вчера вслед за нами, оставил за собой намеченную нами дачу и что он не мог отказать столь высокопоставленному гостю, тем более что в районе Обербоценского плато предстоят этим летом большие маневры.

Выручила нас хозяйка Rappersbüchl'a. Ее два уединенных домика в горах, с величественной панорамой доломитовых гор перед окнами, меня так прельстили, что я непременно захотел показать это местечко Софии Яковлевне с детьми. И вот при вторичном посещении Rappersbüchl'a хозяйка взялась устроить нам у себя две маленькие комнаты. Однако подниматься в горы было еще рано. Весна в этом году запоздала, и даже внизу, в Боцене, было холодновато и по нескольку раз в день резкий ветер приносил холодный дождь, а то и прямо крупу.

Тут пришло письмо от сестры Кати. Она окончила курс лечения горячими грязевыми ваннами и находилась с дочерью на берегу моря в Viareggio*, где стояла великолепная теплая погода, было тихо и приятно жить. Она звала повидаться, бралась задержать для нас комнаты в хорошем пансионе. Нас потянуло на теплое море, и мы решили на две недели спуститься в Viareggio, чтобы затем вернуться в Тироль, когда лето продвинется дальше и в горах станет теплей.

Перед отъездом в Италию мы с Сережей еще раз поднялись на Обербоценское плато,

* Виареджо *(ит.)*— *Ред.*

чтобы вручить задаток хозяйке Rappersbüchl'а. День был ненастный. Дул холодный ветер, сопровождаемый то дождем, то крупой. Никому не хотелось в горы. В вагоне нашей подъемной железной дороги, обыкновенно переполненном туристами, кроме нас оказалось только два пассажира; как выяснилось из разговора, местная сельская учительница и экскурсирующий по Тиролю мюнхенский студент. Начав с жалобы на застигшее его в экскурсии ненастье и с сообщения, что накануне во время грозы где-то недалеко в горах выпал снег и поднялась вьюга, причем погибло семь туристов, молодой студент выразил недоумение, как могли образоваться видные в окна вагона знаменитые Боценские пирамиды. Я дал ему то объяснение, которое можно найти в любом путеводителе по Тиролю. К моему удивлению, студент весьма самоуверенно отверг это объяснение как неправдоподобное. Тут в разговор вмешалась учительница, которой, вероятно, неоднократно приходилось объяснять местный феномен своим ученикам. Ссылка на авторитет учебника сбавила самоуверенность бурша, и он свел разговор на другие темы. Молодые люди охотно разговорились, и мне со стороны любопытно было наблюдать этих случайно встретившихся представителей молодой интеллигенции, принадлежащих к двум различным государствам. Студент быстро свел разговор на националистические темы, на военную мощь Германии, объединение всех немцев, борьбу со всем миром. Учительница оказалась не менее его осведомленной о численности германской и австрийской армий, об их флотах и крепостях. Было странно видеть, как они оживились, с

какой нескрываемой, откровенной неприязнью говорили о всех других нациях, кроме германской.

Славянам доставалось при этом в первую очередь. Собеседники, очевидно, не думали, что мы с Сережей русские, или совсем о нас не думали. Ничего подобного я никогда не встречал в среде русской интеллигенции. Две недели спустя во Флоренции мы видели толпы русских студентов, учителей, врачей и служащих обоего пола. Они внимательно слушали объяснения, даваемые руководителями экскурсии, многие даже что-то записывали. Они способны были у подножия статуи Давида или на вершинах прекрасного флорентийского кладбища завести бесконечный спор о преимуществах крупного и мелкого хозяйства в земледелии, об общине, стачках на фабриках и заводах, последних выступлениях Государственной думы. Но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них проявил осведомленность о размерах и вооружении нашей армии и флота или выказал неприязнь к другим государствам или народам...

...Итак, мы опять в вагоне и, конечно, смотрим в окна. Сначала проносимся по окрестностям Боцена, нам уже известным. Затем перед нами мелькают новые виды: горы, ущелья, потоки, поселки, замки, крепости. Едва успели отъехать от Боцена, как мы уже в Италии, непризнанной, отторгнутой, но все же несомненной и бесспорной Италии. О том говорят названия станций, вывески, костюмы, типы, мелькающие перед нами, и, наконец, звучная итальянская речь, доносящаяся к нам во

время остановок. Но вот и граница, и мы уже в Итальянском государстве.

Быстро минуем Падую и несемся по плодородной Ломбардии. «Трехэтажное» земледелие по долине По. Дамбы, защищающие поля от наводнений. Оросительные каналы. Уединенные дома селян, утопающие в зелени. Поселки, красивые усадьбы, замки на выдающихся скалах, господствующих над окрестностью. Мы не отрываемся от окна. Все вызывает в детях живейший интерес.

Я не готовился к путешествию, предполагая кое-что почитать в Боцене. А тут мы вдруг в Италии, и мне со всех сторон задают вопросы, требуют объяснений. Приходится обходиться старыми запасами, сохранившимися в памяти. Побуждаю в свою очередь молодежь мобилизовать в уме сведения из учебников. Призываю на помощь Софию Яковлевну и Марию Федоровну.

Экзамен мне выдался неожиданно серьезный. В течение всего дня я кое-как держался, но к концу дня впал в такую ошибку, которая грозила скомпрометировать меня в глазах не одного только моего семейства.

Мы быстро неслись к Флоренции. Там нам предстояло переменить поезд, чтобы через два часа ехать в Viareggio, куда мы должны были приехать в тот же вечер. Успеем ли во Флоренции между поездами выскочить из вокзала в город, на берег Арно или на Старую площадь? Как бы было приятно промять ноги и навестить своих любимцев! Соревнуясь друг с другом, я, София Яковлевна и Мария Федоровна рассказываем детям про Флоренцию. Между тем поезд наш несется по живописной Тоскане, то

ныряя в туннель, то вылетая на волю, чтобы вновь врезаться в гору и выскочить в новом месте, открывая нам совершенно новую картину.

«Флоренция!—воскликнул я, увидев неожиданно раскинувшийся перед нами город.— Вот Собор, или нет—вот!»—«А там, должно быть, Старый замок виден сбоку».—«В таком случае надо искать старый мост в этом направлении!»—перебивали мы с Марией Федоровной друг друга.

Но поезд останавливается. Надо спешить, забрать вещи и выскочить. На итальянских facchino* рассчитывать нечего, их никогда не дозовешься. И в одно мгновение наше семейство на перроне. В следующее—я нашел оклеветанного facchino и вручил ему квитанцию на багаж, который был сдан только до Флоренции и который нужно было пересдать до Viareggio. В третье мгновение поезд уносится дальше, оставляя нас на перроне станции Пистоя в полутора часах езды от Флоренции. Да, именно Пистоя, а отнюдь не Флоренция!

Это был номер, и номер, выкинутый не горячим итальянцем, а степенным русским, отцом семейства, перед всей станционной публикой, глазевшей на незадачливых путешественников! Хоть сквозь землю провалиться! А как тут скрыться, на захолустной станции? Пришлось все вытерпеть и через час сесть на ближайший отправлявшийся во Флоренцию поезд. Скромненько, без приключений и разговоров, прикорнув каждый где мог, добрались мы поздно ночью до Viareggio, усталые и, признаюсь за себя, как бы помятые.

* facchino *(ит.)* — носильщик.— *Ред.*

Viareggio приняло нас ласково и радушно. Ночью на вокзале нас встретил комиссионер гостиницы, в которой Катя задержала для нас комнаты, и в карете доставил в гостиницу. На следующее утро, едва мы успели встать, пришла Катя и предложила всем вместе идти на пляж — средоточие курортной жизни в Viareggio.

По дороге мы купили купальные костюмы и через несколько минут, взяв кабинки для раздевания, погрузились в совершенно новые для нас наслаждения пребывания на пляже. Кто раз отведал эту негу, того на следующий день так и тянет к морю, и мы сделались ежедневными, усердными посетителями пляжа.

Впрочем, за двухнедельное пребывание в Viareggio мы все же помимо посещения пляжа совершили ряд приятных прогулок в окрестностях Viareggio по пиниевым рощам, прилегающим к нему; по фруктовым садам, искусственно орошаемым; по серо-зеленым оливковым рощам, покрывающим склоны гор. С Симой* я провел целый день в горах, среди оливковых рощ, о которых до этого имел представление лишь по палестинским этюдам Поленова, и в памяти вставали давно забытые эпизоды Нового завета.

Все вместе с Катей съездили мы в Лукку, средневековый город, окруженный стеной, на которой разведен бульвар и растут вековые деревья. Провели день в Пизе с ее косой башней и меланхолическим кладбищем.

Для меня прелесть пребывания в Viareggio увеличивалась свиданием с Катей. Мы с ней

* Дочь Е. В. Барановской.— *Ред.*

давно не виделись. Приятно и интересно было поговорить о многом. Катя чувствовала себя в Viareggio как-то особенно хорошо. Она только что проделала, с большой для себя пользой, курс грязевого лечения и уже успела отдохнуть от него, была бодра, деятельна. Кате минуло 55 лет, мне 42. Разница в годах между нами как будто скрадывалась теперь, когда и я оказался «в годах». Дома всегда стесненные недосугом, мы в Viareggio наслаждались возможностью часами проводить время в беседах, затрагивая постепенно все занимавшие нас вопросы.

Как и все русские того времени, мы много говорили о внутреннем политическом положении в России. Еще во времена дальневосточных авантюр Абазы и Безобразова говорили, что мы в России живем, как на вулкане,— произойдет извержение и сметет все общественное устройство. Такая оценка нашего внутреннего положения за истекшие после того десять лет подтверждалась явной неспособностью царя, своекорыстием высшей аристократии и бюрократии, неподготовленностью буржуазии нашей к власти, бессилием интеллигенции и общественных сил, раздражением и беспокойством низов. Все же мне казалось, что не следует упускать из виду тех положительных процессов, которые происходят в стране и которые со временем могут изменить положение. Быстрый рост промышленности за последние годы казался мне очевидным. Крестьянство, несомненно, тоже богатело, хотя, конечно, в его недрах шел очень сложный процесс дифференциации — возвышения одних и пролетаризации других. Но при высокой промышленной конъюнктуре освободившиеся в деревне

рабочие руки легко находят себе приложение в промышленности. При таких явлениях в молекулярном строении страны мне казалось, что начавшееся с 1905 года и болезненно протекавшее преобразование государственного устройства, при всех зигзагах, какими оно шло, может все же доплестись в конце концов до какого-то разумного порядка. Не помешали бы нам только наши соседи, которые могут попробовать захватить себе какие-либо преимущества в ущерб России. Тогда наше дело плохо, ибо воевать Россия сейчас, конечно, не может.

И вот раз, когда мы так беседовали с Катей на веранде у моря в ее гостинице (вечером 15/28 июня 1914 года!), мы заметили необычайное оживление среди сидевших за соседним столом гостей. То были итальянцы. Если наша гостиница обслуживала преимущественно иностранцев, то Катина посещалась итальянской аристократической публикой. Волнение было вызвано каким-то известием, опубликованным в только что вышедшем дополнительном выпуске итальянской газеты. Повторялись слова «эрцгерцог» и «Сараево».

Я вышел на улицу, чтобы купить этот экстренный выпуск, но он у газетчиков был мигом распродан. Наконец Сережа, перебежав улицу, успел у мальчика-газетчика перехватить последний экземпляр. То была телеграмма об убийстве в Сараеве сербом наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой.

«Так судьба стучится в дверь»,— истолковал кому-то Бетховен вступительные звуки своей 5-й симфонии. Мы обыкновенно так невнимательны и так непонятливы, что не

замечаем стука судьбы в дверь нашу, и нет Бетховена, который бы растолковал эти звуки... Мы обменялись соображениями о причинах сараевского события и могущих произойти международных осложнениях, однако были далеки от мысли, что приближается шквал, который вырвет нас с корнем из почвы, где растем, и развеет по всему свету...

Две недели пролетели в Viareggio незаметно. Надо было двигаться в Тироль, тем более что приехавшая туда без нас Н. Н. Львова писала, что погода установилась теплая и в горах хорошо. Упаковав свои вещи и взяв билеты на поезд, мы пошли в последний раз на пляж. Лениво, чуть заметно плескались маленькие светло-голубые волны о светлую линию прибрежного песка, «ласкового», как его метко назвали наши девочки. Белесовато-голубое море, без резкой черты горизонта, сливалось с небом. Внизу небо казалось таким же бледно-голубым и только в зените становилось синим. А со стороны берега на фоне неба вырисовывалась ломаная линия невысокой возвышенности, покрытой серо-зелеными оливками. Ниже белел ряд каменных отелей, а еще ниже, совсем перед нами, ярко пестрели раскрашенные в разные цвета кабинки.

Надобно было расстаться с этой благодатью и расплатиться с содержателем кабинок синьором S. Громадного роста, плотный, бронзовый от загара, с отвислым брюшком, в одних трусиках и соломенной шляпе с огромными полями, он стоял тут как господин, пася «стадо» клиентов и чувствуя себя хозяином этого пляжа, моря, солнца и прочих даров природы. Самодовольно и покровительственно

похлопал он меня по плечу, приглашая вновь приехать в будущем году. И мы, обвороженные прелестями Viareggio, обещали...

По возвращении в Тироль мы сразу устроились в Rappersbüchl'е, где уже нас ждали Надежда Николаевна и Наташа Львовы.

Убийство эрцгерцога внесло изменения в летние передвижения автрийского двора. Венгерский магнат, задержавший весной комнаты в этом пансионе, прислал телеграмму с отказом от них.

Хозяйка встретила нас как старых знакомых. Вообще мы сразу почувствовали себя как дома в Rappersbüchl'е. Пансион состоял всего-навсего из двух небольших, уединенно стоящих в горах двухэтажных домиков типа шале, удобных и уютно обставленных. Кругом никакой ограды, ни палисадников, ни надворных построек. Никаких соседей. К домикам не видно даже дорожки или тропинки. Проходящая поблизости узкоколейная железная дорога не имеет станции в Rappersbüchl'е. Вагон останавливается по требованию у опушки леса, на зеленой лужайке, лежащей перед домиками. Одним словом, сочетание всех культурных удобств жизни с полной от нее оторванностью и слитностью с природой. Оба домика стоят на бугре, защищенном от господствующих ветров горами и сосновым лесом. Фасадами они обращены на знаменитую панораму красных доломитовых гор.

Мы зажили уединенно и тихо, совсем как предписал Софии Яковлевне Ф. А. Гетье. Вставали рано, ложились не поздно. Утром до обеда все занимались своими делами: дети — немецким языком с Марией Федоровной и

рисованием с Надеждой Николаевной Львовой; София Яковлевна читала; я занимался привезенными с собой из Москвы работами. После раннего обеда обычно предпринималась общая прогулка. Затем ужин и — спать, чтобы не проспать восхода.

В Rappersbüchl'е после сараевского происшествия не все комнаты оказались занятыми. Кроме нас в пансионе, но в другом доме, приходя в наш к обеду и ужину, жили только капельмейстер из Кёльна с женой. Вероятно, уроженка Тироля, она, приехав в щегольском, по последней моде платье, скинула с себя здесь городское обличье и стала ходить в тирольском крестьянском костюме. Крупная, с грубоватыми чертами лица, она в модном платье казалась несколько вульгарной, а тирольский костюм ей очень шел. Она нам очень в нем понравилась, и, думаю, от нее не ускользнуло наше постоянное ею любование.

Разновременно нас посетили Н. В. и О. А. Сперанские, по пути на озеро Гарда, и Борис Яковлевич Лукин. С гостями предпринимались более отдаленные прогулки. С Борисом Яковлевичем 5 июля (по старому стилю) в именины Сережи мы ездили в средневековый замок в окрестностях Боцена, а затем обедали в Боцене в ресторане на главной площади города. Было весело среди нарядной местной гуляющей публики и приезжих туристов.

Так-то мы благодушествовали в блаженном неведении приближающейся грозы. В Rappersbüchl'е получалась какая-то местная газетка, посвященная преимущественно местным интересам и жизни курортов и туристов. Короткие телеграммы, помещавшиеся в ней о между-

народных отношениях (как потом оказалось, со всевозможными сокращениями и умолчаниями, дабы не волновать клиентов, которыми живет край), принимались мною с наивным недоверием, в убеждении, что маленькие газетки всегда склонны к сенсациям и потому преувеличивают. Хотя я подписался на крупную газету «Leipziger Neuste Nachrichten», но она долго не приходила, а когда и стала получаться, то далеко не исправно. Между тем большие газеты были полны известиями и статьями об осложнившемся международном положении в связи с сараевским убийством.

Заметив это, я стал поручать покупать мне газету в Боцене или ходить в Обербоцен и Rosmersholm просматривать газеты в кафе. Но и при такой более полной информации я все же не допускал возможности войны. Что после печального опыта франко-прусской войны столкновение, если оно произойдет, не ограничится единоборством двух держав, для меня было очевидно. Ну а в таком случае даже уверенная в своих силах Германия, думал я, не возьмет на себя инициативы общеевропейской войны.

Не видя причин прерывать свое заграничное пребывание, я все же стал склоняться к переезду куда-нибудь на север Италии, тоже в горы, подальше от людей. Но перед отъездом надо хоть один раз сделать восхождение на вершины. Идем я, Мария Федоровна, Наташа Львова и Сережа. Дорога, как везде в Тироле, хорошо размечена — краской на камнях и деревьях. Подъем не слишком крутой. Выйдя утром, мы к закату уже на вершине, у шале, устроенного для туристов. Разреженный воздух. Его непривычная прозрачность. Характер-

ное для гор безмолвие, прерываемое шумом журчащей где-то воды и изредка падающих камней. После заката стало очень холодно. Мы поспешили в шале — поужинать и спать. Единственное блюдо — яичница — съедена быстро. Постели удобные, мягкие, с бельем и перинами, что особенно ценно, так как очень холодно. Нам с Сережей досталась та самая комната, в которой незадолго до сараевской трагедии ночевал, по-видимому, брат убитого эрцгерцога.

Поутру, расплатившись и готовясь в обратный путь, мы вздумали подурачиться и в книге посетителей расписались как великие особы: «в сопровождении» — mit Stock und Hut *.

Бодрые, возбужденные и веселые, с громадными букетами рододендронов, спустились мы в свой пансион. Софию Яковлевну, Надежду Николаевну и девочек мы нашли на лужайке перед пансионом. В руках у Софии Яковлевны была пришедшая без нас почта — русские и немецкие газеты и письма.

София Яковлевна была в сильной тревоге от полученных известий. Посланная накануне на озеро Гарда Сперанским телеграмма возвращена за прекращением обмена депеш с Италией. Поезда до итальянской границы не доходят. Одним словом, надо ехать в Россию,— решаем мы тут же. Я передаю свой букет и палку и отправляюсь в Боцен заказывать билеты. София Яковлевна идет укладываться. «Не пересидели ли мы тут в горах все сроки, чтобы выбраться из надвигающейся кутерьмы?» — спрашиваю я себя, но стараюсь не выдавать

* Игра слов. Буквально: с палкой и шляпой (охраной) *(нем.).— Ред.*

волнения. К ужину я вернулся, едва успев заказать билеты на Мюнхен, Берлин, Калиш, Москву. Но деньги приняли только до Берлина, где нужно было довнести стоимость остального пути.

Внезапный перерыв нашего заграничного отдыха всех, разумеется, расстраивал. Чтобы поднять настроение и не дать места унынию, я стараюсь за ужином шутить, Мария Федоровна меня в этом поддерживает. Ужин проходит в балагурстве и смехе, причем Таня хохочет, нисколько не смущаясь сидящей за соседним столом четы капельмейстера. Уже поздно вечером, расплачиваясь с хозяйкой, я узнал от нее, что капельмейстер получил запечатанный пакет и спешно уезжает на родину. Его жена весь день плакала. Нам стало неловко за наше шумное поведение за ужином. София Яковлевна отнесла соседке в знак внимания и сочувствия большой букет из принесенных нами с гор рододендронов.

С плачем провожали нас на следующий день хозяева пансиона. Он сразу опустел, и уже не было надежды получить каких-либо клиентов на конец сезона. Проклиная войны и правительства, их устраивающие, хозяйка расточала похвалы миролюбию и щедрости приезжающих иностранцев. В ожидании железнодорожного вагона девочки сняли своими фотоаппаратами два гостеприимных домика, а Таня сняла еще своего любимого Мишку на большом камне в окружении многочисленного семейства маленьких куколок.

В Боцене — тоже растерянность и уныние. Вывешены громадные плакаты — Ruhig Blut *,

* Сохраняйте спокойствие *(нем.)*.— *Ред.*

внушавшие иностранным клиентам, что в Тироле опасаться нечего и что даже в случае войны во всей Европе не будет более безопасного и спокойного места.

Публика, однако, рвалась домой. Мужчины, состоящие в запасе, получили запечатанные пакеты и немедленно отбыли. Вокзалы и поезда переполнены. Билеты разобраны. Хорошо, что я заказал свои места еще накануне. На вокзале мы еще раз встретились с четой капельмейстера. Она приветливо улыбнулась, он предупредительно спросил, не может ли в чем быть нам полезен при посадке...

Наш поезд был полон запасных. Их провожали с цветами. Со всех концов, из домов, садов и с горных тропинок махали нашему поезду платками; кричали, чтобы скорее возвращались. Думается, что это относилось и к уносившимся с поездом иностранцам.

Ночью, в Мюнхене, нам было объявлено, что надо переменить поезд. Мы вышли из вагона и, к удивлению, увидели, что поезд наш остановился, не дойдя до вокзала. Смущенные такой необычной для Германии беспорядочностью, пассажиры за отсутствием носильщиков забрали сами свой багаж и поплелись в темноте по сыпучей насыпи к светящемуся в отдалении вокзалу. На вокзале с трудом удалось достать носильщика и передать ему вещи. Была страшная давка. Только что отошел поезд запасных. По-видимому, предстояло отправление еще таких же поездов.

С трудом протиснулись мы на перрон сквозь зловеще молчавшую толпу провожавших, наводнившую все залы и переходы. Тут все пути были заняты готовыми к отправлению

поездами. Вагоны освещены, многочисленные дверцы (по конструкции немецких вагонов — по наружной двери с каждой стороны к каждому купе) раскрыты, всюду надпись «Berlin». Но, увы, все места «reservirt fur h. Officiere*. Едва-едва удалось нам втиснуться в вагон, предоставленный простым пассажирам дальнего следования. Здесь мы встретились с Б. Д. Плетневым, москвичом, как и мы, попавшим в этот водоворот и возвращавшимся в Москву. Он рассказал, что в Мюнхене были патриотические манифестации, что отношение к русским враждебное, что в каком-то кафе было даже побоище. Пока мы разговаривали, стоя в вагоне у открытого окна, к вагону подбежала, плача и ломая руки, молодая девушка, русская еврейка, умоляя нас взять ее с собой. Она из Бобруйска, в Мюнхене никого не имеет, консул отказался дать ей паспорт. Мы могли ей только посоветовать без правильно выбранных документов не трогаться в путь.

Рано утром 18/31 июля поезд наш прибыл в Берлин. Здесь предстояло пробыть целый день, так как поезд, на который я заказал места, в Москву уходил вечером. Мы взяли номер в знакомой мне по прежним поездкам гостинице «Hotel Stadt Riga» на Фридрихштрассе, почти рядом с вокзалом.

Оставив дам и девочек в гостинице, мы с Сережей пошли менять деньги. Это оказалось, однако, почти невыполнимой задачей. Австрийских денег, денег союзника, никто в Берлине не брал. Итальянских тоже. Попытка проникнуть в Reichsbank ** для размена денег не удалась. У

* Оставлены для господ офицеров *(нем.).— Ред.*

** Государственный банк *(нем.).— Ред.*

дверей банка стоял длинный хвост вкладчиков, спешивших выбрать свои сбережения. Полиция пропускала по очереди, и мы не стали домогаться пропуска. Наконец, какой-то старый бородатый меняла обменял мне сторублевую русскую бумажку на немецкие бумажки. Курса я не помню, но это нас вполне устраивало.

Разменяв деньги, я повел нашу компанию обедать в ресторан «Unter den Linden». Когда мы выходили с Фридрихштрассе на улицу Unter den Linden*, то с противоположной стороны выехало несколько больших элегантных автомобилей и проследовало по направлению к дворцам.

Немногочисленная публика кричала приветствия, некоторые бросали вверх шляпы. Это император Вильгельм II и кронпринц на автомобилях въезжали в Берлин из Потсдама.

После обеда я взял большой автомобиль, и мы все вместе поехали в Зоологический сад. Мы удивлены были обилию там русских посетителей. Русская речь слышалась со всех сторон. Очевидно, в это беспокойное время не одни мы спасались в Зоологическом саду. Однако через некоторое время в саду появился военный оркестр. Надо было ожидать исполнения гимна и соответствующих патриотических манифестаций со стороны публики. Чтобы не оказаться в фальшивом положении, мы покинули Зоологический сад, взяли опять автомобиль, и я попросил шофера покатать нас по городу.

Всюду образцовый порядок. Все прибрано. Чистота образцовая. Дома хотя и не представляют ничего замечательного в архитектур-

* «Под липами» *(нем.)*—главная улица Берлина.— *Ред.*

ном отношении, но монументальны, хорошо содержатся. На окнах, на балконах цветы — преимущественно настурции и красная герань. Нарядно, опрятно и празднично. Мы по Unter den Linden приближаемся к дворцовой площади, хорошо нам известной по двум музеям, когда над императорским дворцом взвивается флаг. Шофер — я сижу с ним рядом — говорит мне, что император прибыл во дворец. На площадь стекается народ, автомобиль едва продвигается вперед. Мы вынуждены остановиться на мостике через канал при въезде на площадь. Кто-то показался на балконе дворца. Он начинает говорить народу на площади, размахивая руками. Потом мы узнали, что то был сам император: он говорил против Николая II, размахивая его письмом. Речь эта появилась затем во всех газетах, но тогда мы ничего не расслышали и не разобрали, а догадались о том, что слушали императора, по приветственным крикам толпы.

Я просил шофера вывезти нас из толпы и с площади. Но, окруженные толпой, мы не могли ни съехать с места, на котором были застигнуты, ни повернуть наш автомобиль. И вот, медленно раздвигая перед собой густую толпу, навстречу нам показался автомобиль, в котором сидел Вильгельм II. Среди неистово приветствовавшей его толпы он медленно-медленно, совсем вплотную, проехал мимо нас, чуть не задевая нашу машину. Я мог отчетливо разглядеть не только его лицо, но и щетинящиеся усы. Кругом гул восторженных восклицаний, в нашей машине гробовое молчание. В этот день в Берлине трудно было уберечься от манифестаций, но мы попали в самую гущу,

описанную впоследствии во всех газетах. Ужинали мы уже в знакомом нам ресторане «Unter den Linden». В ресторане все места были заняты. Чтобы получить место, приходилось ждать, пока оно освободится. Я увидел здесь К. К. Мазинга, гласного Московской городской думы, известного педагога и основателя реального училища в Москве. Основываясь на том, что Бавария не объявила у себя «состояние угрожающей военной опасности», старик стал доказывать мне, что нет смысла пороть горячку и возвращаться в Россию. Благоразумнее в Баварии переждать, как развернутся события. Я рассказал ему, что́ происходило ночью в Мюнхене на вокзале, но старик остался при своем. Задержавшись на лишние сутки в Германии, он претерпел через то немало неприятностей. Был заподозрен чуть ли не в шпионаже и возвратился в Россию много позже нас.

Поужинав, мы все направились в «Hotel Stadt Riga», чтобы выждать в номере до отправления на вокзал. На минутку мы с Сережей вышли на Unter den Linden, чтобы купить вечерние газеты и посмотреть, нет ли экстренных сообщений. Не успели мы появиться на Unter den Linden, как нас обогнал громадный грузовик. Какой-то агитатор, стоя на грузовике, раскидывал экстренное прибавление и неистово кричал: «Ultimatum! Ultimatum!» *. Это был текст предъявленного России ультиматума об отмене мобилизации. Германскому послу поручено было сообщить Сазонову, что за объявлением «состояния угрожающей военной опасно-

* Ультиматум *(нем.).— Ред.*

сти» последует всеобщая мобилизация, если Россия не приостановит в течение 12 часов свои военные приготовления. Это поручение Пурталес исполнил в 12 часов ночи с 31-го на 1-е.

В гостинице перед отходом на вокзал новое смущение. Узнав, что мы едем в Калиш, портье пришел в ужас: «Разве можно на Калиш, да еще с женщинами и детьми». Схватив у меня железнодорожные билеты, он стал куда-то телефонировать, стараясь наши места на Калиш обменять на другое направление.

— Разве можно сегодня достать восемь мест в одном поезде! — воскликнул он, кладя трубку после неудачных переговоров. Затем, возвращая мне билеты и как бы делая над собой усилие, сказал: «Ну что же, поезжайте, если не боитесь!» Он не хотел даже брать с меня на чай. Этот человек что-то знал, что готовилось в Калишском направлении. Жутко подумать, чем мы рисковали...

На вокзале все шло, как заведенные часы, и в положенное время поезд в полнейшем порядке повлек нас к нашей границе. Надежда Николаевна тихо поздравила меня с благополучным отбытием домой.

— Не верю я, что разыграется война. Вы видели, какое повсюду разлито благоденствие. Кто же здесь серьезно захочет подвергать его случайностям войны? — сказал я ей.

Меня все же беспокоили вечерние телеграммы, в которых немецкие газеты сообщали, как потом выяснилось, заведомо ложные известия о восстании в Польше, взрыве цитадели в Варшаве, избиении русских.

Рано утром я был разбужен Софией Яковлевной. Она уже слышала в коридоре, что нас

дальше не повезут. Не успел я вскочить, как наш поезд остановился и на перроне раздался повелительный крик «Allec Heraus!»* Поезд стоял на пограничной германской станции Скальмержиц. Повыскакивавшие из вагонов пассажиры беспорядочно толкались на перроне, стараясь узнать, в чем дело. Выяснилось, что поезд дальше не пойдет, что на русской стороне поезда нет и нам предстоит идти дальше и перейти границу пешком.

— А багаж?—спросил я железнодорожного служащего.

— Требуйте его от вашего императора Николая!—был ответ, свидетельствовавший, что дипломатические отношения порваны.

Встретившаяся тут преподавательница Университета Шанявского Ежова сообщила мне, что пассажиры ее вагона уже объяснялись по поводу выдачи багажа с начальником станции, но без успеха. Для перевозки ручного багажа они наняли арбу, на которую она предложила и нам сложить свои вещи, что мы тут же и сделали.

Тихо затем поплелись пассажиры нашего поезда по направлению к русской границе, сопровождаемые несколькими арбами, доверху нагруженными вещами.

Но вот мы у границы. Пикеты немецкие и русские стоят друг против друга с заряженными ружьями, отделенные друг от друга нейтральной полосой в 15—20 шагов. Пассажиров по очереди, одного за другим, пропускают через границу. Но не успели мы всей семьей перейти, как произошла заминка. Германцы

* Всем выйти! *(нем.).— Ред.*

внезапно прекратили выпуск от себя, и кучка пассажиров была задержана на той стороне вместе с арбами, везшими наши вещи. Одна семья оказалась разъединенной. По просьбе перешедших пассажиров русский офицер из пограничного пикета пытался вступить в переговоры с германской стороной, но не мог добиться пропуска не только арб с вещами и не перешедших границу пассажиров, но даже членов разъединенной семьи. Немецкая машина сработала. Из центра пришел приказ закрыть границу, и граница захлопнулась моментально. Мы долго стояли в ожидании, не произойдет ли каких-либо перемен, но ждали напрасно. Танюшкин любимый Мишка застрял на немецкой стороне с нашим ручным багажом и по моей вине. В ожидании большого перехода пешком я настоял в Скальмержице, чтобы все вещи были сложены в арбы. С ними теперь оказался отрезанным от нас и Мишка, завернутый в Скальмержице в тюк с пледами и подушками.

Было 19 июля. День рождения Тани. Утром в этот день все в семье вставали пораньше, рвали букеты, плели венки и гирлянды к утреннему чаю. Каждый старался затмить других цветочными подношениями. А теперь в этот ранний час сколько уже произошло несчастий! Вдали от дома, разбуженные чуть свет, не евши, не пивши, лишившись своего багажа, сначала большого, а затем и малого, бредем мы по пыльному шоссе в полную неизвестность... И в довершение всего потеряли Мишку. Как тут не плакать! И бедная девочка украдкой вытирала слезы.

До Калиша, куда нам предстояло держать путь, оставалось верст пять-шесть. Из города

стали подъезжать извозчики и забирать пассажиров. Нас было восемь человек. Сразу взять двух извозчиков, чтобы поднять всех, не удавалось. Между тем София Яковлевна пуще всего боялась разъединиться, да и я, имея в памяти берлинские телеграммы о восстании в Польше и избиении русских, считал необходимым держаться всем вместе.

Решено было передохнуть немного у русского пограничного пикета и подождать, пока отъезжавшие на извозчиках пассажиры не пришлют еще извозчиков из города. Если же их не будет долго, то идти в Калиш пешком, соединившись с другими пассажирами.

София Яковлевна попросила хлеба для детей у начальника пикета. Офицер очень любезно дал большую краюху черного хлеба, извинившись, что ничего другого съестного в пикете нет. Закусить разместились под дикой грушей:

— Незрелые груши вредно есть,— обратился я к одному из солдат, сидевших под соседней грушей.

— Да нам и не велено их есть строго-настрого,— ответил парень, запихивая себе в рот совершенно зеленую грушу.

При таком добродушном согласии нетрудно было разговориться. Я узнал, что пикет придвинут к границе вторые сутки, что ночью ему было поручено взорвать мост, но обстрелянные германцами охотники не могли к нему проникнуть, что уже этой ночью «беспременно да взорвут мост».

КАЛИШ

В конце концов, частью пешком, частью на встречных извозчиках мы добрались до Калиша. Железнодорожная станция была всеми покинута — ни служащих, ни состава. Это не обещало ничего хорошего. В гостинице все номера заняты. Нас едва-едва за плату усадили в столовой, переполненной публикой преимущественно с нашего и предшествовавшего поездов. Здесь я услышал, что железнодорожные служащие эвакуированы еще со вчерашнего дня, что на последние поезда, уходящие в Варшаву, места брались с бою, что приехавший из-за границы гласный Московской думы князь Кропоткин, мой знакомый, уехал в Варшаву на лошадях.

Я просил подать чай и бутерброды. Лакей потребовал деньги вперед, притом требовал уплатить золотом, согласившись в конце концов принять частью германские (!) деньги. Я решил идти к губернатору, чтобы выяснить положение и найти способ выбраться.

— А не было ли среди пассажиров вашего поезда нашего губернатора? — спросил принявший меня вице-губернатор. Как оказалось, губернатор был за границей и должен был вернуться нашим поездом, но не был пропущен германцами через границу.

Что касается нашего продвижения, то вице-губернатор конфиденциально сообщил мне, что ночью из Лодзи подадут поезд для эвакуации чиновников гражданского управле-

ния. Местных жителей он не в состоянии принять на этот поезд, нам же, москвичам, проезжающим через Калиш транзитом из-за границы, он даст пропуск. Он просил этого, однако, не разглашать, так как иначе он будет завален невыполнимыми просьбами. Но он не дал мне пропуска на руки, обещав прислать его в гостиницу и советуя пораньше перебраться на вокзал до стечения публики. Заподозрив (каюсь в этом) его в неискренности и в желании просто поскорей сбыть меня с рук, я указал ему на казавшееся мне противоречие в его распоряжениях: нам всем перебраться немедленно на вокзал, а пропуск будет направлен в гостиницу.

— Пропуск будет на имя коменданта поезда, а он вас пропустит по имеющимся у вас документам,— был малоуспокаивающий ответ вице-губернатора.

Пришлось вернуться в гостиницу без пропуска. Мои черные подозрения сменились, однако, живейшей благодарностью к этому не известному мне человеку, вошедшему в наше положение и оказавшему нам неоценимую услугу при выезде из Калиша. В самом деле, не успел я вернуться в гостиницу, собрать своих, взять извозчиков и усадить всех, чтобы ехать на вокзал, как к крыльцу гостиницы, где стояли наши извозчики, готовые тронуться в путь, подкатил солдат на самокате. Он передал мне пакет от вице-губернатора с пропуском на девять человек, включая Ежову.

На вокзале по-прежнему не видно было железнодорожных служащих, а на путях никакого подвижного состава. Однако из города

пешком и на извозчиках стал стекаться на станцию народ, постепенно наводняя собой все вокзальные помещения. Усадив своих в зале ожидания, я взял с собой Сережу и пошел искать по станции какое-нибудь начальство. Наконец, у телеграфного аппарата мы застали офицера, начальника станции и телеграфиста. Они отправляли телеграмму с распоряжением взорвать железнодорожный мост.

— Помилуйте,— говорил начальник станции,— да ведь этак они вам ваш поезд взорвут! Вы телеграфируйте не просто немедленно взорвать, а немедленно после прохода поезда взорвать.

— А ну если поезда этого вовсе не будет? Вот не подают еще,— возражал офицер.

— Взорвут мост, тогда уж где тут подать,— сумрачно упорствовал начальник станции.

Мы с Сережей переглянулись. Так ли уж заманчиво ехать в этом поезде? Что если его в самом деле по недоразумению взорвут? А что если его даже и не подадут?

Посмотрев мой пропуск, офицер сказал, что нас в поезд пропустят. Вернувшись в зал ожидания, мы нашли там невероятное скопление публики и ужасающую давку. Страшно было подумать, какая тут будет Ходынка, когда откроют двери на перрон для посадки на поезд. По настоянию Софии Яковлевны, мы с громадными усилиями выбрались к вокзалу. Уже темнело. Можно было ожидать скорого прибытия поезда. Надо было измыслить способ проникнуть к нему.

Я обратился к жандарму, показал ему

пропуск, указал на детей, с которыми опасно пробиваться на перрон через людскую гущу, скопившуюся в зале ожидания, сунул ему в руку пятерку. Одним словом, разом пустил в ход все аргументы.

— Ждите здесь до темноты,— сказал он,— затем я вас проведу.

Примерно через час он повел нас совсем в сторону от вокзала, сначала полем, потом запасными путями. В темноте мы незаметно, вплотную подошли к цепи солдат, окружавшей поезд. Он стоял в стороне от вокзала, на нем не было огней, мы бы и не узнали о его прибытии.

Нас беспрепятственно пропустили. Мы заняли даже сидячие места. Затем все проходы битком заполнились людьми. Без гудка, чуть слышно, поезд тронулся в путь.

Через несколько часов мы подошли к Лодзи. С перрона нам крикнули, что Калиш занят немцами. Какие-то поляки-крестьяне с топорами и мешками влезли к нам в вагон через окно.

На чье-то замечание, что мест свободных нет, один из них очень внушительно сказал, что они место себе найдут.

Утром мы были в Варшаве. Чтобы сесть на поезд, направляющийся в Москву, надо было через весь город перебраться с Калишского на Брестский вокзал. Извозчиков нет. Пришлось порядочно побегать, прежде чем я, наконец, достал двух пароконных извозчиков и привел их на Калишский вокзал, предусмотрительно отобрав у них «номера» их. Но пока я ходил на вокзал, два солдата заняли моих

извозчиков для князя Имеретинского, если не ошибаюсь, бывшего генерал-губернатором Привислянского края. Невзирая на ружья, которыми аргументировали солдаты, я стал перед ними отстаивать свое право на приведенных мною извозчиков, «номера» которых были у меня в руках. К моему великому удивлению, солдаты больше, оказывается, уважали право, бывшее на моей стороне, чем силу, находившуюся в их распоряжении. Порядком поспорив с ними и, что бывает в таких случаях полезно, пошутив, я в конце концов усадил своих на этих извозчиков, которые и доставили нас на Брестский вокзал.

Тут полная сумятица. Ни есть ни пить нечего. Будут ли поезда на Москву, неизвестно. Встретившийся мне князь Кропоткин, действительно приехавший из Калиша на лошадях, сказал, что для выезда из Варшавы надо получить разрешение коменданта крепости.

— Ну а цитадель?—намекнул я на берлинские телеграммы.

— Выдумка германских патриотов,— ответил мне он,—везде полный порядок!

После целого дня ожидания на вокзале и беготни по городу за разрешением на выезд мы в конце дня втиснулись в один из трех стоявших у вокзала поездов, отправлявшихся в Брест. Время отхода неизвестно. Никакие расписания не соблюдаются. Пойдет ли поезд дальше Бреста, не установлено. Мы заняли места в вагоне третьего класса, довольно чистом. В этом вагоне нас в семь суток (!) довезли до Москвы. Но мы все время находились в неизвестности, пойдет ли поезд дальше

данного перегона, и на каждой станции приходилось справляться о том у дежурного по станции. После Бреста нам стали встречаться воинские поезда, и чем дальше, тем чаще. Солдаты держались молодцевато. Пели песни. В вагонах чисто. На меня, опасавшегося, что мы не сможем благополучно провести мобилизацию, эта движущаяся на защиту границ армия произвела внушительное впечатление. «Россия всегда оказывается выше наших ожиданий!» — думал я дорогой.

Стояла невыносимая жара. Среди пассажиров начались кишечные заболевания. Два ребенка в соседнем вагоне умерли от поноса. Заговаривали о холере и о карантинах. Со встречного поезда мобилизованные перебросили нам последний номер газеты «Русское слово», который тут же из рук в руки стал передаваться по вагонам нашего поезда. Предупредительность и внимание друг к другу случайно встретившихся, незнакомых людей — это было тоже новое, приятно поразившее меня впечатление от родины.

На станции Ярцево при нас происходила посадка запасных в отправляющийся на границу поезд. Угрюмо и сосредоточенно прощались они, по-видимому все рабочие ярцевских фабрик, со своими семьями. Женщины голосили, старики унимали детей. А для придания отбывающим бодрости струнный оркестр пиликал на перроне «Боже, царя храни». Величественно закатывалось солнце, озаряя в пурпуровые цвета нагромоздившиеся на западе облака. Трубы фабрик густо дымили, и мрачно темнели на фоне заката фабричные корпуса. А с противо-

положной стороны ярко горели в лучах заката скромные окошечки крестьянских изб.

ПРИЕЗД

Но вот Одинцово, Немчиновский мост, Кунцево. Родные с детства места, исхоженные вдоль и поперек. Из-за деревьев выглядывает пятиглавый Спас Сетунь, потом шатровый храм в Троице-Голенищево. С другой стороны — нарядная, красно-белая, нарышкинского стиля церковь в Филях. Поклонная гора с Кутузовской избой приводит на память, что ведь всего сто лет отделяет нас от наполеоновских войн и что я в детстве знал в деревне Аминьево старушку, которая помнила московский пожар. И за 1812-м вспоминаются 1713 и 1613 годы. Какая странная периодичность катастроф в нашей истории и неужели и сейчас будет что-то катастрофическое, думаю я, выглядывая в окно, не встречает ли нас кто на перроне вокзала. Нас, в свою очередь, искал наш артельщик.

— Здравствуйте, Михаил Васильевич! Пожалуйте багажную квитанцию.

— Здравствуйте, Кузьма Филиппович! Багажная квитанция есть, но багаж у германцев остался.

— В таком случае давайте ручной багаж.

— Его тоже не стало, Кузьма Филиппович!

У Кузьмы Филипповича уже не хватало средств для выражения своего удивления, и он молча повел нас к нанятому ландо. В квартире на Тверском бульваре нас приняла в объятия бабушка София Николаевна.

Оставив домашнюю ванну в распоряжении Софии Яковлевны и девочек, я забрал Сережу и поспешил в Центральные бани. Мы там сразу натолкнулись на нашего юрисконсульта Алексея Васильевича Шилова. Он страдал от ожирения и, не знаю, по совету ли врача, или по собственному разумению, чуть ли не ежедневно ходил в баню «спускать жир». Низкого роста, с отвислым брюшком, с громадной лысиной, на которую он зачесывал сбоку жиденькие пряди волос, степенный и обстоятельный. Когда он, надев на свой горбатый нос золотые очки, внимательно, бывало, пробегал своими умными глазами какой-нибудь набросанный мною проект договора, он часто мне казался чрезвычайно характерным типом московского человека, перешедшим в наш век дьяком какого-нибудь государева приказа. Сейчас, в полном обнажении, с простыней на плечах, он сошел бы, пожалуй, за римского сенатора.

Пришлось тут же рассказать ему о нашем странствовании. Нас окружила банная публика, среди которой я узнавал в костюме Адама знакомых и обменивался приветствиями.

В атмосфере банной неги и приятельских разговоров во мне совсем было размякло и испарилось возбуждение, охватившее меня еще в вагоне при приближении к Москве. Пожар войны как будто еще не достиг обывателя, и в этой мирной повседневной обстановке я почувствовал, как снижается мое повышенное настроение и я готов погрузиться в мирную благодушную обыденщину. Но стоило перебежать Театральную площадь и войти в помещение Городской думы, чтобы понять, что за этим внешним непробудным спокойствием таит-

ся небывалое оживление. Общественные круги мобилизовались. Давая то или иное поручение, о человеке судили по тому, что и как он может сделать.

Я пробыл в Думе весь вечер, стараясь разобраться в том новом, что делалось в связи с открытием военных действий, и соображая, что мне самому предпринять.

Когда я вернулся поздно ночью домой, все уже давно спали. В кабинете на письменном столе я нашел ворох бумаг, принесенных из конторы, нераспечатанные личные мои письма и поступившие в издательство рукописи. Толстая папка с давно ожидавшимся переводом «Эдды» привлекла мое внимание; спать не хотелось, и я погрузился в чтение стихов Свириденко.

Телефонный звонок в этот поздний час заставил меня вздрогнуть. Екатерина Андреевна Котляревская извинялась за поздний, несвоевременный звонок, но ее заверили, что телефон у меня так далеко от спальни, что я, если лег спать, все равно ничего не услышу. Она узнала о моем возвращении сегодня через Берлин и хотела бы знать, правда ли, что социал-демократы в рейхстаге в вопросе о войне солидаризировались с правительством.

— Да,— сказал я, чувствуя, что это должно страшно поразить Екатерину Андреевну.

— Ну, а как же...— Екатерина Андреевна от волнения ничего не могла больше говорить, и наш разговор по телефону оборвался.

Чтобы дать улечься раздражению, вызванному разговором о позиции германских социал-демократов, голосовавших за военные кредиты, я вышел на балкон. Внизу чернела

полоса Тверского бульвара, вдали едва белесовато виднелось пятиглавие Страстного монастыря. Сколько передумано и перечувствовано за болезнь Сережи на этом балконе, перед этим видом!

Мне захотелось вспомнить поразившее меня только что при просмотре рукописи «Эдды» четверостишие. Я вернулся в кабинет и прочел:

В меру быть мудрым для смертных уместно,
Многого лучше не знать.
Редко тот радостен сердцем, чей разум
Больше, чем надо, узнал.

В каком непримиримом противоречии находится это суждение с нашей неутолимой жаждой все большего и большего знания!

Сейчас, спустя двадцать лет после той ночи, найдя вновь и выписав это четверостишие, могу только прибавить, что действительно безумно трудно было бы пережить все, мною до сего описанное, а тем более все, после сего пережитое, если бы вперед знать, что нас ожидает. Или пришлось бы снизойти до чисто растительного прозябания, безразличного и к прошлому, и к будущему, и к отдаленному, и к отсутствующему...

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Среди явлений нашей общественной жизни, вызванных войной, особо выделялись возникшие тогда самочинно организации помощи армии — Земский союз, Городской союз, Земгор (объединение обоих союзов), Военно-промышленные комитеты. Я принял участие в работе «Союза городов». Летом 1915 года я

отправился во главе Сибирского медико-санитарного отряда (Бурятского — как назывался он потому, что оборудован был частично на средства бурят) на фронт, в расположение X армии. Отряд там работал в районе Шестаково, развернув в зданиях этой эвакуированной железнодорожной станции свой лазарет.

Затем мы были передвинуты на шлях Вилькомир — Вильно. С падением Ковно армия отступила, Вилькомир был оставлен, и наш лазарет развернулся в Вильно, а с отступлением из Вильно расположился в Молодечно.

Таких отрядов было много, и они описывались в печати. Некоторым отличием нашего было участие в нем порядочного количества бурят с уполномоченными Р. Б. Бимбаевым и В. В. Егоровым. Сын мой Сергей упросил меня зачислить его в отряд, что я и сделал. Видя его в окружении сотрудников, я часто радовался счастливому подбору товарищей, мечтая, что с некоторыми у него могут завязаться дружеские отношения и на будущее время.

* * *

...Николай II приезжал в Москву и знакомился с работой «Союза городов». Мне пришлось видеть его несколько раз — при встрече на Брестском вокзале, при осмотре им выставленных в Купеческой управе отчетных диаграмм и образцов санитарного оборудования, на выходе, наконец, в Большом Кремлевском дворце.

На вокзале я стоял очень близко к царю и мог хорошо вглядеться в него. В отличие от других Романовых, Николай II был невысокого роста. Лицо его было маловыразительно и совсем обыденно. Обращало на себя внимание



М. В. Сабашников —
начальник Сибирского медико-санитарного отряда.
1915

множество морщинок, веерообразно расходившихся к вискам от наружных углов глаз, что придавало лицу несколько старообразный оттенок. Кажется, признак не столько природной нервности, сколько беспокойной жизни. Внутреннее беспокойство, при всей выдержке, все же сказывалось в нервном перебирании пальцами ручки тесака, висевшего у него сбоку. Люди, желавшие непременно восторгаться членами царской фамилии, обыкновенно восхищались «очаровательными глазами царя». Это были большие, действительно красивого цвета светло-коричневые глаза при безукоризненно белых белках. Он постоянно переводил глаза то в одном, то в другом направлении, причем получалось, что он их показывает, как это бывает у некоторых женщин.

Болезненный мальчик-наследник в матросской форме на руках у дядьки-матроса придавал всей семье царя оттенок тяжелого неблагополучия. Непостижимо, как Александр III мог одобрить брак своего сына с принцессой, отягощенной гемофилией, болезнью наследственной, передающейся через женщин, но выявляющейся лишь у мужчин...

В сутолоке отбытия и в хлопотах по налаживанию распорядка в нашем санитарном поезде я не заметил, как мы миновали все знакомые мне с детства пригородные места по Александровской (Брестской) железной дороге и добрались до станции Ярцево. Здесь на остановке я в первый раз выглянул в окно своего купе. Был безоблачный летний полдень, когда в природе все кажется притихшим в какой-то истоме и глаз не улавливает никакого движения. Не замечая меня, по сыпучему

откосу железнодорожного полотна мимо вагона прошел наш доктор, окруженный, как роем, сестрами, весело щебетавшими что-то между собой. Откуда-то с задних вагонов поезда доносились голоса сына Сережи и его нового товарища, обсуждавших стати наших лошадей. Вдоль поезда к станции прошли мимо меня санитары с чайниками за водой.

Одним словом, в поезде нашем уже сказывался какой-то быт.

Вспомнив нашу остановку в том же Ярцеве в 1914 году, в начале войны, когда мы всей семьей возвращались из-за границы, я ужаснулся, насколько мы погрузились в войну эту, насколько мы к ней привыкли. Как гнетуще тяжело мне было тогда и как спокоен и готов ко всему я теперь!

Война, с ежедневными сводками, с убитыми, ранеными и пропавшими без вести, вошла в жизнь, стала чем-то обычным. Ночью, с заседания финансовой комиссии в Городской думе, я езжу в свое дежурство встречать очередной поезд с больными и ранеными, назначенными к выгрузке в Москве, и, несмотря на душераздирающий вид некоторых из этих страдальцев, нахожу в себе силы с вокзала ехать в редакцию «Русских ведомостей», помогать Н. В. Сперанскому в его ночной работе. Совсем как на заурядной службе. «До чего же мы дойдем еще в своем огрубении?» — спросил я себя и отвернулся от окна, чтобы погрузиться в отчеты.

При отступлении на Вильно наша летучка «А» получила направление, отличное от пути следования лазарета. Произошел разрыв, и надо было восстановить связь. С этой целью я отправился верхом из Вильно в летучку «А». К

моему удивлению, пришлось ехать по местности, совершенно обезлюдевшей. В деревнях решительно никого не было. Не было даже собак, которые, очевидно, последовали за хозяевами. Одни только кошки рыскали по халупам и сараям в поисках съедобного. Как я потом убедился, население ушло не в тыл, как бывало, а спряталось, опасаясь германских снарядов, в ближайшие леса и овраги, где я и застал целые таборы. Наслышавшись о бедствиях беженцев, население, по-видимому, решило не покидать родные места, а, переждав в лесу исхода протекавшей военной операции, вернуться в свои дома.

Я ехал по обширной волнистой равнине, окаймленной на горизонте лесом. Солнце уже далеко перевалило за полдень, когда я увидел впереди характерное литовское кладбище на бугре, обнесенное оградой из валунов, заросшее старыми высокими соснами, среди которых, состязаясь с ними в росте, торчали намогильные кресты, знакомые нам по картинам Чюрлениса. Направо от кладбища виднелась панская усадьба, а вдали на горизонте тянулась опушка чернолесья, массив которого мне предстояло пересечь.

Я завернул во двор, надеясь здесь накормить лошадь. Но усадьба оказалась так же обезлюдевшей, как и деревня. Ни души. По всем признакам — настежь отворенные двери и окна, расстановка мебели, приборы на обеденном столе и пр.— усадьба была покинута внезапно и незадолго перед этим. Пришлось, не задерживаясь, ехать дальше. Проезжая мимо кладбища и взглянув за кладбищенскую ограду, я увидел на нескольких памятниках свежие

венки и букеты живых цветов, очевидно, недавно положенные на могилы. Особенно умилили меня маленькие букетики, собранные и положенные на могилы, несомненно, детскими руками. Сколько нужно самообладания, чтобы при поспешном бегстве посетить дорогие могилы!

* * *

...В ноябре 1915 года я возвратился в отряд. Я нашел его в Молодечно. Он довольно удобно расположился около железнодорожной станции, в двухэтажном кирпичном корпусе, рядом с винокуренным заводом. Соседство это было источником постоянных волнений и беспокойств. Несмотря на то что целая рота охраняла цистерны со спиртом, которые не успели вывезти при эвакуации завода, проходящие воинские части неизменно делали попытки проникнуть к запретному зелью и его отведать. Вскоре после моего прибытия в отряд начальство решило наконец разделаться с этим опасным соблазном. За невозможностью эвакуировать спирт постановлено было вылить его на землю. Наехавшие чиновники акцизного надзора должны были, однако, убедиться, что промерзшая, обледенелая земля не впитывает в себя спирта. Он разливался по межам соседних полей на большое расстояние, оставляя повсюду лужицы. Пришлось выливать малыми дозами и со значительными перерывами, что растягивало операцию на долгие сроки. На фронте было затишье, больных и раненых в лазарет поступало немного, и при этом временном бездействии наезды акцизных чиновников и их возня со спиртом служили некоторым развлече-

нием для молодежи нашей в создавшейся монотонной жизни отряда.

Для меня, однако, это было очень трудное время. На фронте стал ощущаться недостаток снабжения. Между тем большой отряд наш ежедневно требовал и продовольствия людям и фуража лошадям. Интендантство людей кое-как еще снабжало, заменяя порой крупу чечевицей, что в те времена, когда население еще не испытывало действительной нехватки продовольствия, вызывало ропот.

Но совсем катастрофично обстояло дело с фуражом. От интендантства решительно ничего нельзя было получить. Кавалерийские части по всей округе реквизировали имевшийся там фураж, снимали соломенные крыши с построек, кормили лошадей молодыми ветвями деревьев. Лошади от такого корма болели и погибали. Попытка моего товарища, уполномоченного Н. В. Хитрово, использовать в критическую минуту благорасположение своего дяди, командовавшего стоявшей по соседству казачьей дивизией, ни к чему не привела. Генерал молча показал нам рапортичку о числе лошадей, павших в дивизии от бескормицы.

Прифронтовое население было не более отзывчиво. Полгода назад можно было еще склонить продать что-нибудь «Союзу городов». Но теперь и обстоятельства и настроения переменились. Люди стали жестче. Навидавшись всего, прифронтовое население опасалось, как бы ему самому не остаться без ничего. Если где и были запасы, то они тщательно припрятывались «про черный день». Положение было критическое. Надо было либо найти фураж, либо уводить отряд дальше в тыл.

Почти ежедневно мы, наметив по карте предстоявший путь и захватив с собой кое-какой еды на весь день, уезжали рыскать по округе. В гололедицу, при нестерпимом ветре, эти в большинстве случаев незадачливые поездки бывали весьма изнурительными. На более близкие расстояния я ездил верхом, обыкновенно один, так как, вопреки настояниям студентов отряда, желавших, чтобы их уполномоченный пользовался всеми ему предоставленными прерогативами, я никак не мог принудить себя брать с собой вестового. Иногда удавалось скупить у беженцев, собиравшихся уходить дальше в тыл, продовольствие и фуражные остатки...

ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА

...Февральская революция застала меня в Москве. Я был занят в отделе фронта «Союза городов» (в Камергерском переулке), когда мне подали телефонограмму секретариата главного комитета Союза, извещавшую, что в Петербурге восстали против императорского правительства два полка, явившихся в Таврический дворец и ведущих переговоры с Государственной думой. Вскоре затем кто-то сообщил, что гарнизон в Москве тоже заволновался. По окончании занятий в Союзе я телефонировал в нашу контору, чтобы меня там не ждали, и направился в Городскую думу. На Воскресенской площади перед Городской думой стояла в полном порядке какая-то воинская часть.

Знакомый, встретившийся нам на площади, сказал, что солдаты не пропускают никого

в Думу, где уже находится часть гласных. После настоятельных переговоров нас все-таки впустили через боковой вход. В Думе мы нашли городского голову М. В. Челнокова и нескольких гласных. Положение было неопределенное. Вести из Петербурга скудные и отрывочные. Настроение в Москве в высшей степени напряженное, насколько можно судить по телефонным разговорам и сообщениям прибывающих в Думу лиц. При таких-то потемках в Думу явился офицер, желавший переговорить с городским головой. За круглым столом кабинета городского головы он сказал, что его команда в Хамовнических, помнится, казармах находится перед принятием ответственного решения. Неизвестные ему агитаторы склоняют солдат к возмущению. Но солдаты не располагают никакими данными, чтобы принять разумное решение. Предоставить их самим себе в такую ответственную минуту он не может. И вот он спрашивает, какую позицию займет городской голова и какую Городская дума.

М. В. Челноков предложил офицеру вместе направиться в казармы. Немедля они туда отправились... Томительно долго тянулось время до возвращения М. В. Челнокова в Думу. Раздавались голоса, что городской голова не должен был ехать в казармы сам, а следовало отправиться кому-нибудь из гласных: «Представьте, его там задержат, Москва останется без общепризнанного законного главы в такое время!»

...События, происшедшие тогда в Петербурге, на фронте и во всей стране, поведшие к отречению императора за себя и за сына и к образованию Временного правительства, неоднократно описывались их участниками...

ПОЖАР

В октябре во время уличных боев сгорел громадный шестиэтажный дом на Тверском бульваре, № 6, в котором, кроме нашей квартиры, помещалась контора издательства. Пожар произошел от попадавших на чердак артиллерийских снарядов и не мог быть приостановлен вследствие непрекращавшегося обстрела. Сгорели поэтому все квартиры во всех этажах дома, причем жильцам почти ничего не пришлось спасти из своего имущества. Мы вышли из пожарища в чем были, вынеся с собой лишь то немногое, что могло быть захвачено на руках, между прочим издательские рукописи, едва ли не самое ценное, что удалось спасти.

О начале уличных боев мы были извещены утром в субботу тем, что в окно Сережиной комнаты, пробив два стекла, влетела ружейная пуля. Сережа, сидевший на постели, тотчас же и подобрал ее у себя под кроватью. Одновременно горничная Дуняша пришла сказать, со слов швейцара, что на улице стреляют.

У нас в доме не бывало съестных запасов, и я поэтому поспешил выйти купить, что найдется. На Б. Никитской, действительно, раздавались выстрелы. Магазины и лавки закрывались. По тротуарам пробегали редкие прохожие, неожиданно застигнутые перестрелкой в пути или, так же как и я, выбежавшие, чтобы купить необходимое. Я подоспел к колбасной Лифанова как раз в обрез. Хозяин закрывал лавку. Не дав ему закрыть и сунув без счета изрядно денег в руку, я взял с

прилавка окорок и еще что-то и со словом «Спасибо!» поспешил домой. Этой провизией нам пришлось питаться гораздо дольше, чем я думал.

Однако военные действия в этот день не развивались. Ко мне среди дня беспрепятственно заходили друзья. К концу дня стрельба по бульвару и соседним улицам участилась. Произошло какое-то замешательство в угловой кондитерской Бартельса. В. О. Нилендер, забежавший «на минутку», уже не мог от нас выйти, и мы удержали его у себя ночевать.

На следующий день (воскресенье) утром к нам явились юнкера с обыском. Днем у нас на квартире было общее собрание жильцов. От всего окружающего мы были изолированы усиленным обстрелом, были перебиты все окна по фасаду. Приходилось держаться в задних комнатах. Телефон, однако, еще работал. В понедельник пришли большевики. Произвели тщательный обыск по всем квартирам. Искали юнкеров и оружие. Устроили наблюдательный пункт на чердаке.

При обходе нашей квартиры в темном коридоре произошел начаянный выстрел у молодого солдата, шедшего рядом с Софией Яковлевной. Жуткий момент: все ли целы? Кто стрелял?

Заподозрили Софию Яковлевну; выручил солдатик, который, осмотревшись, заявил, что выстрел был из его винтовки. Вообще, бедной Софии Яковлевне пришлось эти дни, как бывшей председательнице домового комитета, отвечать за всех. Вызывали ее на площадку лестницы, где столпились члены домового комитета и другие жильцы.

— Какой системы в комитете оружие? — спрашивает ее начальник группы, производившей обыск.

— Комитет не имел оружия,— отвечает София Яковлевна.

Вопрос повторяется второй и третий раз. Ответ остается тот же, и Софию Яковлевну отпускают.

Во вторник утром большевики покинули наш дом. Со стороны Страстного монастыря начался артиллерийский обстрел. В квартире под нами разорвался снаряд, причинив большие повреждения.

В 12 часов замечен был дым в верхнем этаже дома. Я пошел к управляющему дома справиться, в чем дело. Двери его квартиры были открыты настежь. Сам управляющий суетился в столовой, заворачивая столовое серебро в салфетку.

— Горим! Надо спасаться! — больше ничего я от него не услышал.

Пожар начался с чердака, по-видимому, от разорвавшегося там снаряда. Кто-то по сохранившемуся телефону вызвал пожарных. Они прибыли большим обозом, но были обстреляны и повернули обратно с тем, чтобы уже больше не показываться. Оставаться дольше в нашей квартире было опасно. Огонь хотя и медленно, но неуклонно переходил сверху вниз. Решили перебраться в наше издательство. Оно находилось в подвале того же дома, но в другой половине, отделенной брандмауэром.

София Яковлевна, Сережа, Дуняша позаботились увязать узлы и снести в издательство, сколько смогли, белья и одежды. Но многое, конечно, забрать были не в силах. Когда мы

пришли вечером за теплыми вещами и София Яковлевна хотела взять что-то из своего письменного стола в комнате, обращенной окнами к бульвару, в выступающее фонарем окно попал снаряд, снесший прочь весь этот выступ.

В эту минуту я, обернувшись назад, к своему ужасу увидел в открытую дверь промелькнувшую фигуру Нины.

— Ты тут зачем? Лестница может рухнуть или потолок провалиться, и мы тут заживо сгорим.

— Надо было Таниным канарейкам снести коноплю,— был ответ.

В издательстве мы, казалось, устроились удобно. Так как окна обстреливались, мы прежде всего завалили их пачками наших изданий. Получилось заграждение, которого ни ружейная пуля не пробьет, ни осколок снаряда не разворотит. Спать расположились на столах и под столами. Но не долго пришлось вздремнуть. В брандмауэре, отделявшем первую половину дома от второй, оказались деревянные двери. Через них огонь проник во вторую половину дома, и наше положение в помещении издательства стало угрожающим. Надо было перебираться в соседнее владение, куда уже ушли другие жильцы. Но оно было отделено от нашего высокой кирпичной стеной. По приставной лестнице предстояло влезть на эту стену и спуститься на противоположную сторону, частью по лестнице, частью по наваленным там дровам. И это ночью, при орудийных и ружейных выстрелах и зареве нашего пожара! С нами ведь была София Николаевна 74 лет! Но милая старушка и здесь, как всегда, оказалась на высоте положения.

Конечно, из того, что было вынесено из нашей квартиры, лишь немногое можно было тащить с собой дальше. Тем более что теперь возникала забота о спасении издательских рукописей, чему я придавал большое значение. Итак, переправив своих через брандмауэр и поместив их в подвале соседнего дома Константинова, я с В. О. Нилендером и с Сережей вернулся в издательство, чтобы спасти что можно. Отобрали авторские рукописи, договоры, переписку. Упаковали их в бумагу портативными свертками. Под утро переправились сами и перетащили издательские рукописи в подвал дома Константинова.

Спасению многих ценных документов воспрепятствовали, смешно сказать, принимавшиеся у нас на случай пожара меры! В конторе был несгораемый шкаф, куда клалось все мало-мальски ценное — документы, бухгалтерские книги и пр. А ключ от шкафа был у бухгалтера, жившего на Щипке! Оставалось надеяться, что сейф выполнит свое назначение и содержание его останется в сохранности. Увы! После пожара в нем найдены были лишь обуглившиеся остатки всего, что ему было вверено!

Так погибла и старопечатная украинская книга профессора Грушевского, которую он мне дал на рассмотрение в связи с переговорами о подготовке издания по украинской археологии и которую я из осторожности держал в сейфе!

Утром в среду меня пригласил домовладелец инженер Константинов и предупредил, что пребывание в его подвале сопряжено с большой опасностью. Хранящаяся там бочка с кероси-

ном и светильный газ в трубах могут взорваться ввиду непрекращающегося обстрела.

Приходилось искать другое убежище. Нас приютили в соседнем «Доме Песни» Олениной Д'Альгейм. Благодаря любезности секретарши этого учреждения мы продержались здесь до пятницы, когда военные действия были прекращены. Лишь только открылась возможность, мы поспешили со своими узлами и издательскими свертками на Б. Бронную, где у Софии Николаевны была своя квартира и где жили ее племянница и дочь — Л. Я. Квессель, оказавшие нам радушное гостеприимство.

Вместе с нами пересекали Тверской бульвар, уходя от пожарища, два очень хорошо одетых господина, неся маленький узелок и очень длинный сверток. «Мы ничего из вещей от пожара даже не старались спасти,— сказал мне младший,— кроме вот этой снятой нами с рамы и свернутой в трубку картины Рибейры. Она стоит не меньше 250 000 рублей золотом».

После пожара мы поселились на углу Девичьего поля и Плющихи. (Переехать на эту квартиру мы собирались еще раньше.) У нас совершенно не было никакой обстановки, все наше имущество, в том числе моя довольно значительная библиотека, сгорело. Мы устроились, пользуясь временно занятыми у знакомых и соседей кроватями, матрасами, шкафами, столами, стульями и даже посудой. Все это предстояло спешно приобретать вместе с бельем и одеждой. Распродажа домашних вещей оказалась для многих неожиданно неисчерпаемым источником восполнения жизненного бюджета на протяжении ряда лет. А нам приходилось необходимыми предметами домашнего обихода обзаводиться.

КАТЯ В СУТКОВЕ

В 1918 году сестра Катя находилась у себя в Суткове. Зная, как тяжело переносит старушка Лидия Алексеевна Шанявская летом пребывание в городе, и учитывая тогдашний распад жизни в Москве, Катя настойчиво приглашала к себе в Сутково на все лето Лидию Алексеевну с ее компаньонкой, чтицей покойного Альфонса Леоновича, Эмилией Робертовной Лауперт. Катя просила меня побудить Лидию Алексеевну не откладывать переезда в Сутково и, если нужно, помочь ей собраться и выехать. Все письма Кати, одним словом, проникнуты были оптимистическим спокойствием и уверенным настроением. Уговаривать к отъезду Лидию Алексеевну совсем не требовалось. Подвижная и весьма предприимчивая, невзирая на свою старость, немощность и слабость зрения, Лидия Алексеевна буквально рвалась вон из Москвы. Она не замедлила с отъездом в Сутково.

Между тем, как я узнал впоследствии, Катин оптимизм в Суткове разделялся далеко не всеми. И прежде всех умный и проницательный управляющий имением Георгий Игнатьевич Беляцкий, связанный с населением многочисленными и разнообразными нитями, еще с осени переехавший жить из Суткова в Лоев, отнюдь не торопился сам возвращаться в Сутково да и Катю предостерегал от устройства одной в уединенной сутковской усадьбе, советуя ей с гостями перебраться либо в Лоев, либо в Чернигов.

Но Катя считала своим долгом «быть на месте». В трудное и ответственное время она не хотела манкировать своими обязанностями хозяйки и, удалившись из имения, обречь себя на бездеятельность именно тогда, когда могли потребоваться распорядительность и решимость хозяйки. А когда Катя видела в чем-либо свой долг, она бывала настойчива и непреклонна.

Итак, принципиально решенный с наступлением осени переезд в Чернигов на зиму после окончания работ по сельскохозяйственным операциям постоянно откладывали то по одной, то по другой причине.

Так дело затянулось до ноября, когда уже все хозяйственные работы поприкончились и никакие дела не задерживали больше Катю в имении. Утром 17 ноября по ст. ст. по этому поводу у Кати был оживленный разговор с ее сотрудниками и советниками, и отъезд окончательно и твердо был назначен на завтра, т. е. на 18 ноября. День прошел в хлопотах и распоряжениях. После обеда, по заведенному порядку, дамы, т. е. Катя, Лидия Алексеевна, Сима (дочь Кати) и Эмилия Робертовна, расположились читать в верхней большой угловой комнате, окнами выходящей на Днепр, с замечательным видом на реку и заливные леса обоих берегов. Эмилия Робертовна приступила к чтению, когда на шляху послышался приближающийся со стороны Лоева колокольчик. Кто подолгу живал в уединении в деревне, тот знает, какое волнение вызывает обыкновенно такой колокольчик; в условиях того времени особенно. К нам или не к нам? Кто едет? Какие везет вести? Не телеграмма ли из Лоева?

У всех промелькнули эти вопросы. Чтение было прервано. Колокольчик все приближался, затем он как-то неопределенно замялся на шляху у поворота на усадьбу и постепенно, но явственно стал удаляться. Между тем колокольчик этот имел большое значение для сутковцев, к нему с таким волнением прислушивавшихся. То был гонец, посланный лоевскими друзьями с извещением, что уголовные преступники, содержавшиеся в Речице, освободившиеся из мест заключения после ухода германцев, большой ватагой двинулись из Речицы по шляху на Сутково и Холмечь, очевидно, с целью грабежа. Гонец спутал поворот в Сутково и проехал мимо. Дамы, конечно, не могли этого знать, и Катя, взяв книгу у Эмилии Робертовны, возобновила чтение. Трудно сказать, долго ли это продолжалось, когда Кате послышался какой-то шум внизу и голоса. Не прерывая чтения, чтобы не волновать своих слушательниц, Катя напрягала слух, стараясь разобрать происхождение звуков. Но они как бы замерли и не повторялись. Катя решила было, что звуки ей только почудились, когда вдруг совершенно явственно все услышали крики, брань и топот шумно поднимавшихся по соседней черной лестнице людей. В трепете перебежали дамы в соседний кабинет, заперев за собой дверь.

Ворвавшиеся в покинутую дамами угловую комнату люди стали шумно ломиться в запертую дверь кабинета. Дамы, перебежав через площадку парадной лестницы, заперлись в библиотечной, в которую громилы вскоре тоже стали ломиться. Оставалась последняя маленькая комната — Катина спальня. Дамы

пытались спрятаться в ней за шифоньеркой, но всем нельзя было за ней укрыться, да и ненадежным показалось им это убежище.

У самой двери в Катину спальню был ход на чердак по крутой приставной лестнице. Под шум разбиваемой громилами двери, ведущей из кабинета, дамы влезли на чердак и спрятались за стоявшим там большим водопроводным баком. Они слышали, как, проломив дверь, громилы пробежали в спальню и как они там переворачивали вверх дном все вещи...

Тем временем на дворе стало совсем темно. Бегая по неосвещенному большому дому с зажженными спичками и огарками, громилы путались в лабиринте незнакомых им комнат и переходов и не заметили лестницы на чердак, куда скрылись от их преследования дамы.

Усталость и опьянение винами, добытыми в буфете, умерили пыл нападавших. Постепенно они разбрелись по дому и заснули кто на полу, кто на диванах. А наши всю ночь простояли на ногах за чердачным баком; когда же стал приближаться рассвет, буфетчик Алексей, поднявшись на чердак, вывел их из дома мимо развалившихся пьяных громил и усадил в бричку, ожидавшую их на шляху. Было очень холодно. Но доставить одежду из осажденного дома было рискованно.

Опасаясь погони, дамы не решились задержаться в Лоеве. Да их никто и не задерживал. Перебрались через Днепр и прямо направились в Чернигов. Там они уже были вне опасности.

Когда после моего возвращения домой мы соединились в Москве и рассказали друг другу: Катя — последнюю ночь в Суткове, а я — наше

горение на Тверском бульваре, Катя, вздохнув, сказала: «Падение дома Эшер!» Ей по сходству и по контрасту вспомнились жуковские вечера со страшными рассказами А. Ф. Кони из Эдгара По и других писателей. Как надо было в то время чувствовать свое положение безмятежно устойчивым, чтобы находить удовольствие в страшных рассказах! Теперь наши внуки не терпят ни жалостливых, ни страшных рассказов. Когда я рассказывал Наташе Сабашниковой историю возвращения домой Одиссея, она плакала, стараясь скрыть от меня свои слезы, но просила больше не рассказывать ей таких историй. Эпизод же с циклопами у всех моих внуков был под определенным запретом: прослушавшие его раз не желали, чтобы им повторяли рассказ.

В Чернигове Катя и Лидия Алексеевна Шанявская пробыли затем более двух лет. Лишь осенью 1921 года удалось им перебраться в Москву. Катя, как и сестра Нина, переехавшая из Курска в Москву несколько раньше, остановилась у нас в доме на Девичьем поле.

Лидия Алексеевна [Шанявская], как и сестра Катя, в Чернигове задержалась надолго. Сообщения с Москвой были так затруднены, что наши дамы не решались пускаться в путь, несмотря на крайнюю нужду и на одиночество свое в совершенно чужом городе. Переводимые деньги не всегда доходили.

Мы с Николаем Васильевичем Сперанским убедили Лидию Алексеевну в своем черниговском одиночестве употребить невольный досуг на составление воспоминаний. После некоторых сомнений и колебаний Лидия Алексеевна решила попробовать и стала припоминать

свое прошлое. Получились необработанные записки, которые Лидия Алексеевна впоследствии передала мне. Несмотря на их краткость, отрывочность и литературную необработанность, они интересны не только как материал для биографии этой замечательной женщины.

В 1921 году Лидия Алексеевна перебралась в Москву, где поселилась в бывшем ее доме на углу Дурновского переулка по Новинскому бульвару. Здесь жил ее старший племянник П. П. Родственный. Лидия Алексеевна страдала болезнью глаз, прогрессирующей глухотой и прочими старческими немощами. Друзья (преимущественно П. А. Садырин) выхлопотали ей пенсию, и она материально была устроена удовлетворительно. В 19<...> году она простудилась и, недолго проболев, окончила свой жизненный путь. Похоронена была Лидия Алексеевна в общей могиле с Альфонсом Леоновичем в Алексеевском монастыре.

Но прежде, чем расстаться здесь с Лидией Алексеевной, мне хочется вернуться к тому отдаленному времени, когда ей впервые пришла мысль об основании университета. В записках своих Лидия Алексеевна рассказывает очень отрывочно, что юной еще девушкой, после одного жизненного разочарования, она, участвуя в разработке приисков с приехавшим из Петербурга молодым, образованным человеком В. И. Базилевским и его университетским товарищем, за крайние его взгляды прозванным Иоанном Безземельным, решила отдать свою долю в приисках на устройство женского университета, что ею и было, с согласия ее матушки, надлежащим образом оформлено.

И в зрелом возрасте Лидия Алексеевна

первоначальному этому своему почину придавала, по-видимому, большое значение, чем можно было бы думать по ее мимолетному упоминанию о нем в записках. В архиве Л. А. Шанявской я нашел письмо В. И. Базилевского по поводу устройства Лидией Алексеевной Женских медицинских курсов (или университета). Вот оно дословно: «Лидия Алексеевна внушила нам еще большую энергию для будущей деятельности. Я уже давно решил посвятить плоды своих трудов этой цели, и, если со временем у меня наберутся порядочные денежные средства, они будут положены мною на основание женского университета, этого единственного фундамента прочного развития русской женщины и, следовательно, русского общества». Это письмо бросает свет на настроения молодых людей, из столицы и с университетской скамьи пошедших в тайгу за золотом не ради одного только личного обогащения. Мало того, мечты мечтами, но они подкреплялись своего рода Ганнибаловой клятвой — работать и жертвовать на высшее женское образование.

Летом 1920 года скончался в Москве Николай Васильевич Давыдов. Это было во время самой глубокой разрухи. Долго болевший старик, привыкший быть вечно в обществе, на народе, последние месяцы провел в одиночестве в постели в своем флигельке дома Зворыкиных (быв. Чижова) в Левшинском переулке. На отпевание его в церкви Покрова в Левшине все же собралось по тому времени изрядное число друзей и знакомых, по преимуществу юристов и артистов, и несколько лиц из кругов Университета Шанявского.

День стоял нестерпимо жаркий. Многие

предпочитали стоять во дворе перед церковью, что создавало впечатление большого скопления публики. Однако за похоронной процессией пошли лишь немногие. А по миновании Пречистенки сопровождать гроб остались только пять человек — вдова, дочь, П. А. Садырин, бывший секретарь Л. Н. Толстого В. Ф. Булгаков да я. Это как-то больше вязалось с общим видом города — пустынные улицы с травкой, пробивавшейся кое-где между булыжниками мостовой, закрытые магазины без вывесок, полуразрушенные кое-где дома... Кругом глубокая тишина. Можно было подумать, что город покинут жителями, как бывало на фронте, или вымер. На всем протяжении нашего пути к Донскому монастырю только яркая зелень деревьев по обеим сторонам Донской улицы возвращала к жизни. Может быть, на фоне окружающего разорения, но мне на этот раз показалась особенно красивой эта широкая, обсаженная деревьями Донская улица с нарядной красной церковью в глубине перспективы, за которой затем как-то вдруг открывается вид и на величественный монастырь.

Отец Николая Васильевича похоронен около большого храма монастырского, у самого входа. Там же, рядом с отцовской могилой, отведено было место и для Николая Васильевича. Когда мы подошли, могильная яма не была еще дорыта. Бывший тут монах, уже не юных лет, с сединой в бороде, засучив рукава и взяв заступ, спрыгнул в яму, чтобы закончить работу. Гроб положили пока на кучу вынутой из ямы земли. Мы, провожавшие, стали тут же, в ожидании окончания работ. Вдруг Булгаков, став на другую кучу с противоположной сторо-

ны ямы, обратился к нам со словом. В первую минуту я почувствовал величайшую неловкость. Что, в самом деле, за речи в такой обстановке и всего-то пятерым слушателям, включая и монаха-могильщика.

Булгаков говорил, что Николай Васильевич вел дневник, в который продолжал делать записи и во время болезни, унесшей его в могилу. Накануне смерти он занес в дневник следующие соображения. Он отметил, что не имел и не имеет врагов, и приписывал это тому, что он себе взял за правило ликвидировать всякие возникающие недоразумения немедленно по их возникновении, проявляя величайшую уступчивость и справедливость к другим, строгость к себе.

В. Ф. Булгаков смолк, а из могильной ямы послышались звуки одобрения. Монах-могильщик, отставив заступ и воздевая руки вверх, воодушевился и в свою очередь пожелал высказаться. «Вот, видите, праведная жизнь сама в себе несет награду. Воистину сказано: Царство Божие внутри нас. И наказание тут же — совесть, раскаяние, угрызения... А говорят, награда в раю, а наказание в аду ожидают нас. Да кто же это видел и подумайте только: чтобы наказать всех грешников огнем, сколько бы огню потребовалось. Не то что рощи, всех рощ на такой огонь не хватило бы! Надо ведь тоже маленько соображать», — добавил он, берясь вновь за заступ и ускоренными движениями стараясь как бы наверстать упущенное время.

Николай Васильевич, при его чувстве юмора, как бы он потешался над этим экономическим доказательством отсутствия ада! Это

было время величайшей разрухи. В Москве люди и голодали, и мерзли зимой. Топлива не хватало. Центротоп при всей энергии работников своих не мог удовлетворить всех. Если проф. К. со своим Комитетом не мог Москву отопить, то где тут наготовиться на ад и на всех грешников, заключил монах.

* * *

Сестра Катя скончалась от рака в санатории в Монтре. Она очень страдала перед кончиной. При ней была одна Сима. Шура, вызванный телеграммой, уже не застал мать в живых. Сбылось предчувствие Кати, высказанное ею много лет назад, когда она летом хворала в Суткове воспалением легких. После нескольких очень тревожных суток, когда врач предупредила меня, что положение опасное и она не ручается за исход болезни, наступило значительное улучшение. Я сидел у постели больной, и она мне тогда сказала, что ожидала конца. Мама умерла в самый разгар лета, и Кате почему-то казалось, что и ей суждено умереть в солнечный, жаркий день.

О смерти Кати я узнал при следующих обстоятельствах. Ночью я как-то видел поразивший меня сон. Отец мой совсем в том виде, как он изображен Невревым, взял меня «ехать за Катей». В четырехместной открытой коляске поместились отец и рядом с ним, по левую его руку, брат Сережа на главных сидениях. Сережа в том состоянии, в каком он был после перенесенных операций. На противоположной лавочке, спиной к кучеру, против отца сел я и рядом со мной Катя. Она ехала с нами, хотя

мы и ехали за ней. Но во сне такие несообразности часто бывают.

Все были в светлых летних одеждах и того возраста, какого каждый достиг при жизни, так что между мной и отцом существенной разницы в годах не было. Я не испытывал ни радости встречи, ни печали по поводу цели нашей поездки. Все было неизмеримо значительней личных чувств и переживаний. Друг с другом мы не говорили, но без слов, как в музыке, понимали друг друга. Коляска наша быстро неслась из Речицы в Сутково по замечательному Екатерининскому шляху, обсаженному вековыми березами. Поворот к сутковскому дому. На большом кругу перед домом на траве среди клумб встречает нас Катя в легком сером платье... Я вдруг начинаю все понимать и просыпаюсь со страшнейшим сердцебиением, не в силах восстановить при пробуждении, что же такое я только что так ясно, отчетливо, восторженно понял...

Необычайный сон этот так меня поразил, что я утром рассказал его Софии Яковлевне.

Дней десять спустя, переходя Арбат, я увидел В. Ф. Джунковского на «острове», в ожидании трамвая. Я сошел с панели и перебежал улицу, направляясь к «острову». Владимир Федорович, стоявший ко мне спиной, обернулся, увидел меня и, оставив очередь, направился мне навстречу. Оказывается, он собирался ко мне, чтобы сообщить услышанную им в церкви весть о кончине Кати...

Телепатию такие случаи, конечно, не доказывают. Но если когда-нибудь явления телепатии будут научно установлены точными наблюдениями и даже опытами, то явления,

подобные только что мною описанным, будут иметь в телепатии наиболее удовлетворительное объяснение. Игра случайных совпадений все-таки не вполне удовлетворительное объяснение...

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Как я уже рассказал, мы начисто погорели: личная квартира, контора. Казалось, издательства больше не существует. Первые два дня письма и телеграммы, приходившие на наш адрес, возвращались почтой отправителям «за ненахождением адресата». Можно себе представить, как волновался в Петербурге старик Ф. Ф. Зелинский, доверивший нам свои рукописи, пока не получил моего письма, извещавшего, что рукопись цела и что издательство будет продолжаться. Но какие к тому были возможности? Личных средств у меня не оставалось. Ресурсы издательства состояли из той части склада готовых изданий, которая не сгорела (в Калашном переулке), и книг, печатавшихся в разных типографиях, преимущественно в типографии Кушнерева. Среди них было пятое издание «Большой флоры» Маевского тиражом в 10 000 экз. Благодаря большой ценности этого издания Маевскому теперь, при возрождении издательства заново, случилось сыграть ту же благородную роль, как четверть века назад при его зарождении. С этими данными, при помощи

РУКОВОДСТВА по ФИЗИКЕ,
издаваемые под общей редакцией РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ФИЗИКОВ
М. и С. САБАШНИКОВЫМИ.

ЛЕКЦИИ
по
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ

с 60 рисунками

Профессора Петроградского Политехнического Института

А. Ф. ИОФФЕ.

ПЕТРОГРАД.
Издание М. и С. САБАШНИКОВЫХ.
1919.

А. Ф. Иоффе.
Лекции по молекулярной физике.
(«Руководство по физике»).
1919

кредита в 50 000 руб., полученного Н. В. Сперанским в «Русских ведомостях», издательство к осени 1918 года встало на ноги, возобновив свою работу во всех направлениях.

23 октября 1918 года Президиум Моссовета муниципализировал все московские частные книгоиздательства и книготорговые предприятия. Впредь до особого распоряжения книгоиздательства были признаны находящимися в арендном пользовании их прежних владельцев, а сами владельцы — состоящими на службе Моссовета и ответственными за нормальное продолжение работы. Я был обязан подпиской продолжать свою издательскую деятельность.

Положение нашего издательства, едва уцелевшего после пожара 1917 года, становилось критическим. Мы с Н. В. Сперанским решили обратиться к наркому просвещения А. В. Луначарскому и, представив ему программу нашей работы, просить о ссуде. Наши сотрудники одобрили такое предложение. Мы поручили К[онстантину] В[асильевичу] Аркадакскому обратиться к А. В. Луначарскому, жившему в Петрограде.

Несмотря на свой преклонный возраст, Константин Васильевич очень быстро и успешно исполнил это поручение и телеграфировал нам: «Заявление подал. Прошу ссуду или аванс пятьсот тысяч. Комиссар обещал исполнить Москве, куда выезжает сегодня дней на десять. Увез заявление и заключение Горького. Повидайте его понедельник. Результаты телеграфируйте». Итак, составив за подписью моей, М. А. Мензбира, М. О. Гершензона, Н. В. Сперанского и Д. П. Сырейщикова заявление, программу деятельности и перечень из-

даний, находящихся в производстве, мы с М. О. Гершензоном направились на прием к наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому.

Наркомат тогда помещался на Крымской площади в здании бывшего Катковского лицея. Обширная приемная наркома была полна ожидавших его посетителей: профессоров, начальников учебных заведений. Из знакомых припоминаю профессора С. А. Чаплыгина и профессора Д. Н. Виноградова.

Мне вспомнилось тогда, как в 1917 году кто-то вернулся в Москву из Питера в мрачном настроении, найдя приемные Временного правительства слабо посещаемыми: стало быть, не верят в его прочность,— заключил он.

Вошел нарком в сопровождении нескольких лиц, с которыми оживленно разговаривал. Сделав общий поклон в нашу сторону, Луначарский сел к стоявшему посередине комнаты письменному столу, жестом приглашая нас, посетителей, подойти. Мы все, пришедшие на прием, столпились со своими бумагами около его стола. Он брал заявления, быстро их прочитывал, писал резолюции. Мы с Михаилом Осиповичем оказались как-то в числе первых. Я устно изложил наше ходатайство. Луначарский задал несколько вопросов, наложил резолюцию, пожал мне и Михаилу Осиповичу руки и пожелал «бодро работать в прежнем духе».

На обратном пути Гершензон вернулся к нашему разногласию, бывшему при редактировании заявления:

— Вы хорошо говорили, очень честно, но ничем не облегчили Луначарскому задачи удов-

летворить наше ходатайство. А это ему было не легко!

Михаилу Осиповичу хотелось, чтобы мы заявили о подготовке изданий «для широчайших масс». Но мы с Николаем Васильевичем находили, что это неуместно, так как противоречило бы всему прошлому издательства, между тем как претендовать на внимание мы могли только по заслугам издательства. Я теперь мог сослаться на слова наркома: «Продолжайте в прежнем духе».

Резолюция Луначарского была благоприятна. Как я впоследствии узнал от него лично, В. И. Ленин по докладу Луначарского о частных издательствах сказал ему: «Такому культурному издательству, как издательство Сабашниковых, мы должны оказать всяческое содействие».

Надо думать, это было известно и другим руководителям, например Воровскому.

Оформить ссуду договором надо было с П. И. Лебедевым-Полянским. По договору от 13 февраля 1919 года нам был открыт в казначействе целевой кредит на сумму один миллион рублей в форме текущего счета. Деньги брали по мере надобности, представляя расчетные ведомости, счета и иные документы. Погашение производилось сдачей продукции полными тиражами.

По истечении срока был заключен другой, аналогичный договор с Воровским от лица Госиздата, хотя все-таки отдел печати Моссовета, особенно в первое время, считая себя нашим хозяином, контролировал все наши шаги. Н. С. Ангарский, бывший заведующий Книгоиздательства писателей, как знающий и лю-

М. НЕЙМАЙР

КОРНИ ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА



ЛОМОНОСОВСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

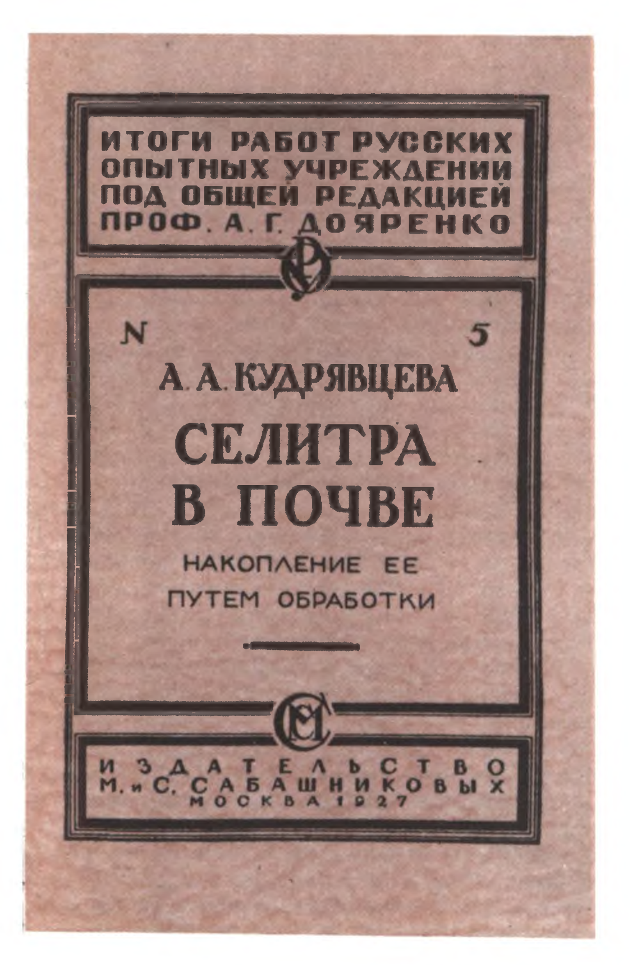


М. Неймайр.
Корни животного царства.
(«Ломоносовская библиотека»).
1919

бящий книгу человек, несомненно, сочувствовал нашей работе и желал ей успеха. Со стороны Моссовета не было сделано ни одной попытки повлиять на выбор издававшихся нами книг.

Впоследствии мне неоднократно приходилось встречать А. В. Луначарского. Между прочим — на ужинах у О. Н. Бутомо-Названовой, после ее концертов.

Вскоре после муниципализации М. Я. Лукин покинул издательство. Аппарат издательства состоял тогда из бухгалтера Г. С. Ружанского (бывшего бухгалтера 6-го сибирского отряда «Союза городов»), А. Л. Средина в должности заведующего складом и А. Г. Ярцевой — в должности счетовода. Все они вскоре покинули наше издательство. Ружанский — для торгсектора Госиздата, а Средин и Ярцева для возвращения к своим основным занятиям: первый — рентгенологией, вторая — химией. Бухгалтером я пригласил В. В. Егорова, а для заведования складом Н. Ф. Савостьянову. Они вместе с З. П. Измайловой в должности секретаря издательства продержались до самой его ликвидации в 1930 году. Чрезвычайно добросовестная, усердная, но робкая и нерешительная, Нина Федоровна Савостьянова в условиях тогдашней работы немало переволновалась и перестрадала на своей должности. Неоднократно порывалась она сложить с себя свою работу и оставалась только по моим настояниям. Надеюсь, что теперь, когда все пережито и отошло в прошлое, она не помянет нас лихом. Мне же бывало приятно вспоминать наши занятия вчетвером в издательстве. С закрытием магазина «Научная книга», где он работал, к нам присо-



А. А. Кудрявцева. Селитра в почве.
(«Итоги работ русских опытных учреждений»).
1927.

единился мой сын Сергей Михайлович. Артельщиком в издательстве работал К. Ф. Филиппов.

В 1920—1925 годах мы часть книг печатали в Петрограде. Там типографии были не так загружены, как в Москве. Наблюдение за работой в Петрограде принял на себя наш старый знакомый — Константин Васильевич Аркадакский. Он проявлял при этом большую предприимчивость и настойчивость.

3 мая 1921 года от болезни, мучавшей его давно, но врачами неразгаданной, умер Николай Васильевич Сперанский. Высказывалось впоследствии предположение, что здесь был случай рака двенадцатиперстной кишки, в некоторых случаях трудно распознаваемый. После кончины Николая Васильевича вдова его, Ольга Александровна, показала мне лист бумаги, на котором он в последние минуты записал несколько мыслей. Последние слова, им записанные, были: «Миша и Екатерина Васильевна*, в эти страшные минуты я думаю о вас...»

После смерти Н. В. Сперанского и В. Н. Львова центральное редакционное ядро сложилось так: Д. М. Петрушевский, М. Н. Сперанский, М. А. Мензбир, М. О. Гершензон, С. В. Бахрушин, М. А. Цявловский и я.

В большое затруднение поверг меня тогда, не желая того, М. О. Гершензон, представив для издания свое новое сочинение «Тройственный образ совершенства». Не меняя лица издательства, а заодно не изменяя самим себе, мы не могли принять этот чуждый нам трактат. Но как отказать старому, ценному сотруднику, испытанному товарищу? Притом здесь надо

* Е. В. Барановская, сестра М. В. Сабашникова.— *Ред.*



Т. И. ЮДИН

ЕВГЕНИКА

УЧЕНИЕ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРИРОДНЫХ
СВОИСТВ ЧЕЛОВЕКА

ВТОРОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ
И ДОПОЛНЕН. ИЗДАНИЕ



ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ

Т. И. Юдин. Евгеника.
(«Homo Sapiens»).
1928

было действовать откровенно, честно, как любил выражаться Михаил Осипович. Нельзя было при наших отличных отношениях уклониться под каким-либо вымышленным или даже действительным, но случайным предлогом. Пришлось объясняться по существу, рискуя обидеть в высшей степени самолюбивого автора. Сговорились на том, что издание будет считаться «авторским», выпущено будет силами и средствами издательства на общих основаниях, но без фирмы издательства.

На этот раз затруднение удалось обойти к взаимному удовольствию. Но к взаимному огорчению, однако, этот случай дал почувствовать, что дороги наши начинают расходиться. Разница в идеологиях не мешала работать вместе, пока мы задавались целями чисто просветительными и гуманитарными. Но Михаилу Осиповичу казалось тесно в этих «академических» рамках. Его тянуло к публицистике с долей мистицизма. Я же его стеснял своим «позитивизмом»,— откровенно сказал он мне. Мы слишком сблизились работой, чтобы допустить разрыв, но расхождение было неизбежно. Его неожиданное участие в сборнике «Смена вех» как бы предвещало это. Этим опасениям не суждено было, однако, осуществиться. Все примиряющая смерть взяла Михаила Осиповича в тот загробный мир, в существование которого он, по-видимому, верил.

С переходом к нэпу Совнарком установил правила, на основании которых могли действовать частные издательства. Для возникновения издательства требовалось разрешение Госиздата или соответствующего местного органа. Издательства могли иметь собственные типогра-

А. В. ЧАЯНОВ

СТАРАЯ ЗАПАДНАЯ ГРАВЮРА

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Н. И. РОМАНОВА



ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1926

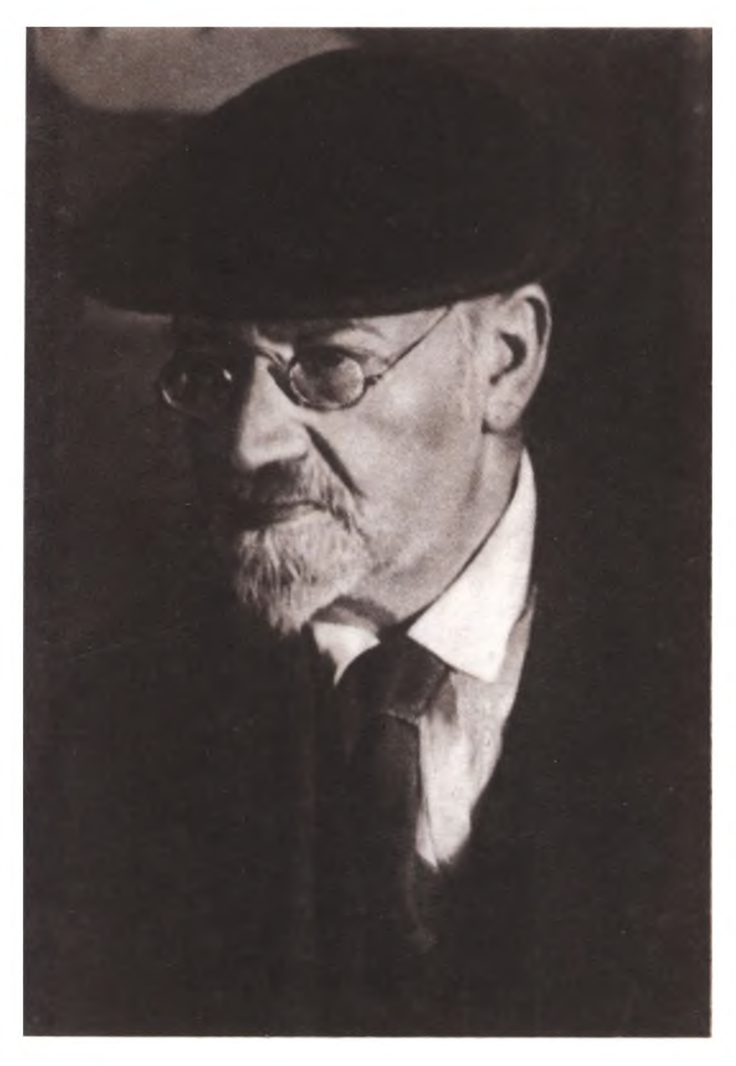
А. В. Чаянов.
Старая западная гравюра.
1926

фии, конторы, редакторские и прочие кабинеты, склады, магазины и т. д., а также арендовать таковые у правительства и частных владельцев с соблюдением установленных на этот предмет правил. Приобретение или аренда типографий осуществлялись с согласия Госиздата и ЦК печатников. Издательствам принадлежало право свободно сбывать по вольным ценам произведения печати, изданные на собственные их средства без субсидии со стороны государства. Госиздат и его органы на местах имели право преимущественной покупки всего издания или части его по ценам, установленным по соглашению, но не свыше оптовой цены.

Кооперативные издательства образовывались в форме кооперативных товариществ авторов или в смешанном составе писателей, ученых, художников с тружениками печатного и книжного дела. Выдача разрешений на возникновение издательств и на печатание рукописей возлагалась на Госиздат и его отделения на местах.

Стоявший тогда во главе Госиздата профессор О. Ю. Шмидт, пригласив бывших частных издателей — И. Д. Сытина, В. А. Гандера (бывшего директора издательства Думновых) и меня, организовал совместно с Госиздатом смешанное акционерное общество для оптовой торговли книгами. Оно очень скоро было учреждено и открыто под названием «Книжное товарищество 1922 года», причем в состав правления вошли все учредители и заведующий торгсектором Госиздата Н. Н. Накоряков. Общество это, однако, просуществовало очень недолго.

Большую активность проявило акционер-



И. С. Остроухов

ное Общество книжной торговли в Ленинграде под названием «Книготорг», основанное с той же целью группой частных и кооперативных издательств. Назову издательства: Брокгауз, «Время», «Мысль», «Книга», Научное книгоиздательство, «Сеятель», «Практическая медицина», «Колос» — в Ленинграде и «Мир», «Посредник», Сабашниковы — в Москве. Я вошел в состав Книготорга и стал периодически ездить в Ленинград на его заседания.

Но еще раньше этих акционерных обществ товарищи мои по Городской думе, бывшие гласные В. М. Лапин и Н. М. Щапов, ведший до революции торговлю техническими книгами, вместе со мной образовали при участии издательства «Природа» кооперативный книжный магазин под названием «Научная книга». Зная Н. М. Щапова за опытного, дельного книжника, от которого можно было научиться серьезному ведению книжной торговли, я рад был устроить туда сына моего, Сергея Михайловича, на работу.

При отсутствии собственных средств вопрос о получении кредита имел первостепенное значение. Теперь он разрешался очень просто. Государственный банк стал выдавать целевые ссуды, и без всяких особых ходатайств мы получили ссуду в один миллион рублей. Эти операции имели одну необычную особенность. Банк по ним взимал очень высокие проценты для компенсирования потерь на падении покупной силы рубля. Но проценты эти далеко не покрывали этой потери, и в действительности банк, должно быть, понес на операциях этих убыток. Впоследствии Госбанк иначе разрешил задачу расчетов при падающем рубле. Он ежед-



П. Романов.
Русь.
1923.
Обложка. Художник Л. А. Бруни

невно объявлял курс рубля, сделки совершались в золотых рублях, а платежи производились в бумажных по курсу дня. Так, мы на обложках книг печатали цену в золотых рублях и в них же выписывали счета покупателям, а платежи получали бумажными рублями.

После утверждения тематического плана, приобретения бумаги и разрешения рукописи к изданию нужно было сойтись с какой-то типографией (они все были национализированы, но работали на хозрасчете), чтобы набрать, отпечатать и сброшюровать книгу. Каждый из этих трех «цехов» бывал поочередно «узким» местом в работе типографии, в котором книга могла надолго, а то и окончательно застрять, что и случалось не раз.

Еще при царском режиме в связи с войной и неоднократными призывами в армию в типографиях стал ощущаться недостаток рабочих рук. Продовольственные экспедиции в деревню, вошедшие в 19-м году в обиход вследствие недостатка продовольствия, в свою очередь расстраивали кадры. Отвлекались типографские рабочие и на административные посты. Пропустить поэтому книгу в типографии было очень нелегко.

Применяясь к этим обстоятельствам, мы стали повторные издания печатать фотографическим путем, т. е. без набора шрифтом. Старая книга, не переплетенная и не обрезанная, расшивалась, ее листы раскладывались, и напечатанный на них текст с рисунками фотографировался. Снятое переводилось на камень или резину и так печаталось. Так выпущен был нами целый ряд книг: Паркер «Лекции по элементарной биологии», Петрушевский «Вели-



Книга Руфь.
1925.
Обложка. Художник В. А. Фаворский

кая хартия вольностей», Ферреро — последний выпуск «Величия и падения Рима», Корнилов «История России XIX века», Любавский — два «Курса истории», причем один был издан нами с уменьшением формата книги, а вместе с тем и величины букв, что вышло вполне удовлетворительно. Так были выпущены еще и другие книги.

«Не бывать бы счастью, да несчастье помогло»,— создавшееся в полиграфической промышленности положение позволило нам выпустить факсимиле «Слова о полку Игореве», и при этом в дешевом, тиражом 10 000 экз., издании, чего едва ли бы дождалась когда-нибудь эта претерпевшая столько бед книга. В данном случае фотографировались отдельные страницы и с них исполнялись цинковые клише. Так же был издан нами «Граф Нулин» Пушкина.

Как трудно было тогда издавать книги, красноречиво свидетельствует наше предисловие к IV русскому изданию учебника ботаники Страсбургера, которое приведу здесь целиком. Оно, кстати, отчетливо объясняет мотивы, побуждавшие нас все же и при создавшихся условиях продолжать работу. А было с чего прийти в отчаяние! Сказал же мне раз впечатлительный и нервный Гершензон: «Своим упорством продолжать работу вы только портите свое издательство».

Предисловие к IV русскому изданию учебника ботаники Страсбургера

Печатание учебника для высших учебных заведений, по обстоятельствам времени, затянулось на много лет. Начатое в 1917 году, оно закончилось лишь в 1923, в конце



Книга Руфь.
1925.
Иллюстрация. Художник В. А. Фаворский

года. Перевод был сделан первоначально с XII немецкого издания. За время, которое потребовалось для печатания этого перевода, немецкий оригинал успел выйти в четырех новых изданиях (XIII—XVI), несмотря на все тяжести военного времени для Германии. Это обстоятельство может служить доказательством, что учебник немецких профессоров действительно отвечает потребностям времени. К сожалению, многие изменения, внесенные в новые немецкие издания новыми сотрудниками по переработке текста, лишь отчасти могли быть использованы для нового русского издания, так как текст его давно уже был набран. Те же обстоятельства времени, дороговизна печати, бумаги, типографских красок, наконец, желание по возможности удешевить издание заставили переводчиков согласиться на изъятие цветных рисунков. Поскольку было возможно, они были заменены черными. Те же соображения заставили сократить указатель основной литературы и систематический список медицинских и ядовитых растений. Конечно, все эти обстоятельства отражаются на достоинствах учебника, но как перед издателями, так и перед переводчиками стоял вопрос: или отказаться от издания книги вообще, или же выпустить ее в том виде, как она издана. Принимая во внимание почти полное отсутствие учебников ботаники для высших учебных заведений, мы предпочли второе.

Москва, август 1923 г.

Развал нашей полиграфической промышленности побудил правительство при переходе к новой экономической политике разрешить частным издательствам печатать книги за границей и ввозить их в Россию. В мере этой, однако, скоро разочаровались, как и следовало ожидать.

У меня сохранилась переписка того времени с А. А. Чупровым по вопросу о печатании наших изданий за границей. Но дальше изучения положения и нащупывания почвы дело не пошло.

Мне эти письма дороги как память наших исключительно дружественных отношений и



Л. М. Леонов

доброй заботы А. А. Чупрова обо мне, мною даже не заслуженной.

Теперь странно, даже смешно, вспоминать, что в столь сложной обстановке возникали затруднения из-за новой орфографии. В некоторых типографиях поспешили изъять из кассет упраздненные буквы. Книги, начатые набором в старой орфографии, нельзя было продолжать тем же набором, и нам предлагали конец книги набирать по-новому. Это, естественно, раздражало авторов.

После пожара 1917 года издательство лишилось помещения для редакции. Найти новое не удавалось. В Москве наступил жилищный кризис, непрерывно обострявшийся. Мы занимались в старой заброшенной дворницкой при складе в Калашном переулке. Только осенью 1918 года освободилась в том же владении квартира, которую мы и заняли.

ЗНАКОМСТВО С ЛЕОНОВЫМ

Раз как-то, когда я вернулся домой после занятий в издательстве, сестра Нина в большом возбуждении стала мне рассказывать о новом, появившемся в Москве молодом талантливом писателе, с которым она только что познакомилась. Мне надо непременно прослушать его вещи в его чтении, познакомиться с ним и привлечь его в издательство, говорила она. Это громадный, неведомый еще талант, которому предстоит большое будущее. Маргарита Васильевна Сабашникова присоединилась к Нине

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

ТУАТАМУР



МОСКВА — MCMXXIV

Л. М. Леонов. Туатамур.
1924

в восторженных отзывах о новом молодом самобытном даровании. Я знал, что обе мои собеседницы, обладая вкусом и тонким чутьем к изящному, склонны, однако, увлекаться.

Заинтригованный всем, что пришлось услышать, я очень охотно дал слово, что приду в ближайший раз, когда Леонид Максимович будет читать. Ждать долго не пришлось. В один из ближайших дней мы всей семьей пошли на дневной концерт в консерватории. У подъезда мы встретились с Н. А. Григоровой. Она пригласила нас всех на вечер к себе послушать начинающего даровитого писателя, который обещал прочесть у них своей неизданный рассказ. Итак, мы всей гурьбой отправились в назначенный вечер к Григоровым на Садово-Кудринскую.

Б. П. и Н. А. Григоровы занимали в бывшем владении Найденова большую квартиру и жили еще просторно, что составляло тогда в Москве большую редкость. В обширной гостиной, в которой сохранилась в неприкосновенности вся обстановка, мы застали небольшое общество людей образованных, причастных к литературе и искусству. Так как подобные вечера потом повторялись несколько раз, то у меня в памяти они смешались и я затрудняюсь перечислить состав первого собрания. Назову лиц, вообще бывавших на этих вечерах, кроме самих хозяев: С. П. Григоров, граверы В. Д. Фалилеев и А. Кравченко с супругами, издатель Копельман, Рачинский (литератор), присоединился впоследствии Илья Семенович Остроухов, искренно и горячо полюбивший Леонида Максимовича. Это были или старики, или люди с уже известным весом в обществе и в



Л. М. Леонов. Деревянная королева.
1923.
Обложка. Художник А. И. Кравченко

своей области, с давно сложившимися вкусами. Из молодежи бывали София Павловна Григорова, мои дети Нина и Таня и, не всегда, Сережа с женой.

К молодежи, конечно, относился и сам виновник собрания — Леонов. Это был еще совсем юнец. Держался он очень мило. Не заставлял себя просить. Внимательно выслушивал замечания и соображения слушателей. Возражения свои излагал так, что сразу чувствовалась большая продуманность с его стороны и в общем построении рассказа и в отдельных выражениях, в нем употребленных. Читал Леонид Максимович хорошо, очень своеобразно, чрезвычайно быстро, иногда как бы выкрикивая отдельные слова. Молодой гибкий голос и приятное чисто русское, выразительное лицо содействовали в свою очередь общему впечатлению.

Как я сказал, вечера у Григоровых повторялись несколько раз, и Леонид Максимович перечел на них свои небольшие, теперь всем хорошо известные первые рассказы. Богатство вымысла, сочный, свежий русский язык, изобилие новых эпитетов, своеобразные обороты речи, меткие наблюдения душевных движений, чудные описания северной нашей природы, изумительная стилизация в восточном вкусе «Туатамура»,— все это меня совершенно очаровало.

На первом же вечере у Григоровых я пригласил Леонида Максимовича бывать у нас и просил его прочесть «Туатамур» в кругу моих друзей. Леонид Максимович охотно, как мне казалось, согласился. Он стал бывать у нас и неоднократно читал свои вещи. Среди пригла-



Л. М. Леонов. Деревянная королева. Иллюстрация

шенных к слушанию бывали Михаил Несторович Сперанский, Мстислав Александрович Цявловский, Сергей Владимирович Бахрушин, Георгий Иванович Чулков, Александр Григорьевич и Лидия Николаевна Хрущевы, М. В. Нестеров с супругой, А. Н. Северцов с супругой. Был как-то то раз Илья Семенович Остроухов и после своего возвращения из-за границы Михаил Осипович Гершензон.

Леонид Максимович Леонов бывал у нас и в качестве слушателя, когда, например, А. Ф. Иоффе делал сообщение о новейших воззрениях в физике, сказитель из Беломорья произносил былины, Шергин рассказывал свои архангельские сказки, М. А. Волошин читал новые исторические стихотворения.

Приглашая в первый раз М. Н. Сперанского, я сказал ему, что в «Туатамуре» проявлено такое мастерское воплощение стиля чужой народности, какого мы, пожалуй, не встречали со времен «Подражания Корану» и «Песен западных славян». На это М. Н. Сперанский заметил, что в моих устах это очень большая похвала, ибо я не склонен к преувеличениям.

На этом я кончаю рассказ о том, как познакомился и сдружился с Леонидом Максимовичем Леоновым. Дальше пришлось бы рассказывать о том, как мы с ним породнились.

С КЕМ И НАД ИЗДАНИЕМ КАКИХ КНИГ МЫ РАБОТАЛИ

Мы не изменили характер нашего издательства после Октябрьской революции и про-



Л. М. Леонов. Деревянная королева.
Иллюстрация

должали выпускать книги для серьезного чтения, рассчитанные на образованного читателя. Как я уже говорил, высказывалось мнение, что надо перейти к обслуживанию масс, но мы не могли согласиться с целесообразностью для нас такого опыта и решили держаться того, в чем наше издательство было сильно и уже успело себя зарекомендовать. Естественно поэтому, что мы продолжали выпускать испытанные наши серии: «Памятники мировой литературы», история, биология и др. и выпустили книги наших старых авторов: Д. М. Петрушевского, М. Н. Сперанского, М. К. Любавского, М. О. Гершензона, А. А. Корнилова, А. А. Захарова, М. А. Мензбира, А. А. Борисяка, В. Н. Львова и др. О «Флоре» Маевского я уже говорил.

С падением царской власти монополия синода на издание Библии сама собой рушилась. Возникал вопрос о включении в программу «Памятников мировой литературы» Библии в целом или хотя бы отдельных библейских книг. К обсуждению этого вопроса мы с Николаем Васильевичем [Сперанским] привлекли Никольских — отца и сына. После первого же обмена мнениями стало ясно, что надо ставить себе совершенно самостоятельную, не зависящую от других наших изданий задачу — критическое, научное издание Библии в русском переводе, со всем требующимся научным аппаратом, критикой текста, реальным комментарием, толкованиями и пр.

М. В. Никольский отнесся к нашему предложению с большим сочувствием. Он рекомендовал привлечь к работе Тураева, Коковцева и Карташева. Он находил, что если удастся их



Л. М. Леонов. Деревянная королева.
Иллюстрация

привлечь, то при его и его сына участии образуется достаточно сильное на первое время редакционное ядро, чтобы приступить к организации задуманной работы. Боялся он только, что указанные им лица слишком заняты и не смогут уделить достаточно сил нашей работе. Во время этих переговоров к нам стали «самотеком» поступать предложения переводов отдельных книг Библии. Мы передавали эти предложения на заключение М. В. Никольскому. Издание научного перевода Библии, однако, не состоялось — невозможно было предпринять такое громоздкое издание, требующее длительной подготовки и больших предварительных вложений. М. В. Никольский, впрочем, перевел для нас стихами книгу псалмов. Впоследствии, уже при нэпе, когда мы стали пробовать выпускать «Памятники мировой литературы» маленькими книжечками (Аристофан — «Лисистрата», «Всадники»), я хотел было выпустить так псалмы. Но М. В. Никольского уже не было в живых. А сын его не нашел такое издание своевременным. Впоследствии П. И. Лебедев-Полянский, осведомленный о былых наших предположениях, неоднократно заводил со мной разговор, поощряя осуществить издание научного перевода Библии.

После Февральской революции А. А. Чупров предложил предпринять издание серии «Классики социализма». Редакцию приняли на себя А. А. Чупров и В. П. Волгин. Для этой серии были исполнены некоторые переводы. После Октябрьской революции они были переданы В. П. Волгину для помещения в другие издательства.

Нацеливались мы тогда и на другие серии,



Т. А. Кузминская.
Моя жизнь дома и в Ясной Поляне.
1925

как-то: «Русские публицисты», «Русские путешественники-исследователи», «Изборники русских поэтов» и пр. Сохранилась записка М. А. Мензбира и А. Н. Максимова с соображениями об издании «Русских путешественников».

Осуществить удалось только изборник Бальмонта «Солнечная пряжа», несмотря на то что мысль о выпуске такой серии стихов, составленных самими поэтами (поскольку это касалось живущих современников), была среди них всеми сочувственно принята. Александр Блок даже прислал нам рукопись. М. О. Гершензон спроектировал Баратынского, которого нам хотелось дать если не первым в серии, то одним из первых.

Кстати отмечу, что выбор стихов Баратынского представил исключительные трудности, в особенности ввиду различных редакций его произведений.

Задумали мы также общедоступную серию книг для чтения широкой публики в двух «библиотеках» — научно-популярной «Ломоносовской библиотеке» (знание) и «Пушкинской библиотеке» (вымысел) изящной словесности. Последняя под общей редакцией М. О. Гершензона.

Из новых, предпринятых нами изданий наибольшую известность получила мемуарная литература.

Вскоре после Февральской революции мы стали получать от вернувшихся в Россию революционеров-эмигрантов предложения об издании их сочинений. Обращались они лично ко мне, и таким образом я познакомился с Кропоткиным, Чайковским, Морозовым и В. Фиг-



Б. Н. Чичерин.
Земство и Московская дума.
1934

нер. Переговоры эти не имели последствий. Чайковский вскоре уехал на север, и всякое общение с ним оборвалось. Сочинение Морозова о Иисусе Христе слишком далеко было от взглядов нашей редакции. «Я вас отлично понимаю,— сказал мне Морозов при прощании,— ведь у вас идейное издательство».

Прекрасные воспоминания Кропоткина меня очень привлекали, но сойтись с автором о переиздании не было возможности. Он хотел видеть все свои писания изданными в полном собрании. Но его геолого-географические работы не могли оправдаться рыночно, а некоторые политические статьи были для нас неприемлемы. Переговоры с этим замечательным человеком длились очень долго, после его смерти продолжались его вдовой, но ни к чему не привели. Мы не могли сделать с Кропоткиным, что когда-то сделали в отношении Н. С. Тихонравова, а потом А. Чупрова. Издание досталось И. Д. Сытину. Как и Кропоткин, В. Фигнер почему-то желала быть изданной непременно у нас, хотя к ее услугам были два близких ей по духу издательства — «Задруга» и «Голос минувшего».

Между тем пора была очень подходящей для издания мемуарной литературы, и мне очень хотелось за это приняться.

Сговорившись с М. О. Гершензоном, я написал Н. И. Гучкову, прося предоставить Михаилу Осиповичу обработать для издания у нас архив Боткина. Раз как-то в Государственной думе Н. И. Гучков с большой похвалой отозвался о «Грибоедовской Москве» Михаила Осиповича, и я надеялся поэтому, что Н. И. Гучков благосклонно отнесется к наше-

му обращению. Оно так и вышло. Н. И. Гучков не только изъявил согласие, но еще прислал выписку из письма Боткина к отцу с описанием первой поездки его по железной дороге. Работа тем не менее не состоялась, так как Н. И. Гучков уехал за границу.

Более удачи имел я при получении воспоминаний Д. Н. Шипова, Н. В. Поленовой и Б. Н. Чичерина.

А. И. Чупров имел обыкновение сохранять получаемые им письма, равно как черновики или копии своих писем. После его смерти в распоряжении его дочерей осталось несколько больших корзин, битком набитых письмами в конвертах, в каких они были получены, и даже с сохранением почтовых марок. Обилие семейных писем подало старшей дочери — Ольге Александровне Сперанской мысль составить по ним монтаж «Семейной хроники» — работа, к которой она и приступила, читая время от времени отрывки друзьям семьи, навещавшим ее и регулярно собиравшимся у нее в годовщину смерти Александра Ивановича, а затем и Александра Александровича. Главный же интерес архива представляли письма деловые и по делам общественным. Они дают богатый материал по организации переселенческого движения, по которому работали ученики Александра Ивановича, им рекомендованные и затем им официально руководимые; по земской статистике, по изданию итогов земских статистических исследований, по полемике о хлебных ценах.

Насколько знаю, архив А. И. Чупрова сдан Литературному музею. Мы не могли использовать его для «Записей прошлого».

Немало труда и усердия положил на

составление своих воспоминаний В. Ф. Джунковский. Может быть, обширные записки эти послужат будущему исследователю надежным основанием для восстановления картины придворной жизни начала века, не говоря уже о том, что некоторые описанные в них эпизоды весьма ценны для характеристики последнего императора. По мере написания своих записок В. Ф. Джунковский прочитывал их нам. Я часто удивлялся его удивительной памяти и добросовестной точности, с которыми он старался описывать иногда и незначительные подробности. Когда общим ходом событий мы лишены были возможности издавать подобные произведения, В. Ф. Джунковский реализовал свой труд у Бонч-Бруевича в Литературном музее, что дало ему средства к жизни на несколько лет.

Для помещения в воспоминаниях Поленовой («Абрамцево») некоторых рисунков надо было получить разрешение их владельца И. С. Остроухова, которого я хотел просить написать воспоминания и о братьях Третьяковых. Мы хоть и знали друг друга (больше понаслышке), но лично знакомы не были.

Было одно обстоятельство, которое делало для меня обращение к И. С. Остроухову несколько щекотливым. Лица, ближе меня стоявшие к этому инциденту, конечно, опишут его в своих мемуарах, я же здесь напомню только, что, когда И. Э. Грабарь принял заведование Третьяковской галереей, он стал перевешивать в ней картины, до того продолжавшие висеть так, как их когда-то повесил сам учредитель галереи, по мере их приобретения. Против такого нарушения установленного самим осно-

вателем порядка восстал бывший до того хранителем галереи И. С. Остроухов. Разгорелся спор «прогрессистов» и «консерваторов» — тогда ведь все ориентировались по общественным течениям. Горячо спорили по этому случаю в Городской думе, в интеллигентных кругах города, в прессе. Намерению Грабаря ввести в галерее рациональные порядки, принятые в больших музеях Западной Европы, я, конечно, сочувствовал. Таким образом мы с И. С. Остроуховым оказались тогда в двух «враждующих» партиях. Как это часто бывает, борьба приняла тогда по вине некоторых ее участников личный запальчивый характер. Можно было ожидать, что она оставила у И. С. Остроухова неприятный осадок.

Тем не менее Илья Семенович встретил меня более чем радушно, согласился на все воспроизведения, мною испрашиваемые, и еще много рассказал про Абрамцево, С. И. Мамонтова и художников, группировавшихся около него. Илья Семенович, видимо, тосковал. Страдая ногами, он звал меня навещать его, и я находил в таких посещениях удовольствие, заходя к нему ненадолго по пути домой после окончания занятий в издательстве или же вечером, уже на более продолжительное время.

Хранитель созданного им музея осуществлял свои функции, самолично оберегая его по ночам от грабителей. Ночи напролет просиживал он в своем кресле, имея по правую руку свою молчаливую супругу, чутко прислушиваясь ко всякому шуму.

Понятно, что супруги бывали рады скоротать время с гостем, и к ним можно было являться в любой час вечера.

Желая побудить Илью Семеновича писать мемуары, я обыкновенно старался начать наводящие о прошлом разговоры. Самого Илью Семеновича одно время глубоко занимала найденная в сельской церкви Смоленской губернии забытая икона, по которой можно было судить, как он полагал, о влиянии западного искусства на нашу иконопись, в частности на Рублева. Он собирался даже писать на эту тему. Но мне казалось сомнительным, чтобы он выступил по этому вопросу в печати: «предварительное сообщение» он не хотел делать, а для «исследования» недоставало материала.

Познакомившись с Л. М. Леоновым, Илья Семенович сразу оценил его недюжинное дарование. Леонов посвятил ему свою повесть «Петушихинский пролом».

Склонить Илью Семеновича на составление воспоминаний мне так и не удалось.

Новый отдел требовал организации редакции. Мы пригласили С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. При моем участии образовалась редакционная тройка. Решили выпускать мемуары, дневники и письма одной стандартной серией под общим названием «Записи прошлого». Задача издания была—как значилось в нашем объявлении—дать в легкой и занимательной форме изображение развития русской культуры и картину жизни и быта разных слоев русского народа в показаниях свидетелей и деятелей нашего прошлого.

Тщательный выбор материалов для опубликования, всегда свежих и интересных, сопровождавшие их обстоятельные статьи и введения, обильные примечания к текстам, наконец, популярность обоих редакторов, их эрудиция и



М. А. Цявловский

изящество, с которым они подносили читателю публикуемый материал, обеспечили «Записям прошлого» хороший прием со стороны читающей публики и отличные отзывы со стороны прессы, как нашей, так и заграничной. Всего мы выпустили 27 томов «Записей прошлого» (считая выпущенные кооперативным издательством «Север»). Их успех побудил действовавшее тогда издательство «Academia» предпринять, со своей стороны, издание библиотеки мемуаров, как оно раньше переняло нашу программу «Памятников мировой литературы». К моменту, когда мы прекратили издание книг, у нас скопился порядочный портфель неопубликованных мемуаров, отчасти прибывших к нам самотеком, отчасти написанных по нашему побуждению. Пришлось вернуть их авторам.

* * *

Летом 1934 года мне случилось быть у Е. П. Пешковой на ее даче в Барвихе. Во время прогулки по саду М. К. Николаев сказал мне, что в мезонине дачи предыдущим летом гостил и скончался С. А. Скирмунт, наш общий знакомый, известный издатель и книготорговец (книжный магазин «Труд»). При этом М. К. Николаев рассказал мне легендарный эпизод из жизни С. А. Скирмунта, в достоверности которого он, однако, не сомневался, услышав его от самого Скирмунта.

С. А. Скирмунт происходил от небогатых дворян Таврической губернии. Осиротел в раннем детстве и воспитан был старушкой, дальней родственницей, очень тщательно, но скромно сначала дома, а потом в каком-то привилегированном учебном заведении. Старушка, по-

видимому, намечала для своего питомца военную карьеру; сам же молодой человек еще не определил своего выбора, когда произошла встреча, повлекшая изменения в его материальном положении.

В вагоне московской конки он, как благовоспитанный юноша, уступил место вошедшему в вагон пожилому господину. Разговорились. При выходе С. А. Скирмунт назвался. Незнакомец, в свою очередь назвавшись Ф. Н. Плевако, настоятельно попросил Сергея Аполлоновича посетить его в собственных же интересах. Вагон отошел, и Скирмунт не обратил внимание на приглашение. Однако кто-то из знакомых, которому он рассказал про встречу, настоятельно рекомендовал ему отозваться на приглашение.

В конце концов Скирмунт посетил Ф. Н. Плевако. Оказалось, что в Америке разыскивались наследники какого-то Скирмунта, скончавшегося там бездетного владельца значительного состояния. Плевако предложил, чтобы Скирмунт выдал ему доверенность на ведение дела о получении наследства и т. н. option, т. е. обязательство о вознаграждении в случае успеха дела. Надо было произвести изыскания о том, существуют ли какие-нибудь родственные отношения между умершим американцем и С. А. Скирмунтом. Доверенность и option Сергей Аполлонович выдал и перестал думать об этом случае.

Однако через несколько лет Ф. Н. Плевако в самом деле ввел Скирмунта в обладание весьма значительным состоянием.

* * *

...Лернер, известный пушкинист, заметил, что Морозов, редактор полного собрания сочинений Пушкина, пользуется его, Лернера, работами, не упоминая его и делая между тем по его работам ссылки на первоисточники. Чтобы изобличить Морозова, Лернер, как он сам рассказывал Цявловскому, в своих последующих работах стал умышленно ставить неверные ссылки на страницы цитируемых им источников. Морозов, следуя своему обычаю, в работе повторил умышленные погрешности Лернера, обнаружив, что сам он не обращался к источникам, а цитировал по Лернеру.

Цявловский — прямая противоположность товарищам своим по профессии — был чужд всякого искательства и завистливости. Он давно лелеял мысль об издании собрания мемуаров о Пушкине. План издания был тщательно обдуман. Библиографические справки занесены на карточки. Тексты подобраны. Издательство наше готовилось предпринять издание и даже выдало Мстиславу Александровичу аванс. Но дело затянулось. Тем временем Вересаев, посещавший М. А. Цявловского, как любитель Пушкина, одолжался карточками и библиотекой Мстислава Александровича. В результате вышла его книга «Пушкин в жизни», выдержавшая много изданий. Правда, Вересаев построил свою книгу по собственному плану, отличному от плана Цявловского.

Еще в начале 900-х годов я думал об издании сводок достижений сельскохозяйственных опытных полей. Когда поэтому нам было предложено приступить к изданию «Результа-

тов работ русских сельскохозяйственных опытных учреждений» отдельными выпусками по отдельным темам, я отнесся к этому предложению в высшей степени сочувственно, несмотря на очевидную бездоходность или даже вероятную убыточность такого предприятия. Издательство Наркомзема «Новая деревня» отклонило это издание именно по причине его нерентабельности. Такой чисто коммерческий подход к столь важному и нужному начинанию казался мне неправильным. В прежнее время мы неоднократно проводили общеполезные, но нерентабельные издания, и я из опыта знал, что свести по ним концы с концами при правильном определении тиража и правильной калькуляции — вещь не совсем безнадежная. Я решил рискнуть и на этот раз и предпринять издание «Итогов работ русских опытных сельскохозяйственных учреждений», как по моему предложению было названо это издание.

Принимая это решение, я отлично знал, что помимо материального риска я взваливаю на наше, лишенное материальных ресурсов издательство, на плечи его сотрудников весьма большую, ответственную и притом неблагодарную работу, так как сводки эти изобилуют таблицами, диаграммами и пр. На деле эта работа оказалась во многом и более трудной, и более ответственной. Зинаиде Павловне Измайловой пришлось отдать изданию очень и очень много сил. Без ее настойчивости едва ли сводки эти увидели бы свет. Первые выпуски «Итогов» вышли к открытию первой сельскохозяйственной выставки.

...15 мая 1926 года Русское общество друзей книги посвятило свое очередное заседа-

ние 35-летию нашего издательства. Заседание это вылилось в настоящее чествование.

Общество преподнесло издательству изящно изданную книжечку «Издательству М. и С. Сабашниковых» с речами А. Эфроса, Г. Поршнева и С. Шервинского и приложением моего портрета, гравированного П. Павлиновым. Ряд лиц и учреждений прислал нам свои приветствия и пожелания.

Надо вспомнить обстановку 1926 года, чтобы оценить значение такого чествования. Я, разумеется, ответил, что если нашему издательству удалось сделать что-либо существенное, то благодаря талантам, знанию и труду сотрудников, из которых я вижу здесь в первом ряду Д. М. Петрушевского и М. А. Цявловского. Собравшиеся их приветствовали.

Выпустили мы в те годы под общим руководством П. Б. Ганнушкина ряд медицинских книг — преимущественно принадлежащих перу его учеников. Н. П. Бруханский приложил немало труда при подборе и классификации материалов, иллюстрирующих в его «Судебной психопатологии» различные аномалии в психике, благодаря чему книга его дает богатый запас фактических наблюдений будущему исследователю эпохи. Но такой исследователь во многом будет обязан Зинаиде Павловне Измайловой, проработавшей книгу вместе с ее автором от абзаца к абзацу.

Петр Борисович Ганнушкин был человек большого ума и исключительной сердечности, что редко сочетается. Впрочем, среди моих друзей я знавал таких, гармонично сочетавших необыкновенный ум и необыкновенную отзыв-

чивость. Назову для примера Николая Васильевича Сперанского. Но ведь я, вообще, был необыкновенно счастлив в друзьях. Познакомился с Петром Борисовичем я, когда он захотел выпустить в нашем издательстве небольшую свою брошюру «Психиатрия». С тех пор мы поддерживали знакомство, видясь, впрочем, не часто. Мне приятно теперь отметить, что этот недюжинный человек проявлял в течение всего нашего знакомства определенное ко мне расположение, совершенно мною не заслуженное.

Пытались мы создать в нашем издательстве небольшой отдел современной русской беллетристики. Это не соответствовало традициям нашего издательства, но времена были исключительные. Прежние издательства, занимавшиеся беллетристикой, развалились. Возникавшие новые — партийные и государственные — ставили себе преимущественно политические задачи, а кооперативные и частные предпочитали заниматься переводными романами.

За помощью в постановке нового отдела я обратился к С. А. Полякову, бывшему издателю «Скорпиона», человеку в этом деле опытному и мне хорошо известному. Однако отдел этот не получил развития, и дело свелось к выпуску лишь нескольких книжек.

Занимала меня очень мысль об издании памятников русской старины. Об этом велись переговоры с А. И. Анисимовым, Н. М. Щекотовым, Н. Д. Бартрамом и с бывшим ярославским издателем Некрасовым, известным своими превосходно изданными монографиями об ярославских храмах. Он, видимо, мечтал о возобновлении своего издательства, но не ре-

шался на такой смелый шаг в одиночку. Речь могла возникнуть лишь о соединении наших энергий, а не капиталов, которых у нас не было. До постановки таких вопросов, впрочем, и не дошло.

В годы гражданской войны мы были отрезаны от Европы. Не получая из-за границы ни книг, ни журналов, широкие круги читающей публики не были осведомлены о движении научной мысли на Западе. И вот, как из рога изобилия, перед ней разом предстали: Эйнштейн с принципом относительности, Планк с квантовой теорией, Воронов с пересаживанием желез для омолаживания, Кречмер с психопатическими конституциями и пр. Заманчиво было предпринять серию научных обозрений. Но до революции это с успехом делало издательство «Образование» («Новые идеи в химии» и пр.), по слухам возобновлявшее свою деятельность. Всегда избегая дублирования, я решил не давать обозрений по всем дисциплинам, а, выбрав две науки — физику и биологию, дать по ним более обширные и углубленные монографии.

Для «Новой физики» нужен был редактор. Решили пригласить А. Ф. Иоффе.

В «Новой биологии» мне казалось желательным выдвинуть биологию человека и, в частности, применение биологических методов и воззрений к изучению человека и человеческого общества. Я хотел выступить в противовес укоренившимся клеветническим злоупотреблениям дарвинизмом и его борьбой за существование, оправдывающим будто бы насилие, право сильного, претензии сверхчеловека и пр., что уже слишком долго без отпора развивалось



М. В. Сабашников с внучкой Наташей.
1926

и пропагандировалось некоторыми немецкими писателями и политиками. Критика здесь, казалось мне, была бы ко времени.

* * *

По окончании издательства М. и С. Сабашниковых бывшие его сотрудники организовали кооперативное товарищество «Север». Академик Д. М. Петрушевский возглавил новое издательство, в котором приняли участие: С. В. Бахрушин, Н. П. Губский, А. А. Захаров, С. В. Сперанский, З. П. Измайлова, М. А. Чупрова, М. А. Цявловский, П. Б. Ганнушкин, С. М. Сабашников.

Издательство «Север» было продолжением издательства Сабашниковых и не только по составу сотрудников и характеру выпускаемых книг, но и с экономической и финансовой стороны, так как за последние годы его существования его владельцы, кроме положенного им жалованья, никакими другими выгодами не пользовались, и когда получалась прибыль, ее не брали. Дело приходилось начинать без всяких средств, с несколькими рукописями, правда, надежными. Последнее, конечно, было очень важно. Однако при резком изменении материального и социального положения читающей публики, происшедшем в те годы, делать предположение о возможной ходкости той или иной книги было, конечно, рискованно. Опыт издания трех технических справочников, прошедших успешно, все же показал, что этот род книг «Северу» не по средствам. Напротив, «Записи прошлого» под испытанной редакцией Бахрушина и Цявловского пошли в новом издательстве очень хорошо.

Из медицинских книг «Север» выпустил посмертное издание трудов П. Б. Ганнушкина «Клиника психопатий».

Не обошлось и тут без старого друга П. Ф. Маевского: «Север» выпустил 11-е издание его «Весенней флоры».

В 1934 году все маленькие кооперативные издательства, такие, как «Мир», «Посредник», «Север», были влиты: одни — в Государственное издательство, другие — в «Советский писатель».

...В реорганизованном товариществе, получившем название «Сотрудник», я занял должность ответственного редактора. Выпускали образовательные игры и наглядные пособия. Особо надо выделить превосходно задуманную С. С. Барановым серию чертежей, пособий для изготовления детьми самодельных игрушек и приборов под общим названием «Для умелых рук».

Во времена нэпа Сергей Сергеевич Баранов под этим же названием выпускал брошюры своего сочинения и частично под его редакцией составленные привлеченными им авторами-специалистами. В новом оформлении (чертежи вместо брошюр) эти пособия пошли с прежним успехом, вне всякого сомнения, удовлетворяя острые запросы подрастающей детворы в руководствах по всякой технической работе. Это безусловно доказывалось и прямым спросом ребят, и получавшимися от них письмами, содержавшими их пожелания. Серия «Для умелых рук» на самом деле была хороша и очень своевременна.

Во время хождений моих по делам «Сотрудника» в Наркомпрос произошел потешный инцидент.

У входа надо было предъявить паспорт. Старичок, проверявший пропуска, взглянул в мой паспорт, посмотрел на меня и с недоумением воскликнул:

— Вы на три года старше меня, а взбегаете на пятый этаж, как молодой человек. Никогда не пили?

— Ну, этого сказать нельзя. Пивал, но, конечно, в меру.

— Ну, стало быть, у вас жена очень хорошая!

— Вот что верно, то верно! — сказал я, пожелав старичку доброго здоровья...

ПРИМЕЧАНИЯ *

с. 37. *...доверенным Российско-Американской компании...*—торговое объединение, созданное для освоения и исследования российских владений в Северной Америке (Аляска, часть Сев. Калифорнии, Алеутские острова), открытых в XVIII веке русскими путешественниками. Российско-Американская компания существовала с 1799 по 1861 г.

...обосновался в Кяхте...—слобода на южной границе Восточной Сибири, возникшая в 1728 г. как центр русской торговли с Китаем. В 1934 г. Кяхта слилась с соседним городком—Троицкосавском (основан в 1727 г.) и ныне является районным центром Бурятской АССР.

с. 42. *...невысокого мнения о людях 20-го числа.*—Ироническое наименование чиновников, состоявших на государственной службе и получавших жалование 20-го числа каждого месяца.

с. 47. *...через Монголию в Маймачен...*—слобода, расположенная против Кяхты, носила название Маймачен, что в переводе с китайского означает торговое место.

с. 48. *...в верховьях Онона...*—река в МНР и СССР, правая составляющая р. Шилки.

...в доме Чижова, в Большом Левшинском переулке...—ныне д. 6 по ул. Щукина.

с. 51. *В деревне Аминьево...*—местность на юго-западе Москвы при впадении р. Навершки в р. Сетунь. С 1960 г. в черте Москвы.

с. 57. *...в иконе нерукотворного Спаса... в Сетуньском храме...*—Спас на Сетуни—памятник архитектуры XVII в. В церкви Спаса находилась икона Иисуса Христа, написанная Симоном (Пименом) Ушаковым в 1676 г. Уша-

* Примечания по географическим реалиям составлены С. Н. Кумкесом.

ков (1626—1686) был руководителем иконописной мастерской Оружейной палаты Московского Кремля, он расписывал Архангельский и Успенский соборы, Грановитую палату.

с. 59. *Шла лития...* заупокойная служба.

с. 61. *...известия о падении Плевны.*—Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. за Плевну (Плевен) шли упорные бои; 28 ноября (10 декабря) 1877 г. турецкие войска сдались.

с. 62. *«Мы все учились понемногу»...*—отрывок из первой главы романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

с. 66. *Передвижные выставки давали богатый к тому материал.*—Русские художники-реалисты в 1870 г. образовали «Товарищество передвижных художественных выставок».

с. 71. *...Иверскую икону Божьей матери.*—Между зданиями нынешнего Центрального музея В. И. Ленина и Исторического музея до 1930 г. существовали Воскресенские ворота Китай-города, построенные в 1680 г. В 90-х гг. XVIII в. у ворот была сооружена каменная часовня для копии иконы Иверской Божьей матери, оригинал которой находился в Иверском монастыре на Афоне (Греция).

с. 72. *...из Вдовьего дома...* В Петербурге и Москве в 1803 г. были организованы вдовьи дома—учреждения для призрения неимущих, увечных и престарелых вдов лиц, состоявших на государственной службе. Московский вдовий дом помещался на Садово-Кудринской улице в доме, построенном архитектором И. Д. Жилярди (в 1818—1823 гг. перестроен архитектором Д. И. Жилярди). Вдовий дом существовал до Октябрьской революции. Ныне в этом здании помещается Центральный институт усовершенствования врачей.

с. 74. *...его «сорок сороков» церквей.*—В старинном русском счете имелся подсчет четырьмя десятками—сбороками (первые сорок, вторые сорок и т. д.). Церкви в Москве длительное время сохраняли разделение по «сорокам», хотя в «сбороке» было меньше сорока церквей. В действительности в Москве было около 600 отдельных церквей.

с. 74. *Воскресший Лазарь...*—По евангельской легенде, Иисус Христос воскресил умершего Лазаря, брата Марфы и Марии, в доме которых в Вифании Христос любил отдыхать.

...эммаусские путники...—Эммаус (или Еммаус)—местечко недалеко от Иерусалима, куда, по евангельской

легенде, шли два путника и по дороге встретили таинственного странника, который оказался воскресшим Христом.

с. 78. *Во время турецкой войны 1878 года...*— русско-турецкая война 1877—1878 гг. способствовала освобождению народов Балканского полуострова от османского ига.

...«Красавицей ее не назовут»...—отрывок из стихотворения Е. А. Баратынского «Муза».

с. 80. *...иван-чаем.*—Кипрей, многолетнее травянистое растение, обычно растет на вырубках, медонос, листья содержат витамин С.

с. 81. *...мумией покрашенными крышами.*—Мумия— минеральная краска коричневато-красного цвета, состоящая в основном из безводной окиси железа.

...Воспитательного дома в Москве.—Приют для незаконнорожденных детей и детей бедняков, построенный на берегу р. Москвы между Китайским и Устьинским проездами в 1764—1770 гг. (архитектор К. И. Бланк при участии М. Ф. Казакова). Ныне (с 1938 г.) в помещении воспитательного дома—Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского.

с. 82. *...от разорения в Крымскую кампанию.*— Речь идет о Крымской войне 1853—1856 гг., окончившейся поражением царской России.

с. 83. *...сгоревший вскоре после 1 марта 1881 года...*— Толки о поджоге дворца в Ореанде с целью сокрытия компрометирующих великого князя Константина Николаевича документов не имели реальных оснований. 1 марта 1881 г. был убит народовольцами Александр II.

...княгиней Юрьевской...—Екатерина Михайловна Долгорукая (1846—1920) состояла в морганатическом браке с вдовым Александром II, что вызывало осуждение в придворных кругах. В декабре 1880 г. Е. М. Долгорукой был присвоен титул княгини Юрьевской.

с. 86. *...в Киевском Патерике...*—Патерик (от греч. Paterikon, от pater—отец)—сборник жизнеописаний «отцов церкви» (традиционное название деятелей христианской церкви, монахов какого-либо монастыря), в данном случае основателей Киево-Печерской лавры—Антония (983—1073), первого игумена монастыря, и Феодосия (?— 1074), древнерусского писателя и игумена монастыря с 1060-х гг.

с. 87. *...источающий из себя миро.*—Миро— благовонное масло.

с. 92. *В минувшую войну 1878 года...*—см. примеч. к с. 78.

с. 95. *...в «Русских ведомостях»...*—одна из крупнейших русских газет, выходила в Москве с 1863 по март 1918 г.; неоднократно меняла направление, с 1870-х гг.—орган либеральной интеллигенции. А. И. Чупров был одним из редакторов газеты.

с. 97. *...Николаевской железной дороги...*—одна из первых железных дорог в России. Линия Петербург—Москва построена в 1851 г. (ныне Октябрьская ж. д.).

с. 98. *...«В одну телегу впрячь неможно»...*—отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

с. 101. *...Нижегородской железной дороге...*—Московско-Нижегородская ж. д. соединяла Москву с Нижним Новгородом, путь открыт в 1863 г.

с. 106. *...журнала «Северный вестник».*—Ежемесячный литературный, научный и политический журнал (1885—1898); с 1891 г.—орган символистов.

с. 108. *...на Николаевский вокзал.*—Ныне Ленинградский вокзал в Москве. Построен в 1849 г. на Каланчевской площади (ныне Комсомольская пл.) по проекту архитектора А. Тона для Московско-Петербургской ж. д. (движение открыто в 1851 г.). В 1977 г. реконструирован с сохранением внешнего облика.

с. 112. *«Все куплю,—сказало злато, все возьму,—сказал булат».*—Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Золото и булат» (1826).

с. 113. *...статью Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии»...*—написана в середине 90-х гг. XVIII в., в период сближения с Гете. Шиллер пересматривает свои эстетические позиции, говорит о коренном отличии древней «наивной» поэзии, неотрывной от природы, объективной в своем существе, от современной ему «сентиментальной», в понимании Шиллера, субъективной, рефлектирующей поэзии.

с. 114. *...теперь занятого Институтом Маркса и Энгельса.*—Ныне д. 5 по ул. Маркса—Энгельса. Сейчас здесь помещается Музей Карла Маркса.

с. 115. *...уставом 1863 года.*—18 июня 1863 г. был утвержден новый устав российских университетов, предусматривавший некоторую, весьма малую самостоятельность их в решении отдельных внутриуниверситетских дел (создание советов из профессоров для университетского самоуправления, выборы ректора, деканов, профессоров с последу-

ющим утверждением их министром). В последующие годы и эти привилегии постепенно сводились на нет.

с. 116. *...О Щукинском собрании новой французской живописи...*— Представитель Московского купеческого рода Щукиных — Сергей Иванович Щукин (1854—1936) собрал уникальную коллекцию произведений французских художников конца XIX — нач. XX в. В 1918 г. собрание картин было национализировано и на его основе создан Музей новой западной живописи. В 1948 г. фонды музея были распределены между московским Музеем изобразительных искусств и ленинградским Эрмитажем.

...Морозовскую галерею на Пречистенке...— собранная И. А. Морозовым картинная галерея не уступала щукинской коллекции. В декабре 1918 г. собрание было национализировано и стало вторым Музеем новой западной живописи.

с. 119. *...страховым обществом...*— В России не существовало государственного страхования, а были частные акционерные общества. К 1917 г. их насчитывалось более 20 («Россия», «Саламандра», «Якорь», Первое Российское и др.). Общества имели собственные здания. В 1918 г. общества были ликвидированы и введено государственное страхование.

с. 121. *...(Татьянин день) 12 января...*— 12 января 1755 г. был основан Московский университет, этот день совпадал с праздником св. Татьяны.

...день освобождения крестьян, 19 февраля.— На основании «Положения 19 февраля 1861 года» в России было отменено крепостное право, и день этот официально именовался «Днем освобождения крестьян».

с. 122. *...в духе маркиза Позы.*— Маркиз Поза, герой трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос», «гражданин вселенной», общественный преобразователь.

с. 124. *...по Днепру до самых порогов...*— находились на Днепре, выше нынешнего Запорожья. Плотина Днепрогэса подняла уровень воды в реке на 37 м, образовалось искусственное озеро, и пороги оказались затопленными.

с. 125. *...в слободе Каменке...*— Речь идет, видимо, о селе, именуемом на старых картах Лоцмано-Каменка (к югу от Екатеринослава, ныне Днепропетровска). Из этого села из поколения в поколение выходили днепровские лоцманы — отсюда его название.

с. 126. *...острове Хортице...*— Ниже плотины Днепрогэса река разделяется на два русла, образуя остров Хортица.

с. 126. *...города Александровска...*—во времена путешествия М. В. Сабашникова—уездный город Екатеринославской губернии. Возник на месте бывшей крепости, входившей в систему южных укреплений Руси. В 1921 г. переименован в Запорожье.

с. 134. *...Абас-Туман...*—ныне Абастумани, старинный горно-климатический курорт на южном склоне Месхетского хребта. В 1898 г. М. В. Нестеров получил через Л. Н. Толстого приглашение расписать церковь в Абастумани. Художник работал там не один год, расписывая церковь фресками. В июне 1903 г. М. В. Нестерова в Абастумани посетил М. Горький. В настоящее время недалеко от города, на высоте 1700 м., действует всемирно известная астрофизическая обсерватория.

...через Зекарский перевал (2182 м над ур. моря)...—пересекает Месхетский хребет по дороге из Кутаиси в Абастумани.

с. 137. *...сцены майдана...*—базар, торговая площадь или место на ней, где собираются мошенники для азартных игр.

...склады караван-сарая.—Караван-сарай—постоялый двор для купцов на Востоке, имел обычно помещения для хранения купеческих товаров.

...Телавский и Сигнахский уезды...—Телави и Сигнахи—уездные центры недалеко от Тбилиси.

с. 139. *...соматической лечебницы...*—соматический—термин, употребляемый для обозначения разного рода явлений в организме, связанных с телом, в противоположность психике.

...в Лозанне.—Четвертый по величине (230 тыс. жит.) город в Швейцарии на северном берегу Женевского озера.

с. 142. *...Дворец и театр Одеон...*—Речь идет о Люксембургском дворце и находящемся неподалеку от него театре «Одеон»—одном из самых известных театральных помещений Парижа.

с. 145. *...получившая... две цветущих провинции...*—По Франкфуртскому мирному договору 1871 г., завершившему франко-прусскую войну 1870—1871 гг., Франция потеряла две провинции—Эльзас и Лотарингию.

с. 149. *...«Вестник Европы».*—Речь идет о литературно-политическом журнале буржуазно-либерального направления, который выходил в Петербурге с марта 1866 по март 1918 г. К участию в журнале привлекались многие крупные публицисты и писатели.

...слабо замаскированную сатиру на Иоанна Кронштадтского...—Повесть «Полунощники» появилась в 1891 г., в книгах 11 и 12 журнала «Вестник Европы». В ней выражено резко отрицательное отношение Н. С. Лескова к протоиерею Андреевского собора в Кронштадте черносотенному проповеднику Иоанну Кронштадтскому (в миру Иван Сергиев).

с. 158. *...Парижской выставки 1889 года...*—В 1889 г. в Париже состоялась Всемирная выставка, своего рода смотр достижений техники XIX в.

...встреченное научным и литературным миром с величайшим одобрением.—Речь идет об издании Ф. В. Сабашниковым в 1893 г. «Кодекса о полете птиц» Леонардо да Винчи, которое является образцом факсимильного копирования манускриптов конца XV—начала XVI в.

с. 166. *издательства Фишер в Иене...*—издательство Густава Фишера основано в 1878 г. Существует в настоящее время как народное предприятие ГДР. Издает научную литературу по биологии и медицине.

с. 172. *отлучение Толстого...*—Определение синода об отлучении Толстого от церкви состоялось 22 февраля 1901 г.

с. 178. *...прибегать к дигиталису.*—Сердечно-сосудистое лекарство растительного происхождения (из травы наперстянки).

...томиком «Свободы» Миля...—Точное название книги английского философа-позитивиста и экономиста Джона Стюарта Милля (1806—1873)—«О свободе». Книга выдержала три издания и была посвящена проблемам свободы человека в обществе и частной жизни. Политико-экономические взгляды Милля подвергались критике прогрессивных философов.

причетником...—Причетник — церковнослужитель, дьячок, либо пономарь, звонарь.

с. 186. *...в последнюю турецкую войну...*—см. примеч. к с. 78.

с. 191. *...Кустарного музея в Москве...*—В 1885 г. в Москве был открыт Кустарный музей, принимавший на себя за небольшие вознаграждения продажу изделий и прием заказов.

...Павловская артель...—Павловская кустарная артель, выпускавшая металлические изделия, находилась в селе Павлово Горбатовского уезда Нижегородской губернии (ныне город Павлово Горьковской области). Артель возникла в 1890 г. из мелких кустарных производств как

опыт фабричного производства на артельных началах. Быстро окрепла и освободилась от филантропической поддержки.

с. 193. *г. Хвалынске...*—город в Саратовской области, пристань на Волге.

с. 196. *Вольно-экономическое общество...*—первое в России экономическое общество, учрежденное в 1765 г.; издавало «Труды» (280 томов). Подвергалось преследованиям со стороны царского правительства.

с. 198. *Монпелье*—город на юге Франции (200 тыс. жит.), входит в дюжину крупнейших французских городов.

с. 205. *...окончил Петровскую академию...*—В 1865 г. в селе Петровско-Разумовском под Москвой (ныне в пределах города) была открыта Петровская земледельческая и лесная академия. В 1923 г. ей было присвоено имя К. А. Тимирязева.

с. 210. *...постройка больницы и школы.*—В 1915 г. в костинскую больницу была привезена из санитарного отряда раненая девочка-сирота, и С. Я. Сабашникова организовала в Костине приют для детей-беженцев.

Школа в Костине существует и поныне. В 70-е гг. преподаватели Р. В. Строганова, М. Ф. Фомина и школьники организовали краеведческий музей. Часть его экспозиции (фотографии, книги, воспоминания старых костинцев) посвящена Сабашниковым. В создании музея участвовали Александр Зосимович и Борис Зосимович Белоусы, сыновья костинского управляющего. А. З. Белоус живет в Свердловске, Б. З. Белоус—в Воронеже. Они специально приезжали в Костино, чтобы помочь устроить стенды и витрины музея в костинской школе.

с. 218. *...план выпуска в свет... произведений мировой литературы...*—Речь идет об известной серии «Памятники мировой литературы», выпускавшейся издательством М. и С. Сабашниковых в 1913—1925 гг.

с. 226. *«Маленький султан».*—Стихотворение «Маленький султан» является откликом на события 4 марта 1901 г. в Петербурге, когда у Казанского собора во время демонстрации было убито несколько студентов. В образе маленького султана дан Николай II. 14 марта 1901 г. на вечере в зале Петербургской городской думы К. Д. Бальмонт с эстрады прочитал «Маленького султана». После этого у поэта был обыск, за которым последовало запрещение жить в столицах, столичных губерниях и университетских городах в течение трех лет.

с. 232. *«Я не знаю мудрости»...*—стихотворение К. Д. Бальмонта, написано в 1902 г.

с. 234. *Это среднее учебное заведение было едва ли не третьим по значению в тогдашней России сельскохозяйственным учебным заведением после Петровской академии и Александровского института...*—К началу XX в. в России было пять высших сельскохозяйственных учебных заведений (не считая лесного института). Наиболее известными были Московский сельскохозяйственный институт (Петровская академия) и открытый в 1862 г. в Люблинской губернии политехнический и земледельческо-лесной институт, преобразованный в 1869 г. в институт сельского хозяйства и лесоводства (в просторечии Александровский институт). Среднее учебное заведение, о котором идет речь,— Московское сельскохозяйственное училище; первое в России, оно было открыто в 1822 г. Московским обществом сельского хозяйства.

с. 240. *В 1902 году образовался «Союз освобождения»...*— нелегальное политическое объединение буржуазно-либеральной интеллигенции в России в 1904—1905 гг., в программе которого были — конституционная монархия, всеобщее избирательное право, частичное наделение крестьян землей. «Союз освобождения» образовался не в 1902 г., а в январе 1904 г., когда состоялся его учредительный съезд (3—5 января 1904 г.).

...журнал «Освобождение»...— журнал буржуазных либералов, выходил в 1902—1905 гг. в Штутгарте — Париже. Редактор П. Б. Струве. Журнал подготовил создание «Союза освобождения».

с. 241. *...произведенной Д. Толстым реформы земского положения.*—В период реакции 80-х гг. был пересмотрен ряд буржуазных реформ 1860-х гг. в том числе по вопросам земства: был введен институт земских начальников и установлена бюрократическая опека над земским самоуправлением. Активное участие в пересмотре реформ принимал реакционный министр внутренних дел Д. А. Толстой.

с. 244. *Пельи*—курорт на Генуэзской ривьере, в 10 километрах от Генуи.

с. 248. *«А он — пронзенный в грудь,— безмолвно он лежит»...* — отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Умирающий гладиатор» (1836).

...оживленное Корсо.—Корсо — главная улица Рима, соединяющая две большие площади: Пьяцца дель Пополо и площадь Венеции.

с. 249. *...на Пинчо, или у памятника Гарибальди, или на Палатине...*—Речь идет о достопримечательных местах Рима: Пинчо (Monte Pinchio)—холм, склоны которого по приказу Наполеона были благоустроены архитектором Валадье; одно из излюбленных мест гуляния жителей города; Памятник Гарибальди сооружен в западной части города, на холме Джаниколо, одном из семи холмов, на которых вырос Рим. Палатин—другой из этих холмов; именно у его подножья, в пещере, были, по преданию, вскормлены волчицей братья-близнецы Рем и Ромул (легендарный основатель Рима).

с. 252. *...гибель напоровшегося на мину «Петропавловска»...*—эскадренный броненосец, флагман 1-й Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре; погиб 31 марта 1904 г. на минах.

с. 253. *...убийством... В. К. Плеве.*—15 июля 1904 г. Е. С. Созонов, эсер, убил министра внутренних дел В. К. Плеве и был приговорен к вечной каторге. Покончил с собой в Зерентуе, протестуя против телесных наказаний политкаторжан.

с. 254. *«Русское слово»...*—«Русское слово»—ежедневная либерально-буржуазная газета, выходила в 1895—1918 гг. в Москве; с 1897 г. издавалась И. Д. Сытиным.

с. 255. *...телеграмма о сдаче Порт-Артура.*—Русские войска под руководством генерала Р. И. Кондратенко в течение 1904 г. героически обороняли военно-морскую крепость Порт-Артур. После гибели Кондратенко крепость была сдана противнику генералом А. М. Стесселем 20 декабря 1904 г.

с. 256. *«Наша жизнь»*—ежедневная политическая газета, близкая к левому крылу партии кадетов. Выходила в Петербурге с перерывом с 6(19) ноября 1904 г. по 11(24) июля 1906 г. *«Сын отечества»*—в 1862—1901 гг. ежедневная газета либерального и либерально-народнического направления.

с. 273. *...не выступать в Государственном совете...*—Государственный совет—высший законосовещательный орган царской России, созданный в 1810 г. и просуществовавший до 1917 г. С 1906 г. половина членов избиралась духовенством, помещиками, буржуазией и профессурой, до этого все члены назначались царем. Совет рассматривал законопроекты до их утверждения царем.

с. 278. *...издать 17 октября манифест...*—Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании го-

сударственного порядка», подписанный Николаем II, явился вынужденной уступкой самодержавия восставшему народу.

...в Литературно-художественный кружок...— московский литературно-художественный кружок, возник в 1899 г. Распался после октября 1917 г. Кружок играл роль центра художественной интеллигенции (занимал помещение на Большой Дмитровке, 15).

с. 291. *Пестум* (Paestum, совр. Песто), древнегреч. Посейдония — античный город, основан в VI в. до н. э., в IX в. разрушен арабами. Находится на побережье Салернского залива, в 95 км к югу от Неаполя. От города сохранились остатки древних сооружений; самый знаменитый из них храм Посейдона.

с. 301. *...находилась в Староконюшенном переулке, вблизи Арбата...*— Дом, в котором расположена была мастерская Андреева, находится на ул. Мясковского, 27.

с. 304. *...в предместье Воля...*— сейчас Воля один из районов Варшавы, примыкает к главному вокзалу города.

...белой шатровой Троицкой церковью...— церковь Троицы в Троицком-Лыкове, памятник архитектуры, построена в 1698—1704 гг. Я. Бухвостовым (1-я Лыковская ул.).

с. 314. *Высшие женские курсы*— первые женские курсы были открыты еще в 1869 г. в Москве, в 1872 г. они были преобразованы при участии Л. А. Шанявской в Высшие медицинские женские курсы, закрытые в 1880-е гг., в период реакции. Вновь были открыты в Москве в 1900 г. Для них в 1907—1913 гг. был построен аудиторный корпус курсов (ныне здание МГПИ им. В. И. Ленина на М. Пироговской ул.), корпус физико-математического фак. (ныне Институт тонкой химической технологии) и анатомический корпус (ныне 2-й Медицинский ин-т). *Коммерческий институт* был основан в 1907 г. на базе одноименных курсов. Ныне Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.

Леденцовское научное общество— Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова при Московском университете.

Клинический городок на Девичьем поле.— Университетский клинический городок на Девичьем поле построен в 1880-х гг. Ныне 1-й Медицинский институт им. И. М. Сеченова и его клиника (Б. Пироговская, 2/6—4).

с. 318. *...участвовал в Выборгском совещании...*— Часть депутатов буржуазно-либерального толка после раз-

гона I Государственной думы собралась в июле 1906 г. в Выборге и выработала обращение к народу, в котором призывала население не платить налогов, не давать рекрутов до созыва новой Думы. Был организован процесс над депутатами, подписавшими воззвание. 167 человек были приговорены к трехмесячному заключению и лишены избирательных прав.

с. 322. *...в магазине Карбасникова на Моховой...*— Русский издатель и книгопродавец Н. П. Карбасников (1852—1921) первый свой книжный магазин открыл в 1878 г. в Петербурге. Московский магазин Карбасникова (с 1908 г.—«т-ва Н. П. Карбасникова») помещался на Моховой ул., 24.

с. 328. *...уже издавалась «Пантеоном»...*— «Пантеон»—издательство, основанное З. И. Гржебиным в 1907 г. в Петербурге. Носило просветительский характер. В нем принимали участие К. Бальмонт, А. Блок, В. Брюсов, В. Засулич, Н. А. Морозов, К. И. Чуковский и др.

с. 330. *...знал как кунктатора...*—кунктатор—медлительный, нерешительный человек, предпочитающий занимать выжидательную позицию.

с. 336. *«Когда же Асвагошу»...*—Речь идет о поэме «Жизнь Будды» легендарного индийского поэта Асвагоши.

с. 337. *...отправлялись... на итальянские озера...*— группа озер тектонико-ледникового происхождения на севере Италии, у южных отрогов Альп. Крупнейшие из них Гарда, Комо, Лаго-Маджоре (небольшая северная его часть лежит в пределах Швейцарии).

с. 339. Ring (Ринг) (кольцо)—центральная улица Вены, проложенная во второй половине XIX в. на месте крепостной стены, окружавшей город (нынешний центр города). С ней связаны многие достопримечательности города—ратуша, парламент, университет, театры, музеи и т. д.

Урания—концертный зал; в нем проводятся музыкальные вечера, концерты, лекции, выставки и т. п.

с. 340. *Боцен*—немецкое наименование города Больцано (Южный Тироль).

с. 341. *Виареджо*—город на берегу Генуэзского залива, в 144 км к югу от Генуи. Мягкий климат делает его популярным зимним курортом.

с. 342. *...знаменитые Боценские пирамиды.*— Находятся в так называемых доломитовых Альпах.

с. 343. Путешествие по Южному Тиролю совершалось тогда, когда он входил в состав Австро-Венгрии,

поэтому названия населенных пунктов даются в принятой тогда немецкой транскрипции. После поражения Австро-Венгрии в первой мировой войне по Сен-Жерменскому договору (1919 г.) Южный Тироль был передан Италии.

с. 344. *Падуя* (250 тыс. жит.) — ныне крупный промышленный и культурный центр области Венеция.

с. 345. *Пистоя* — город в области Тоскана, на ж.-д. линии Флоренция — Виареджо — Пиза. Собор, который автор принял за Флорентийский, — старинный собор Св. Зенона, основанный в XII в.

с. 346. *...по пиниевым рощам...* — пиния — сосна итальянская.

...палестинским этюдам Поленова... — пейзажные этюды, выполненные В. Д. Поленовым во время двух поездок на Восток (в Египет, Сирию, Палестину) в 1881—1882 и в 1899 гг.

Лукка — город в Тоскане (100 тыс. жит.) на ж.-д. линии Пистоя — Виареджо. В городе много памятников архитектуры, в том числе собор Св. Мартина, начатый строительством в XI—XII вв.

с. 347. *...дальневосточных авантюр Абазы и Безобразова...* — А. М. Безобразов, статс-секретарь, возглавлял реакционную группировку крупных помещиков России в 1898—1905 гг. (в нее входил и контр-адмирал, управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока А. М. Абаза), которая преследовала авантюрную цель создания акционерного общества для эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии.

с. 348. *...об убийстве в Сараеве...* — Речь идет об убийстве наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда и его жены 28 июня 1914 г., что послужило предлогом для развязывания первой мировой войны.

с. 354. *Калиш* — город в Польше, адм. центр Калишского воеводства. Во время поездки М. В. Сабашникова и его семьи отстоял недалеко от русско-германской границы.

с. 368. *...Привислянского края* (правильнее Привислинский) — общее название 10 губерний Царства Польского в Российской империи.

с. 370. *...храм в Троице-Голенищево...* — церковь Троицы в Троице-Голенищеве, построена в 1644—1645 гг. зодчими Л. Ушаковым и А. Константиновым на правом берегу р. Сетуни в селе Голенищеве, вотчине московских митрополитов и патриархов (Мосфильмовская ул.).

...церковь в Филях. — Построена в 1693—1694 гг. в бывшей вотчине бояр Нарышкиных. В настоящее время

филиал Музея древнерусского искусства (Б. Филевская ул., 5).

Поклонная гора...— возвышенность в междуречье Сетуни и Фильки на западе Москвы, в конце нынешнего Кутузовского проспекта. 2 сентября 1812 г. здесь Наполеон тщетно ждал «бояр» с ключами от Кремля. С 1936 г.— в черте г. Москвы.

...с Кутузовской избой...— в избе крестьянина Андрея Фролова в деревне Фили 1 сентября 1812 г. состоялся военный совет под руководством М. И. Кутузова, на котором было принято решение для сохранения армии оставить Москву без боя. Изба существовала как исторический памятник. В 1868 г. она сгорела, в 1887 г. восстановлена на частные пожертвования и превращена в музей. С 1962 г.— филиал музея «Панорама Бородинской битвы».

с. 371. *...в помещение Городской думы...*— Московская городская дума — распорядительный орган городского самоуправления — с 1892 г. помещалась в здании на Воскресенской площади (ныне площадь Революции). По решению ЦК ВКП(б) и СНК в 1935 г. в этом здании создан Центральный музей В. И. Ленина. Открыт 15 мая 1936 г.

с. 372. *...переводом Эдды...*— «Эдда» — скандинавский эпос (часть 1), был издан М. В. Сабашниковым в 1917 г. в «Памятниках мировой литературы» в пер. С. Свириденко.

с. 373. *«В меру быть мудрым для смертных уместно»...*— отрывок из «Песни о богах» в «Старшей Эдде» скандинавского эпоса «Эдда».

...Земский союз, Городской союз, Земгор, Военно-промышленный комитет.— Земский союз — буржуазно-помещичья организация, созданная в июле 1914 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии; Союз городов (в тексте Городской союз) организован городской буржуазией в 1914 г. для помощи правительству в снабжении армии вооружением и снаряжением; Земгор — объединенный комитет Земского союза и Союза городов; создан в июле 1915 г. для помощи правительству в организации снабжения русской армии — в ведении его находилась мобилизация мелкой и кустарной промышленности для нужд войны; в январе 1918 г. упразднен декретом СНК. Военно-промышленный комитет — организация российской буржуазии, создана в 1915 г. с целью мобилизации промышленности для военных нужд.

с. 374. *Вилкомир*— до 1917 г. наименование литовского города Укмерге; *Вильно и Ковно*— ныне города Вильнюс и Каунас.

с. 374. *...в Купеческой управе...*— Купеческая управа — городская организация, избираемая собранием выборных купцов. В Москве члены купеческой управы утверждались генерал-губернатором на четыре года. На управы была возложена регистрация торговых домов, предоставлялось право входить через городских голов и биржевые комитеты в министерство финансов с представлениями о нуждах торговли и пр.

с. 387. *...в подвале соседнего дома Константинова...*— ныне д. 8 по Тверскому бульвару.

с. 388. *...в соседнем «Доме Песни».*— «Дом Песни» был организован в Москве в 1908 г. русской камерной певицей М. А. Олениной д'Альгейм (1869—1970) с целью пропаганды творчества русских композиторов. С 1918 г. жила во Франции, в 1959 г. вернулась в СССР. Член Французской компартии с 1946 г.

с. 398. *в санатории в Монтре.* Местность, расположенная у северо-восточного берега Женевского озера (Швейцария), славится как климатический курорт.

с. 403. *...в здании бывшего Катковского лицея.*— Привилегированное закрытое мужское общее среднее и высшее учебное заведение. Основано в 1868 г. М. Н. Катковым. В нем обучались дети из богатых дворянских и буржуазных семей. Получал крупные государственные и частные субсидии. Закрыт в феврале 1917 г. Здание находится на Метростроевской ул., 53, построено в 1875 г. архитектором А. Е. Вебером.

с. 436. *«Задруга»*— кооперативное товарищество издательского и печатного дела, основано в Москве в декабре 1911 г. группой ученых, литературоведов и педагогов. Издательство выпускало книги по истории, педагогике, учебники, детскую и художественную литературу. В этом издательстве были выпущены воспоминания В. Фигнер и Н. Морозова. В 1922 г. деятельность товарищества была перенесена за границу.

...«Голос минувшего»— ежемесячный журнал истории и истории литературы. Издавался в Москве в 1913—1923 гг., публиковал мемуары, записки, письма деятелей культуры, критико-библиографические обзоры. Всего вышло 65 номеров.

с. 442. *...27 томов «Записей прошлого»...*— серия «Записи прошлого» издавалась в 1925—1934 гг., издано было 19 названий в 29 томах.

Издательство «Academia»— советское издательство, основанное в 1922 г. первоначально как частное,

затем преобразованное в издательство при Гос. институте истории искусств в Ленинграде. Издания отличались обстоятельным научно-справочным аппаратом, высоким уровнем полиграфического исполнения и художественного оформления. Выпускало серии «Сокровища мировой литературы», «Классики мировой литературы» и др., а также памятники русской литературы и других народов СССР. В 1938 г. слилось с Гослитиздатом.

с. 445. *Издательство Наркомзема «Новая деревня»..*—На основе издательства Наркомзема 1 января 1922 г. создано новое издательство, цель которого была публиковать литературу по всем отраслям сельского хозяйства; половина изданий предназначалась для массового читателя-крестьянина. Издательство получило название «Новая деревня». Оно выпускало газету «Сельскохозяйственная жизнь», серии брошюр—«Сельская библиотека», «Библиотека земледельца», «Крестьянская библиотека», труды агрономов и животноводов, плакаты. В издательстве сотрудничали видные советские ученые: Н. И. Вавилов, Н. М. Тулайков, К. К. Гедройц, М. Ф. Иванов и др. В 1929 г. оно вместе с сельскохозяйственным отделом Госиздата образовало Сельколхозгиз (с 1963 г.—«Колос»).

...открытию первой сельскохозяйственной выставки.—Первая Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарная выставка была открыта в Москве в 1923 г.

...Русское общество друзей книги...—Русское общество друзей книги (РОДК)—объединение книголюбов, сыгравшее значительную роль в становлении культуры книжного дела в нашей стране. Возникло в 1920 г. по инициативе В. Я. Адарюкова, А. А. Сидорова, А. М. Кожебаткина, Д. С. Айзенштадта. Вело интенсивную научно-исследовательскую работу. Прекратило существование в конце 1929—начале 1930 г.

с. 450. *...кооперативное товарищество «Север».*—Основано в Москве в октябре 1930 г. на базе издательства М. и С. Сабашниковых. Осенью 1934 г. влилось в издательство «Советский писатель».

КРАТКИЙ КОММЕНТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

АБРИКОСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1850—1936), совладелец кондитерской фабрики, один из опекунов (попечителей) сестер Сабашниковых — Антонины и Екатерины — после смерти их отца, В. Н. Сабашникова — 73, 76, 82

АБРИКОСОВА ГЛАФИРА АЛЕКСЕЕВНА, врач, близкая знакомая семьи Сабашниковых — 97, 98, 102, 107, 216, 217

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (1851—1916), проф. государственного права. Окончил Моск. ун-т, продолжал образование в Париже, Мюнхене, Гейдельберге и Страсбурге. С 1879 г. читал лекции в Моск. ун-те. Автор работ о Ж-Ж. Руссо и Маккиавели. Преподавал в Ун-те Шанявского — 271

АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1881—1951), сов. филолог-китаист, академик (1929) — 336

АНГАРСКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (наст. фамилия Клестов) (1873—1941), сов. гос. деятель, литератор. Член КПСС с 1902 г. Вместе с В. В. Вересаевым организовал в 1912 г. «Книгоиздательство писателей в Москве», просуществовавшее до 1923 г. С 1924 г. возглавлял кооперативное изд-во «Недра». В первые годы революции оказал содействие работе изд-ва М. и С. Сабашниковых — 404

* Наиболее полные сведения об общественных и издательских связях М. и С. Сабашниковых содержатся в статье А. Л. Паниной «Архив издательства М. и С. Сабашниковых» (см.: Записки отдела рукописей/ Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М.: Книга, 1972, вып. 33, с. 81—139) и в книге С. Белова «Книгоиздатели Сабашниковы» (М.: Моск. рабочий, 1974.— 176 с.).

ская библиотека» вышла книга Бальмонта «Солнечная пряжа. Изборник». 1890—1918; под его редакцией — «Египетские сказки. Записи древнего Египта» (1917). С 1921 г. в эмиграции — 212, 217, 218, 226, 227, 231—237, 336, 434

БАРАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, автор брошюр «Для умелых рук», выходивших в первой половине 20-х гг. Работал вместе с М. В. Сабашниковым в товариществе «Сотрудник», выпускавшем общеобразовательные игры и наглядные пособия — 451

БАРАНОВСКАЯ Е. В., см. Сабашникова Е. В.

БАРАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, юрист, мировой судья в Петербурге, муж Е. В. Сабашниковой — 78, 80, 85, 101, 109, 128, 130, 151—156

БАРАНОВСКИЙ ЕГОР ИВАНОВИЧ (1821—1914), брат А. И. Барановского. Оренбургский вице-губернатор (1853—1857), затем губернатор (1857—1861). Принимал участие в освобождении из-под ареста Ф. В. Сабашникова, учившегося в Петербургском ун-те и арестованного во время студенческих волнений. Был почетным опекуном детей В. Н. Сабашникова. Дело по «Опеке Сабашниковых» хранится в Оренбургском областном архиве (ф. 171, оп. 1, д. 28 и д. 32). Сообщено писателем Л. Н. Большаковым — 85, 155, 157, 307

БАРТРАМ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (1873—1931), художник, писал по вопросам декоративного искусства, художественных промыслов и ремесел. С 1904 по 1916 г. заведовал художественной частью кустарного дела в Моск. губернском земстве, создал «Музей образцов» при Кустарном музее. Организовал в 1918 г. Гос. музей детской игрушки. Сохранился договор М. В. Сабашникова с Бартрамом (октябрь 1918 г.) о выпуске серии книг «Азбука ремесла», в которых давались бы исторические очерки различных традиционных российских производств, технические указания по ремеслу, воспроизводились лучшие образцы. С рядом авторов уже были заключены договоры на темы: «Изразцы в древнерусском искусстве», «Эволюция русского народного орнамента», «Русское старинное шитво», «Азбука выпуклой резьбы» и др. Издание не было осуществлено — 447

БАХРУШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1882—1950), историк, чл.-кор. АН СССР (1939). Окончил Моск. ун-т (1904), ученик В. О. Ключевского. Под ред. С. В. Бахрушина и

М. А. Цявловского с 1925 г. выпускалась в изд-ве М. и С. Сабашниковых серия «Записи прошлого». В 1927 г. изданы «Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII веках» Бахрушина. Им написаны вступит. статьи и примеч. к воспоминаниям Л. М. Жемчужникова (1926—1927), А. Ф. Тютчевой (1928—1929) и Б. Н. Чичерина (1929—1934), изданным М. В. Сабашниковым — 408, 428, 440, 450

БЕДЖГОТ (БЕДЖОТ) ВАЛЬТЕР (1826—1877), английский экономист, публицист, политик; его книга «Государственный строй Англии» (Лондон, 1867 и 1878) выпущена изд-м М. и С. Сабашниковых в 1905 г. в переводе Е. Прейс, под ред. и с предисл. Н. М. Никольского — 259

БЕЛЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ (1859—1919), рев. народник. В 1905—1907 гг. один из организаторов «Крестьянского союза» — всероссийской массовой революционно-демократической организации. Впоследствии сотрудничал в «Русских ведомостях», перешел на правые позиции — 257, 258

БЕРЛИНЕРБЛАУ МАКСИМИЛИАН ИСИДОРОВИЧ, земский врач, муж сестры Н. В. Сперанского, близкий знакомый Сабашниковых — 137, 139, 264

БЕРНАР САРА (1844—1923), французская актриса, выступала в России в 1881, 1892, 1908—1909 гг. — 103

БИМБАЕВ РАДНАЖАП БУДДАЕВИЧ (1876—1921), знаток китайского, маньчжурского и монгольского языков, автор ряда словарей. Служил старшим переводчиком при Кяхтинском пограничном комиссариатстве. В войну 1914—1918 гг. был уполномоченным от бурятского населения в Сибирском медико-санитарном отряде — 374

БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1880—1921), рус. поэт. В изд-ве М. и С. Сабашниковых готовился «Изборник» А. Блока (1918), макет которого с автографами стихотворений поэта и библиографическим списком его произведений хранится в Гос. б-ке им. В. И. Ленина — 434

БОГДАНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ (1834—1896), рус. зоолог и антрополог, один из основателей антропологии в России — 119, 162

БОГОЛЕПОВ, речь идет, вероятно, о профессоре Моск. ун-та Николае Павловиче Боголепове (1846—1901), реакционере, ставшем с 1898 г. министром народного просвещения. Был смертельно ранен П. В. Карповичем — 160

и гос. деятель. Драматург, литературный критик, академик (1930). Член КПСС с 1895 г. В 1917—1929 гг. нарком просвещения. Оказывал большое содействие работе изд-ва М. и С. Сабашниковых, особенно в первые годы революции. После лишения избирательных прав Сабашниковых в 1929 г. Луначарский, поддерживая ходатайство о восстановлении их в правах, писал: «Считаю лишение прав М. В. и С. Я. Сабашниковых чистейшим недоразумением. Их издательство имело высококультурное значение, что признавалось, между прочим, и самим Владимиром Ильичем. При обсуждении вопроса о частных издательствах он сказал мне: ,,Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока мы не будем в силах их заменить полностью"». (Записки отдела рукописей, вып. 33, с. 108). Луначарский утвердил первую программу деятельности издательства в 1918 г.— 402—406

ЛЬВОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1859—1907), проф. Моск. ун-та, активный пропагандист идей Дарвина в России. В пер. Львова, с изменениями и дополнениями, Сабашниковы выпустили книгу английского ученого Т. Паркера «Лекции по элементарной биологии» (1898). Львов — автор пяти выпусков из серии «Первое знакомство с природой» (1902—1913), составленных им по книгам английского популяризатора естественных наук А. Беклея. Перевел книгу А. Бема и М. Давыдова «Учебник гистологии человека с включением микроскопической техники» (три издания — 1896, 1897, 1899). В изд-ве М. и С. Сабашниковых вышли его книги: «Курс эмбриологии позвоночных», «Начальный учебник зоологии» для средних учебных заведений (семь изданий) и др.— 115, 162, 165—168, 175, 176, 288, 408, 430

ЛЬВОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, жена проф. В. Н. Львова, дочь художника Н. А. Мартынова — 167, 337, 349—353

ЛЮБАВСКИЙ МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ (1860—1936), сов. историк, академик (1929), ректор Моск. ун-та в 1911—1917 гг. Был учителем истории братьев Сабашниковых. Автор книг, выпущенных в изд-ве М. и С. Сабашниковых,— «История западных славян (прибалтийских чехов и поляков)» (1918) и «Лекции по древней русской истории до конца XVI в.» (1918) — 113, 120, 418, 430

МАЕВСКИЙ ПЕТР ФЕЛИКСОВИЧ (1851—1892), ботаник. Окончил Моск. ун-т. Учитель естествознания братьев Сабашниковых. Автор первой книги, изданной Сабашниковыми,— «Злаки Средней России: Иллюстрированное руководство к определению русских злаков» (1891). Затем были выпуще-

ны определители, составленные Маевским: «Флора Средней России» (1892) и «Весенняя флора Средней России» (1893) — все три издания выпущены без указания фирмы изд-ва М. и С. Сабашниковых. Впоследствии второе из них вышло еще пятью изданиями (последнее в 1917 г.), а третье — одиннадцатью изданиями, из которых последнее, испр. и доп., увидело свет в 1934 г. в кооперативном изд-ве «Север». Кроме перечисленных, изд-во М. и С. Сабашниковых выпустило следующие книги Маевского: «Ключ к определению древесных растений по листве для Европейской России и Крыма» (1908), «Осенняя флора Средней России: Таблицы для определения растений, цветущих осенью» (семь изданий с 1897 по 1926 г.), «Флора Средней России: Иллюстрированное руководство к определению среднерусских семенных и сосудистых споровых растений» (пять изданий с 1895 по 1917 г.). Деятельность Маевского как ботаника высоко ценил К. А. Тимирязев. Труды Маевского не утратили значения и в настоящее время — 112, 113, 172, 174—179, 400, 430, 451

МАКОЛЕЙ ТОМАС (1800—1859), английский историк, публицист и политический деятель. Автор трудов по истории Англии — 179

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1872—1941), сов. этнограф, проф. Моск. ун-та (1919—1930), библиограф Румянцевского музея; основные труды по вопросам истории семьи, рода. Принимал участие в разработке издания, посвященного русским путешественникам-землепроходцам, частично осуществленного в работах С. В. Бахрушина, выпущенных издательством М. и С. Сабашниковых — 434

МАЛЕИН АЛЕКСАНДР ИУСТИНОВИЧ (1869—1938), сов. филолог, библиограф, книговед. Чл.-кор. Акад. наук (1916). Один из основателей Русского библиологического общества. В издательском портфеле Сабашниковых имелись работы А. И. Малеина — 326, 328, 334

МАМОНТОВ САВВА ИВАНОВИЧ (1841—1918), промышленник и меценат, происходил из купеческого сословия. Основал московскую частную русскую оперу (1885). Владелец подмосковного имения Абрамцево, был дружен со многими деятелями русской культуры. Разорился в 1899 г. — 439

МАНДЕЛЬШТАМ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (1866—1938), присяжный поверенный Московского судебного округа, известный юрист, адвокат. Автор книги «1905 год в политических процессах: Записки защитника» (1931) — 278

ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сабашников М. В.
С 12 Воспоминания/Вступ. ст. Е. И. Осетрова; Примеч. и краткий коммент. указ. имен В. Г. Уткова.— 2-е изд., доп.— М.: Книга, 1988.— 512 с., ил.
В пер.: 1 р. 80 к. 50 000 экз.

В своей книге известный русский книгоиздатель М. В. Сабашников (1871—1943) вспоминает о годах детства, об учебе в университете, об известных деятелях науки и культуры — К. А. Тимирязеве, А. Ф. Кони, Н. Н. Миклухо-Маклае и др., о начале издательской деятельности, об организации Университета Шанявского, работе издательства М. и С. Сабашниковых в годы Советской власти, знакомстве с писателем Л. М. Леоновым.

Для читателей, интересующихся историей издательского дела и историей русской культуры.

С $\frac{4700000000-033}{002(01)-88}$ 63-88

ББК 76.1
002

Михаил Васильевич Сабашников

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *Е. В. Иванова*
Художник *Е. М. Ульянова*
Художественный редактор *Н. Д. Карандашов*
Технический редактор *Н. И. Аврутис*
Корректор *Э. В. Ежова*
Ретушер *В. П. Игнатов*

ИБ № 1545

Сдано в набор 23.07.87. Подписано в печать 21.01.88. А-01917. Формат 70×90 1/32. Бум. офсетная № 1 — 100 г. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,72. Усл. кр.-отт. 37,73. Уч.-изд. л. 21,41. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4277. Изд. № 4646. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Книга». 125047, Москва, ул. Горького, 50
Фотонабор выполнен ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, ул. Валовая, 28

Отпечатано в московской типографии № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129243, Москва, ул. Мало-Московская, 21

работе для В.М.Л. надо было привлечь Петербургских филологов, в первую
ю такую мировую знаменитость как Ф.Ф. Зелинский, затем Малеина, Жебелева
ых. Для этого я ездил в Петербург. Наша предполагаемая встреча [illegible] с боль-
[illegible] сочувствием, но и с некоторым недоумением. Петербург был далеко [illegible], даже [illegible]
довала величайшую осторожность. Советовали выпускать небольшими, дешевыми книжка-
Ссылались на провал выпущенного издательством Просвещение томов Еврипида. Классики
[illegible] не пользовались у нас сочувствием публики, теперь особенно обострилась борьба с ним;
[illegible] станет покупать классических писателей! Мы опоздали на несколько лет — раз-
[illegible] Петербурга. Я возражал: „правда, мы идем как будто против течения. Но это
[illegible] так кажется. В России кроме специалистов филологов никто классиков в ориги-
нале не читал и не читает. Переводов нет в продаже. Классиков просто не знают. [illegible]
перестанут мучить гимназистов грамматическими упражнениями по древним языкам
[illegible] не будет к классикам предвзятого отвра-
щения. Все это приходилось говорить с большой осторожностью, чтобы не задеть
[illegible] самолюбия. Ведь филологи так или иначе связаны были с классической системой.
[illegible] общих совещаний не было. Я говорил с каждым отдельно.

В разговоре с Зелинским сразу наметились и переводчики, и редакторы и даже готовые к
изданию переводы: Эсхила — поручить Вячеславу Иванову, Софокла — Зелинскому, Еврипида. [illegible]
перевод приобрести у наследников Иннокентия Анненского, Фукидида — поручить Жебелеву,
Тацита — В.Я. Брюсову, Энеиду — [illegible], Светония — Малеину, Овидия Баллады-послания
приобрести готовый перевод у Зелинского.

Последние вещи уже издавались Сабашниковым но мы решили не останавливаться перед этим.
Одним словом обращение в П. дало отличные результаты.

Чтобы привлечь к работе для нашей «Памятников» Петербургских филологов я съездил в Петербург. У меня были записаны три адреса: Зелинского, Малеина, Жебелева. По совету М.О. Гершензона я в первую очередь обратился к Ф.Ф. Зелинскому. И хорошо сделал. Ф.Ф. Зелинский отнесся к нашему начинанию в высшей степени сочувственно. Мы с ним оживленно проговорили весь вечер. Как мне рассказал Ф.Ф. три друга-поэта филолога — он сам, Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский давно когда-то при дружеской беседе поделили три греческих трагиков — Эсхила (В. Иванов), Софокла (Ф.Ф.З.) и Еврипида (Иннокентий Анненский) [illegible] в этом направлении уже сделали. Нам теперь оставалось договориться с переводчиками и включить эти переводы в наше собрание «Памятников». Софокл устраивался таким образом очень просто — за него брался Ф.Ф. Кроме того Ф.Ф. просил оставить за ним Аристофана, которого и надеялся дать в сотрудничестве с одним своим учеником. Вячеслава Иванова я знал как [illegible], [illegible] человека и опасался предоставлять ему такую большую работу как перевод всего Эсхила: возьмет [illegible] и не сделает! говорил я. Я бы предпочел отвести ему что-нибудь менее громоздкое. Но Ф.Ф. уговорил меня остановиться на В.И. для Эсхила, как на единственном в своем роде кандидате, [illegible] обещая со своей стороны всячески побуждать В.И. не затягивать работу. Большие затруднения представ[ляло] приобретение прав на [illegible] переводов Еврипида Ин. Ан. Сам И.А. незадолго до того умер. Предстояло говорить с его [illegible] наследником сыном, человеком, по-видимому, тяжелым, с которым у самого Ф.Ф. произошла какая-то размолвка. Между тем другого равного по силе переводчика Ф.Ф. назвать не мо[г]. Ведь [illegible] покойный И.А. был одаренный поэт и при том филолог, много лет работавший над Еврипи[дом]. Некоторые вольности, допущенные в переводе, могут быть либо устранены редакцией, либо особо ог[оворены]. Остановились на том, что я лично вступлю в переговоры с наследником и постараюсь получ[ить] переводы для просмотра в редакции, либо в копиях, затем передам их Ф.Ф. для окончательного заключения [illegible] уже после обсуждения [illegible] с Ф.Ф. постараюсь договориться с наследником. Однако выполнить эту программу оказалось не так-то просто. Не сразу решился наследник предоставить мне копии перев[одов] для просмотра и не скоро [illegible] Ф.Ф., чтобы принять окончательное решение. В [illegible] время мы с Ф.Ф. неоднократно [illegible] и обменялись письмами по поводу Овид[ия], Софокла и других авторов. Когда я в назначенное время пришел к Ф.Ф. его прислуга передала [мне] просьбу перейти в соседнюю квартиру, где Ф.Ф. проводит весь день по случаю семейного детского праздника. Там его [illegible] угостили [illegible] шоколадом. Но разговаривать там в

